



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



slav 4354.3.30



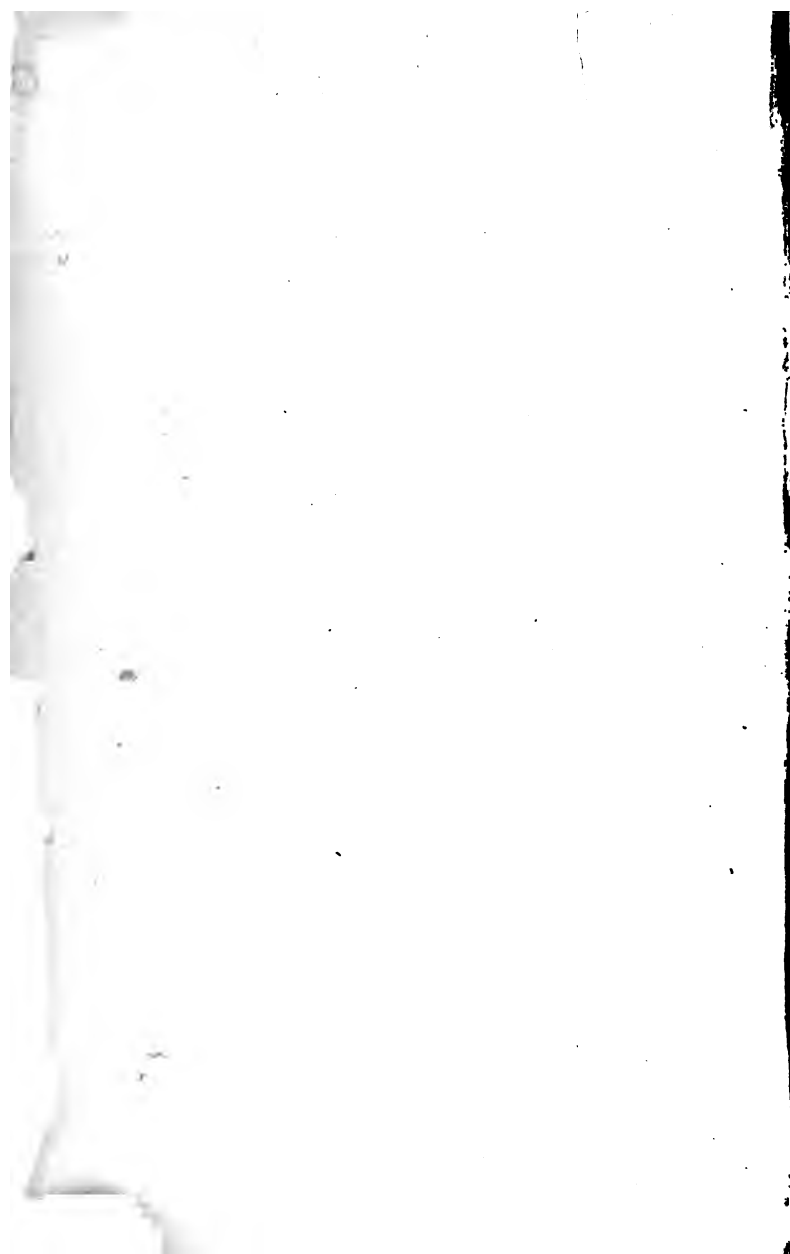
HARVARD
COLLEGE
LIBRARY





L. W. J. Besden 1890

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА.



0

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА.

СОЧ.

И. С. ТУРГЕНЕВА.

Часть первая.



ЛЕЙПЦИГЪ,

Вольгангъ Гергардъ.

Центральный книжный магазинъ для славянскихъ странъ.

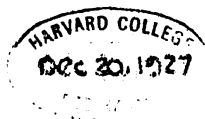
LEIPZIG,

Wolfgang Gerhard.

1876.

no 4354.3.30

✓



Estate of
Miss Lucy W. Jennison
Cambridge.

ХОРЬ И КАЛИНЫЧЪ.

Кому случалось изъ Болховскаго уѣзда перебираться въ Жиздринскій, того, вѣроятно, поражала рѣзкая разница между породой людей въ Орловской губерніи и Калужской породой. Орловскій мужикъ невеликъ ростомъ, сутуловатъ, рюмъ, глядитъ изъ подлбья, живетъ въ дрянныхъ осиновыхъ избенкахъ, ходитъ на барщину, торговлей не занимается, ѣсть плохо, носить лапти. Калужскій оброчный мужикъ обитаетъ въ просторныхъ сосновыхъ избахъ, высокъ ростомъ, глядитъ смѣло и весело, лицомъ чистъ и бѣлъ, торгуетъ масломъ и дегтемъ и по праздникамъ ходитъ въ сапогахъ. Орловская деревня (мы говоримъ о восточной части Орловской губерніи) обыкновенно расположена среди распаханыхъ полей, близъ оврага, кое-какъ превращаемаго въ грязный прудъ. Кромѣ немногихъ чскихъ охотника. I.

ракиль, всегда готовыхъ къ услугамъ, да двухъ-трехъ тощихъ березъ, деревца на версту кругомъ не увидишь; изба лѣпится къ избѣ, крыши закиданы гнилбы соломою.... Калужская деревня, напротивъ, бѣльшею частью окружена лѣсомъ; избы стоятъ вольнѣй и прямѣй, крыты тесомъ; ворота плотно запираются, плетень на задворѣхъ не разметанъ и не вывалился наружу, въ гости всякую прохожую свинью... охотника въ Калужской губерніи луче Орловской губерніи послѣдніе лѣса и пропадутъ лѣтъ черезъ пять, а болота поминай нѣтъ; въ Калужской, напротивъ, тянутся на сотни, болота на десятки в не перевелась еще благородная птица — водится добродушный дупель, и хлопот ропатка своимъ порывистымъ взлетомъ и пугаетъ стрѣлку и собаку.

Въ качествѣ охотника посѣщая Жигульскіе уѣзды, сошелся я въ полѣ и познакоился однимъ Калужскимъ мелкимъ помѣщикомъ, По-

*) Площадями называются въ Орловской губерніи большія сплошныя массы кустовъ. Орловское нарѣчіе отличается вообще множествомъ своебытныхъ, иногда весьма мѣткихъ, иногда довольно безобразныхъ, словъ и оборотовъ.

лутыкинымъ, страстнымъ охотникомъ и, слѣдовательно, отличнымъ человекомъ. Водились за нимъ, правда, нѣкоторыя слабости: онъ, на примѣръ, сватался за всѣхъ богатыхъ невѣстъ въ губерніи и, получивъ отказъ отъ руки и отъ дому, съ сокрушеннымъ сердцемъ довѣрялъ свое горе всѣмъ друзьямъ и знакомымъ, а родителямъ невѣстъ продолжалъ посылать въ подарокъ кислые персики и другія сырыя произведенія своего сада; любилъ повторять одинъ и тотъ же анекдотъ, который, не смотря на уваженіе г-на Полутыкина къ его достоинствамъ, рѣшительно никогда никого не смѣшилъ; хвалилъ сочиненія Акима Нахимова и повѣсть: *Пинну*; заикался; называлъ свою собаку астрономомъ; вмѣсто *однако* говорилъ *одначе*; и завелъ у себя въ домѣ французскую кухню, тайна которой, по понятіямъ его повара, состояла, въ полномъ измѣненіи естественнаго вкуса cadaго кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохомъ; за то ни одна морковка не попадала въ супъ, не принявъ вида мба, или трапеціи. Но, за исключеніемъ этихъ многихъ и незначительныхъ недостатковъ, г-нъ лутыкинъ былъ, какъ уже сказано, отличный овѣеъ.

Въ первый же день моего знакомства съ г. Полутыкинымъ, онъ пригласилъ меня на ночь къ себѣ.

— До меня верстъ пять будетъ, прибавилъ онъ: — пѣшкомъ идти далеко; зайдемте сперва къ Хорю. (Читатель позволить мнѣ не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужикъ Онъ отсюда близехонько.

Мы отправились къ нему. Посреди лѣса, на расчищенной и разработанной полянѣ, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла изъ нѣсколькихъ сосновыхъ срубовъ, соединенныхъ заборами; передъ главной избой тянулся навѣсъ, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Насъ встрѣтилъ молодой парень, лѣтъ двадцати, высокій и красивый.

— А, Одея! дома Хорь? спросилъ его г-нъ Полутыкинъ.

— Нѣтъ. Хорь въ городъ уѣхалъ, отвѣчалъ парень, улыбаясь и показывая рядъ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, зубовъ. — Телѣжку заложить прикажете?

— Да, братъ, телѣжку. Да принеси намъ квасу.

Мы вошли въ избу. Ни одна суздальская

картина не залѣпляла чистыхъ бревенчатыхъ стѣнъ; въ углу передъ тяжелымъ образомъ въ серебряномъ окладѣ теплилась лампадка; липовый столъ недавно былъ выскобленъ и вымытъ; между бревнами и по косякамъ оконъ не скиталось рѣзвыхъ прусаковъ, не скрывалось задумчивыхъ таракановъ. Молодой парень скоро появился съ большой бѣлой кружкой, наполненной хорошимъ квасомъ, съ огромнымъ ломтемъ пшеничнаго хлѣба и съ дюжиной соленыхъ огурцовъ въ деревянной мискѣ. Онъ поставилъ всѣ эти припасы на столъ, прислонился къ двери и началъ съ улыбкой на насъ поглядывать. Не успѣли мы доѣсть нашей закуски, какъ уже телѣга застучала передъ крыльцомъ. Мы вышли. Мальчикъ лѣтъ пятнадцати, кудрявый и краснощекій, сидѣлъ кучеромъ и съ трудомъ удерживалъ сытаго пѣгаго жеребца. Кругомъ телѣги стояло человѣкъ шесть молодыхъ великановъ, очень похожихъ другъ на друга и на Оедю. — „Все дѣти Хоря!“ замѣтилъ Полутыкинъ. — „Все Хорьки“, подхватилъ Оедя, который вышелъ вслѣдъ за нами на крыльцо: „да еще не всѣ: гапъ въ лѣсу, а Сидоръ уѣхалъ со старымъ ремъ въ городъ.... Смотри-же, Вася,“ прощалъ онъ, обращаясь къ кучеру: — „духомъ

сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телѣгу-то попортишь, да и барское черево обезпкоишь!“ — Остальные Хорьки усмѣхнулись отъ выходки Оеди. — „Посадить астронома!“ торжественно воскликнулъ г-нъ Полутыкинъ. Оеда, не безъ удовольствія, поднялъ на воздухъ принужденно-улыбавшуюся собаку и положилъ ее на дно телѣги. Вася далъ возжи лошади. Мы покатили. — „А вотъ. это моя контора“, сказалъ мнѣ вдругъ г-нъ Полутыкинъ, указывая на небольшой низенькій домикъ: — „хотите зайти?“ — „Извольте“. — „Она теперь упразднена“, замѣтилъ онъ, слѣзая: — „а все посмотришь стоитъ“. — Контора состояла изъ двухъ пустыхъ комнатъ. Сторожъ, кривой старикъ, прибѣжалъ съ задворья. — „Здравствуй, Миняичъ“, проговорилъ г-нъ Полутыкинъ: „а гдѣ же вода?“ — Кривой старикъ исчезъ и тотчасъ вернулся съ бутылкой воды и двумя стаканами. „Отвѣдайте“, сказалъ мнѣ Полутыкинъ: — „это у меня хорошая, ключевая вода“. Мы выпили по стакану, при чемъ старикъ намъ кланялся въ поясъ. — „Ну, теперь, кажется, мы можемъ ѣхать“, замѣтилъ мой новый пріятель. „Въ этой конторѣ я продалъ купцу Аллилуеву четыре десятины лѣсу за выгодную цѣну“. —

Мы сѣли въ телѣгу и черезъ полчаса уже въѣзжали на дворъ господскаго дома.

— Скажите, пожалуйста, спросилъ я Полутыкина за ужиномъ: — отчего у васъ Хорь живетъ отдѣльно отъ прочихъ вашихъ мужиковъ?

— А вотъ отчего: онъ у меня мужикъ умный. Лѣтъ двадцать пять тому назадъ, изба у него сгорѣла; вотъ и пришелъ онъ къ моему покойному батюшкѣ и говоритъ: дескать, позвольте мнѣ, Николай Кузьмичъ, поселиться у васъ въ лѣсу на болотѣ. Я вамъ стану оброкъ платить хорошій. — Да зачѣмъ тебѣ селиться на болотѣ? — Да ужъ такъ; только вы, батюшка, Николай Кузьмичъ, ни въ какую работу употреблять меня ужъ не извольте, а оброкъ положите, какой сами знаете. — Пятьдесятъ рублей въ годъ! — Извольте. — Да безъ недоимокъ у меня, смотри. — Извѣстно, безъ недоимокъ.... Вотъ онъ и поселился на болотѣ. Съ тѣхъ поръ Хоремъ его и прозвали.

— Ну и разбогатѣлъ? спросилъ я.

— Разбогатѣлъ. Теперь онъ мнѣ сто цѣлковыхъ оброка платитъ, да еще я, пожалуй, накин

Я ужъ ему не разъ говорилъ: откупись, рѣ, эй, откупись!... А, онъ, бестія, меня увѣ-

рять, что нечѣмъ, денегъ, дескать, нѣту.... Да, какъ-бы не такъ!...

На другой день мы тотчасъ послѣ чаю опять отправились на охоту. Проѣзжая черезъ деревню, г-нъ Полутыкинъ велѣлъ кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнулъ: „Калинычъ!“ — „Сей-часъ, батюшка, сейчасъ“, раздался голосъ со двора: — „лапотъ подвязываю“. — Мы поѣхали шагомъ; за деревней догналъ насъ человѣкъ лѣтъ сорока, высокаго роста, худой, съ небольшою загнутой назадъ головой. Это былъ Калинычъ. Его добродушное смуглое лицо, кое-гдѣ отмѣченное рябинами, мнѣ понравилось съ перваго взгляда. Калинычъ (какъ узналъ я послѣ) каждый день ходилъ съ бариномъ не охоту, носилъ его сумку, иногда и ружье, замѣчалъ, гдѣ садится птица, доставалъ воды, набиралъ земляники, устраивалъ шалаши, бѣгалъ за дрожками; безъ него г-нъ Полутыкинъ шагу ступить не могъ. Калинычъ былъ человѣкъ самаго веселаго, самаго кроткаго нрава, безпрестанно попѣввалъ въ полголоса, беззаботно поглядывалъ во всѣ стороны, говорилъ немного въ носъ, улыбаясь прищуривалъ свои свѣтлоглубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходилъ

онъ не скоро, но большими шагами, слегка подпирался длинной и тонкой палкой. Въ теченье дня онъ не разъ заговаривалъ со мною, услуживалъ мнѣ безъ раболѣпства, но за бариномъ наблюдалъ, какъ за ребенкомъ. Когда невыносимый полуденный зной заставилъ насъ искать убѣжища, онъ свелъ насъ на свою пасѣку, въ самую глушь лѣса. Калинычъ отворилъ намъ избушку, увѣшанную пучками сухихъ душистыхъ травъ, уложилъ насъ на свѣжемъ сѣнѣ, а самъ надѣлъ на голову родъ мѣша съ сѣткой, взялъ ножъ, горшокъ и головешку и отправился на пасѣку вырѣзать намъ сотъ. Мы запили прозрачный, теплый медъ ключевой водой и заснули подъ однообразное жужжанье пчелъ и болтливый лепетъ листьевъ. — Легкій порывъ вѣтерка разбудилъ меня.... Я открылъ глаза и увидѣлъ Калиныча: онъ сидѣлъ на порогѣ полураскрытой двери и ножомъ вырѣзывалъ ложку. Я долго любовался его лицомъ, кроткимъ и яснымъ, какъ вечернее небо. Г-нъ Полутыкинъ тоже проснулся. Мы не тотчасъ встали. Пріятно послѣ долгой бѣды и глубокаго сна лежать неподвижно на лѣтѣ: тѣло нѣжится и томится, легкимъ жаромъ лѣтеть лицо, сладкая лѣтняя смыкаетъ глаза. Наконецъ, мы встали и опять пошли бродить

до вечера. За ужиномъ я заговорилъ опять о Хорѣ да о Калинычѣ. „Калинычъ — добрый мужикъ,“ сказалъ мнѣ г. Полутыкинъ: — „усердный и услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности одначе содержать не можетъ: я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходить.... Какое ужъ тутъ хозяйство, — посудите сами“. — Я съ нимъ согласился, и мы легли спать.

На другой день г-нъ Полутыкинъ принужденъ былъ отправиться въ городъ по дѣлу съ сосѣдомъ Пичуковымъ. Сосѣдъ Пичуковъ запахалъ у него землю и на запаханной землѣ высѣкъ его же бабу. На охоту поѣхалъ я одинъ и передъ вечеромъ завернулъ къ Хорю. На порогѣ избы встрѣтилъ меня старикъ лысый, низкаго роста, плечистый и плотный — самъ Хорь. Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на этого Хоря. Складъ его лица напоминалъ Сократа: такой же высокій, шишковатый лобъ, такіе же маленькіе глазки, такой же курносый носъ. Мы вошли вмѣстѣ въ избу. Тотъ же Одея принесъ мнѣ молока съ чернымъ хлѣбомъ. Хорь присѣлъ на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступилъ со мною въ разговоръ. Онъ, казалось, чувствовалъ свое достоинство,

говорилъ и двигался медленно, цѣпка посмѣивался изъ-подъ длинныхъ свѣжихъ усовъ.

Мы съ нимъ толковали о посѣвѣ, объ урожаѣ, о крестьянскомъ бытѣ.... Онъ со мной все какъ-будто соглашался; только потомъ мнѣ становилось совѣстно, и я чувствовалъ, что говорю не то.... Такъ оно какъ-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть изъ осторожности.... Вотъ вамъ образецъ нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь, говорилъ я ему: — отчего ты не откупишься отъ своего барина?

— А для чего мнѣ откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброкъ свой знаю.... баринъ у насъ хорошій.

— Все же лучше на свободѣ? замѣтилъ я. Хорь посмотрѣлъ на меня сбоку.

— Вѣстимо, проговорилъ онъ.

— Ну, такъ отчего же ты не откупаешься? Хорь покрутилъ головой.

— Чѣмъ, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина....

— Попалъ Хорь въ вольные люди, продолжалъ въ полголоса, какъ будто про себя: — кто въ бороды живетъ, тотъ Хорю и набольшій.

— А ты самъ бороду сбрѣй.

— Чтò бсѣда: борода — трава! скосить можно.

— Ну, такъ что жъ?

— А, знать, Хорь прямо въ вущи попадетъ; купцамъ-то жизнь хорошая, да и тѣ въ бородахъ.

— А чтò, вѣдь ты тоже торговлей занимаешься? спросилъ я его.

— Торгуемъ помаленьку маслишкомъ да дегтишкомъ.... Что же телѣжку, батюшка, прикажешь заложить?

„Крѣпокъ ты на языкъ и человѣкъ себѣ-наумъ“, подумалъ я. — Нѣтъ, сказалъ я вслухъ: — телѣжки мнѣ не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя въ сѣнномъ сараѣ.

— Милости просимъ. Да покойно ли тебѣ будетъ въ сараѣ? Я прикажу бабамъ послать тебѣ простыню и положить подушку. — Эй, бабы! вскричалъ онъ, поднимаясь съ мѣста: — сюда, бабы!... А ты, Оеда, поди съ ними. Бабы, вѣдь, народъ глупый.

Четверть часа спустя, Оеда съ фонаремъ проводилъ меня въ сарай. Я бросился на душистое сѣно, собака свернулась у ногъ моихъ. Оеда пожелалъ мнѣ доброй ночи, дверь заспѣла и захлопнулась. Я довольно долго не могъ

заснуть. Корова подошла къ двери, шумно дохнула раза два; собака съ достоинствомъ на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь гдѣ-то въ близости стала жевать сѣно и фыркать я наконецъ задремалъ.

На зарѣ Оеда разбудилъ меня. Этотъ веселый, бойкій паренъ очень мнѣ нравился; да и, сколько я могъ замѣтить, у стараго Хоря онъ тоже былъ любимцемъ. Они оба весьма любезно другъ надъ другомъ подтрунивали. Старикъ вышелъ ко мнѣ на встрѣчу. Отъ того ли, что я провелъ ночь подъ его кровомъ, по другой ли какой причинѣ, только Хоръ гораздо ласковѣе вчерашняго обошелся со мной.

— Самоваръ тебѣ готовъ, сказалъ онъ мнѣ съ улыбкой: — пойдемъ чай пить.

Мы усѣлись около стола. Здоровая баба, одна изъ его невѣстѣ, принесла горшокъ съ молокомъ. Всѣ его сыновья поочередно входили въ избу. — „Что у тебя за рослый народъ!“ замѣтилъ я старику.

— Да, промолвилъ онъ, откусывая крошечный кусокъ сахару: — на меня, да на мою старуху ваться, кажись, имъ нечего.

И всѣ съ тобой живутъ?

— Всѣ. Сами хотятъ, такъ и живутъ.

писки охотника. I.

— И всѣ женаты?

— Вонъ одинъ, пострѣлъ, не женится, отвѣчалъ онъ, указывая на Оедю, который по-прежнему прислонился къ двери. Васька, тотъ еще молодъ, тому погодить можно.

— А что мнѣ жениться? возразилъ Оедя: — мнѣ и такъ хорошо. На что мнѣ жена? Лаяться съ ней, что ли?

— Ну, ужъ, ты.... ужъ я тебя знаю! кольца серебряныя носишь.... Тебѣ бы все съ дворовыми дѣвками нюхаться.... Полноте, безстыдники! продолжалъ старикъ, передразнивая горничныхъ. — Ужъ я тебя знаю, бѣлоручка ты эдакой!

— А въ бабѣ-то что хорошаго?

— Баба — работница, важно замѣтилъ Хорь.

-- Баба мужику слуга.

— Да на что мнѣ работница?

— То-то чужими руками жаръ загребать любишь. Знаемъ мы вашего брата.

— Ну, жени меня, коли такъ. А? что! Что жъ ты молчишь?

— Ну, полно; полно, балагуръ. Вишь, барина мы съ тобой беспокоимъ. Женю, не бось.... А ты, батюшка, не гнѣвись: дитятко, видишъ малое, разуму не успѣло набраться.

Оедя покачалъ головой....

— Дома Хорь? раздался за дверью знакомый голосъ, — и Калинычъ вошелъ въ избу съ пучкомъ полевой земляники въ рукахъ, которую нарвалъ онъ для своего друга, Хоря. Старикъ радушно его привѣтствовалъ. Я съ изумленіемъ поглядѣлъ на Калиныча: признаюсь, я не ожидалъ такихъ „нѣжностей“ отъ мужика.

Я въ этотъ день пошелъ на охоту часами четыремя позднѣе обыкновеннаго и слѣдующіе три дня провелъ у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чѣмъ я заслужилъ ихъ довѣріе, но они непринужденно разговаривали со мной. Я съ удовольствіемъ слушалъ ихъ и наблюдалъ за ними. Оба пріятеля нисколько не походили другъ на друга. Хорь былъ человѣкъ положительный, прагматическій, административная голова, раціоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, то есть: обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями; Калинычъ хитро въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ. Хорь имѣлъ большое семейство, покорное и единое; у Калиныча была когда-то жена, которую онъ боялся, а дѣтей и не бывало вовсе.

Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина; Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ. Хорь любилъ Калиныча и оказывалъ ему покровительство; Калинычъ любилъ и уважалъ Хоря. Хорь говорилъ мало, посмѣивался и разумѣлъ про себя; Калинычъ объяснялся съ жаромъ, хотя и не пѣлъ соловьемъ, какъ бойкій фабричный человѣкъ.... Но Калинычъ былъ одаренъ преимуществами, которыя признавалъ самъ Хорь, напримѣръ: онъ заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мнѣ попросилъ его ввести въ конюшню новопушленную лошадь, и Калинычъ съ добросовѣстною важностью исполнилъ просьбу стараго скептика. Калинычъ стоялъ ближе къ природѣ; Хорь же къ людямъ, къ обществу. Калинычъ не любилъ разсуждать и всему вѣрилъ слѣпо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрѣнія на жизнь. Онъ много видѣлъ, много зналъ, и отъ него я многому научился. Напримѣръ: изъ рассказовъ узналъ я, что каждое лѣто, передъ покосомъ, появляется въ деревняхъ небольшаго телѣжка особеннаго вида. Въ этой телѣжкѣ сидитъ человѣкъ въ кафтанѣ и продаетъ ко... На наличныя деньги онъ беретъ рубль двадцать

пять копѣекъ — полтора рубля ассигнаціями;
 въ долгъ — три рубля и цѣлковый. Всѣ му-
 жики, разумѣется, берутъ у него въ долгъ. Че-
 резъ двѣ-три недѣли онъ появляется снова и
 требуетъ денегъ. У мужика овесъ только-что
 скошенъ, стало быть, заплатить есть чѣмъ; онъ
 идетъ съ купцомъ въ кабакъ, и тамъ уже ра-
 сплачивается. Иные помѣщики вздумали было
 покупать сами косы на наличныя деньги и раз-
 давать въ долгъ мужикамъ по той же цѣнѣ; но
 мужики оказались недовольными и даже впали
 въ уныніе: ихъ лишали удовольствія щелкать по
 косѣ, прислушиваться, перевертывать ее въ ру-
 кахъ и разъ двадцать спросить у плутоватаго
 мѣщанина-продавца: „а что, малый, коса-то не
 больно того?“ — Тѣ же самыя продѣлки прои-
 сходятъ и при покупке серповъ, съ тою только
 разницей, что тутъ бабы вмѣшиваются въ дѣло
 и доводятъ иногда самаго продавца до необхо-
 димости, для ихъ же пользы, поколотить ихъ.
 Но болѣе всего страдаютъ бабы вотъ при ка-
 комъ случаѣ. Поставщики матеріала на бумаж-
 ной фабрики поручаютъ закупку тряпья осо-
 бому роду людемъ, которые въ иныхъ уѣз-
 дахъ называются иногда „орлами“. Такой орелъ
 беретъ отъ купца рублей двѣсти асс. и от-

правляется на добычу. Но, въ противность благородной птицѣ, отъ которой онъ получилъ свое имя, онъ не нападаетъ открыто и смѣло: напротивъ, „орелъ“ прибѣгаетъ къ хитрости и лукавству. Онъ оставляетъ свою телѣжку гдѣ-нибудь въ кустахъ около деревни, а самъ отправляется по задворьямъ да по задамъ, словно прохожій какой-нибудь, или просто праздношатающійся. Бабы чутьемъ угадываютъ его приближеніе и крадутся къ нему на встрѣчу. Въ торопяхъ совершается торговая сдѣлка. За нѣсколько мѣдныхъ грошей баба отдаетъ „орлу“ не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную понёву. Въ последнее время бабы нашли выгоднымъ красть у самихъ себя и сбывать такимъ образомъ пенёку, въ особенности „замашки“, — важное распространёніе и усовершенствованіе промышленности „орловъ“. Но за то мужики, въ свою очередь, наострились, и при малѣйшемъ подозрѣніи, при одномъ отдаленномъ слухѣ о появленіи „орла“, быстро и живо приступаютъ къ исправительнымъ и предохранительнымъ мѣрамъ. И, въ самомъ дѣлѣ, не обидно ли? Пенёку продавать и дѣло, — и они ее точно продаютъ — не городѣ, — въ городѣ надо самимъ тащиться,

а прїѣзжимъ торгашамъ, которые, за неимѣньемъ безмѣна, считаютъ пудъ въ сорокъ горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русскаго человѣка, особенно, когда онъ „усердствуетъ!“ — Такихъ разсказовъ я, человѣкъ неопытный и въ деревнѣ не „живалый“ (какъ у насъ въ Орлѣ говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все разсказывалъ, онъ самъ меня разспрашивалъ о многомъ. Узналъ онъ, что я былъ за границей, и любопытство его разгорѣлось.... Калинычъ отъ него не отставалъ; но Калиныча болѣе трогали описанія природы, горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку: — „Что у нихъ это тамъ есть также, какъ у насъ, аль иначе?... Ну, говори, батюшка, — какъ-же?“... — „А! ахъ, Господи, твоя воля!“ восклицалъ Калинычъ во время моего разсказа. Хорь молчалъ, хмурилъ густыя брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что „дескать это у насъ не шло-бы, а вотъ это хорошо — это порядокъ“. — Всѣхъ его разспросовъ я передать вамъ не могу, да и незначѣмъ; но изъ нашихъ разговора вынесъ одно убѣжденье, котораго, вѣроятно, никакъ не ожидаютъ читатели, — убѣж-

дене, что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій, именно, въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что онъ не прочь и поломать себя; онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Чтò хорошо — тò ему и нравится, чтò разумно — того ему и подавай, а откуда оно идетъ — ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунить надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости. Хорь говорилъ со мной о многомъ, чего изъ другаго рычагомъ не выворотить, какъ выражаются мужики, жерновомъ не вымелешь. Онъ дѣйствительно понималъ свое положенье. Толкуя съ Хоремъ, я въ первый разъ услышалъ простую, умную рѣчь русскаго мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать онъ не умѣлъ; Калинычъ — умѣлъ. „Этому шалопаю грамота далась“, замѣтилъ Хорь: — „у него и пчелы отродясь не мерли“. — „А дѣтей ты своихъ выучилъ грамотѣ?“ — Хорь помолчалъ. — „Оедя знаетъ“ — „А другіе?“ — „Другіе не знаютъ“. — „А

что?" — Старикъ не отвѣчалъ и перемѣнилъ разговоръ. Впрочемъ, какъ онъ уменъ ни былъ, водились и за нимъ многіе предразсудки и предубѣжденія. Бабъ онъ, напримѣръ, презиралъ отъ глубины души, а въ веселый часъ тѣшился и издѣвался надъ ними. Жена его, старая и сварливая, цѣлый день не сходила съ печи и безпрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее вниманія, но невѣстокъ она содержала въ страхъ Божию. Не даромъ въ русской пѣсенкѣ свекровь поетъ: „какой ты мнѣ сынъ, какой семьянинъ! не бѣшь ты жены, не бѣшь молодой.....“ Я разъ было-вздумалъ заступиться за невѣстокъ, попытался возбудить состраданіе Хоря; но онъ спокойно возразилъ мнѣ, что „охота-де вамъ такими.... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся.... Ихъ что разнимать — то хуже, да и рукъ марать не стоитъ.“ Иногда злая старуха слѣзала съ печи, вызывала изъ сѣней дворовую собаку, приговаривая: „сюды, сюды, собачка!“ и била ее по худой спинѣ кочергой, или становилась подъ — бѣсь и „лаялась“, какъ выражался Хоръ, со ми проходящими. Мужа своего она, однакоже, ласкалась и, по его приказанію, убиралась въ себѣ — чечъ. Но особенно любопытно было послушать

споръ Калиныча съ Хоремъ, когда дѣло доходило до г-на Полутыкина. — „Ужь ты, Хорь, у меня его не трогай“, говорилъ Калинычъ. — „А что-жь онъ тебѣ сапоговъ не сошьетъ?“ возражалъ тотъ. — „Эка, сапоги!... на что мнѣ сапоги? Я мужикъ....“ — „Да вотъ и я мужикъ, а вишь....“ При этомъ словѣ Хорь подымалъ свою ногу и показывалъ Калинычу сапогъ, скроенный, вѣроятно, изъ мамонтовой кожи. — „Эхъ, да ты развѣ нашъ братъ!“ отвѣчалъ Калинычъ. — „Ну, хоть-бы на лапти далъ: вѣдь, ты съ нимъ на охоту ходишь; чай, чтò день, то лапти“. — „Онъ мнѣ даетъ на лапти“. — „Да, въ прошломъ году гривенникъ пожаловалъ“. — Калинычъ съ досадою отворачивался, а Хорь заливался смѣхомъ, при чемъ его маленькіе глазки исчезали совершенно.

Калинычъ пѣлъ довольно пріятно и поигрывалъ на балалайкѣ. Хорь слушалъ, слушалъ его, загибалъ вдругъ голову на бокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особенно любилъ онъ пѣсню: „доля ты моя, доля!“ Одея не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ. „Чего, старикъ, разжалобился?“ Но Хорь подпиралъ щеку рукой, закрывалъ глаза и продолжалъ жеваться на свою долю.... За то, въ другое время, не было человѣка дѣятельнѣе его: вѣчн

надъ чѣмъ нибудь копаются — телѣгу чинить, заборъ подпираетъ, сбрую пересматриваетъ. Особенной чистоты онъ, однако, не придерживался и на мои замѣчанія отвѣчалъ мнѣ однажды, что „надо-де избѣ жильемъ пахнуть“.

— Посмотри-ка, возразилъ я ему: — какъ у Калиныча на пасѣкѣ чисто.

— Пчелы-бъ жить не стали, батюшка, сказалъ онъ со вздохомъ.

— А что, спросилъ онъ меня въ другой разъ: — у тебя своя вотчина есть? — „Есть“. — „Далеко отсюда?“ — „Верстъ сто“. — „Что-жъ ты, батюшка, живешь въ своей вотчинѣ?“ — „Живу“. — „А больше, чай, ружьемъ пробавляешься?“ — „Признаться, да“. — „И хорошо, батюшка, дѣлаешь; стрѣлай себѣ на здоровье тетеревовъ, да старосту мѣняй почаще“.

На четвертый день, вечеромъ, г. Полутыкинъ прислалъ за мной. Жаль мнѣ было расставаться съ старикомъ. Вмѣстѣ съ Калинычемъ сѣлъ я въ телѣгу. „Ну, прощай, Хорь, будь здоровъ, сказалъ я..... Прощай, Одея“. — „Прощай, батюшка, прощай, не забывай насъ“. Мы поѣхали; и только-что разгоралась. — „Славная погода будетъ“, замѣтилъ я, глядя на свѣтлое. — „Нѣтъ, дождь пойдетъ“, возразилъ мнѣ

Калинычъ: — „утки вонъ плещутся, да и трава
больно сильно пахнетъ“. — Мы въѣхали въ кусты.
Калинычъ заплъ въ полголоса, подпрыгивая на
облучкѣ, и все глядѣлъ да глядѣлъ на зорю....

На другой день я покинулъ гостепріимный
кровать г. Полутыкина.

ЕРМОЛАЙ И МЕЛЬНИЧИХА.

..... Вечеромъ мы съ охотникомъ Ермолаемъ отправились на „тягу“.... Но, можетъ-быть, не всѣ мои читатели знаютъ, что такое тяга. Слушайте-же, господа.

За четверть часа до захожденія солнца, весной, вы входите въ рошу, съ ружьемъ, безъ собаки. Вы отыскиваете себѣ мѣсто гдѣ-нибудь подлѣ опушки, оглядываетесь, осматриваете пистонъ, перемигиваетесь съ товарищемъ. Четверть часа прошло. Солнце сѣло, но въ лѣсу еще свѣтло; воздухъ чистъ и прозраченъ; птицы болтливо лепечуть; молодая трава блеститъ веселымъ блескомъ изумруда.... Вы ждете. Внутренность лѣса постепенно темнѣетъ; алый свѣтъ вечерней зари медленно скользитъ по корнямъ и стволамъ деревьевъ, поднимается все выше выше, переходитъ отъ нижнихъ, почти еще сухихъ вѣтокъ, къ неподвижнымъ, засыпающимъ

верхушкамъ.... Вотъ и самыя верхушки поту-
скнѣли; румяное небо синѣетъ. Лѣсной запахъ
усиливается; слегка повѣяло теплой сыростью;
влетѣвшій вѣтеръ около васъ замираетъ. Птицы
засыпаютъ не всѣ вдругъ — по породамъ: вотъ
затихли зяблики, черезъ нѣсколько мгновений
малиновки, за ними овсянки. Въ лѣсу все тем-
нѣй да темнѣй. Деревья сливаются въ боль-
шія, чернѣющія массы; на синемъ небѣ робко
выступаютъ первыя звѣздочки. Всѣ птицы спятъ.
Горихвостки, маленькіе дятлы одни еще сонливо
посвистываютъ.... Вотъ и они умолели. Еще
разъ прозвенѣлъ надъ вами звонкій голосокъ
пѣночки; гдѣ-то печально прокричала иволга,
соловей щелкнулъ въ первый разъ. Сердце ваше
томится ожиданьемъ, и вдругъ — но одни охо-
тники поймутъ меня — вдругъ въ глубокой ти-
шинѣ раздается особаго рода карканье и шипѣнье,
слышится мѣрный взмахъ проворныхъ крылъ,
— и вальдшнепъ, красиво наклонивъ свой длин-
ный носъ, плавно вылетаетъ изъ-за темной бе-
резы на-встрѣчу вашему выстрѣлу.

Вотъ что значитъ „стоять на тягѣ“.

И такъ, мы съ Ермолаемъ отправились на
тягу, но, извините, господа: я долженъ васъ
сперва познакомить съ Ермолаемъ.

Вообразите себѣ человѣка лѣтъ сорока пяти, высокаго, худаго, съ длиннымъ и тонкимъ носомъ, узкимъ лбомъ, сѣрыми глазками, взъерошенными волосами и широкими, насмѣшливыми губами. Этотъ человѣкъ ходилъ и зиму и лѣто въ желтоватомъ нанковомъ кафтанѣ нѣмецкаго покроя, но подпоясывался кушакомъ; носилъ синія шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, въ веселый часъ, раззорившимся помѣщикомъ. Къ кушаку привязывались два мѣшка, одинъ спереди, искусно перекрученный на двѣ половины, для пороку и для дроби, — другой сзади — для дичи; хлопки-же Ермолай доставалъ изъ собственной, повидимому, неистощимой шапки. Онъ-бы легко могъ на деньги, вырученныя имъ за проданную дичь, купить себѣ патронташъ и суму, но ни разу даже не подумалъ о подобной покупкѣ, и продолжалъ заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумленіе зрителей искусствомъ съ какимъ онъ избѣгалъ опасности просыпать или смѣшать дробь и порохъ. Ружье у него было одноствольное, съ кремнемъ, одаренное притомъ старинной привычкой жестоко „отдавать“, отчего Ермолая правая щека всегда была пухлѣе лѣвой. Какъ онъ попадалъ изъ этого ружья, — хитрому человѣку не придумать, но попа-

далъ. Была у него и лягавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермалай никогда ея не кормилъ. „Стану я пса кормить, разсуждалъ онъ: — притомъ песь — животное умное, самъ найдетъ себѣ пропитанье“. И, дѣйствительно: хотя Валетка поражалъ даже равнодушнаго прохожаго своей чрезмѣрной худобой, но жилъ, и долго жилъ; даже, не смотря на свое бѣдственное положенье, ни разу не пропадалъ и не изъявлялъ желанья покинуть своего хозяина. Разъ какъ-то въ юные годы онъ отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро съ него соскочила. Замѣчательнѣйшимъ свойствомъ Валетки было его непостижимое равнодушіе ко всему на свѣтѣ.... Еслибъ рѣчь шла не о собакѣ я-бы употребилъ слово: разочарованность. Онъ обыкновенно сидѣлъ подвернувши подъ себя свой куцый хвостъ, хмурился, вздрагивалъ по временамъ и никогда не улыбался. (Извѣстно, что собаки имѣютъ способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Онъ былъ крайне безобразенъ, и ни одинъ праздный дворовый человѣкъ не упускалъ случая ядовито насмѣяться надъ его наружностью; но всѣ э насмѣшки и даже удары Валетка переносилъ, удивительнымъ хладнокровіемъ. Особенное уд

вольствіе доставлялъ онъ поварамъ, которые тотчасъ отрывались отъ дѣла и съ крикомъ и бранью пускались за нимъ въ погоню, когда онъ, по слабости, свойственной не однѣмъ собакамъ, просовывалъ свое голодное рыло въ полурастворенную дверь соблазнительно теплою и благовонною кухни. На охотѣ онъ отличался неутомимостью, и чутье имѣлъ порядочное; но если случайно догонялъ подраненнаго зайца, то ужъ и съѣдалъ его съ наслажденіемъ всего, до послѣдней косточки, гдѣ-нибудь въ прохладной тѣни, подъ зеленымъ кустомъ, въ почтительномъ отдаленіи отъ Ермолая, ругавшагося на всѣхъ извѣстныхъ діалектахъ.

Ермолай принадлежалъ одному изъ монаховъ сосѣдей, помѣщику стариннаго покроя. Помѣщики стариннаго покроя не любятъ „куликовъ“ и придерживаются домашней живности. Развѣ только въ необыкновенныхъ случаяхъ, какъ то: во дни рожденій, именинъ и выборовъ, повара старинныхъ помѣщиковъ приступаютъ къ изготовленію долгоносыхъ птицъ и, войдя въ азартъ, свойственный русскому человѣку, когда онъ самъ совершенно не знаетъ, что дѣлаетъ, придумывая къ нимъ такія мудренныя приправы, что гости чаще частью съ любопытствомъ и вниманіемъ смотрятъ на охотника. I.

разсматриваютъ поданныя яства, но отвѣдать ихъ никакъ не рѣшаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню разъ въ мѣсяцъ пары двѣ тетеревей и куропатокъ, а, впрочемъ, позволялось ему жить, гдѣ хочетъ и чѣмъ хочетъ. Отъ него отказались, какъ отъ человѣка ни на какую работу не годнаго — „лядащаго“, какъ говорится у насъ въ Орлѣ. Пороху и дроби, разумѣется, ему не выдавали, слѣдуя точно тѣмъ же правиламъ, въ силу которыхъ и онъ не кормилъ своей собаки. Ермолай былъ человѣкъ престраннаго рода: беззаботенъ, какъ птица, довольно говорливъ, разсѣянъ и неловокъ съ виду; сильно любилъ выпить, не уживался на мѣстѣ, на ходу шмыгалъ ногами и переваливался съ боку на бокъ, — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывалъ верстъ шестьдесятъ въ сутки. Онъ подвергался самымъ разнообразнымъ приключеніямъ: ночевалъ въ болотахъ, на деревьяхъ, на крышахъ, подъ мостами, сиживалъ не разъ взаперти на чердакахъ, въ погребахъ и сараяхъ, лишался ружья, собаки, самыхъ необходимыхъ одѣяній, бывалъ битъ сильно и долго, — и всетаки, черезъ нѣсколько времени, возвращался домой, одѣтый, съ ружьемъ и съ собакой. Нельзя было назвать его человѣкомъ веселымъ, хотя онъ

почти всегда находился въ довольно изрядномъ расположеніи духа; онъ вообще смотрѣлъ чудакомъ. Ермолай любилъ покалякать съ хорошимъ человѣкомъ, особенно за чаркой, но и то не долго: встанетъ, бывало, и пойдетъ. — „Да куда ты, чортъ, идешь? Ночь на дворѣ“. — А въ Чаплино. — „Да на что тебѣ тащиться въ Чаплино, за десять верстъ“? — А тамъ у Софрона-мужичка переночевать. — „Да почуй здѣсь“. — Нѣтъ ужъ, нельзя. И пойдетъ Ермолай съ своимъ Валеткой въ темную ночь, черезъ кусты да водомоины; а мужичокъ Софронъ его, пожалуй, къ себѣ на дворъ не пуститъ, да еще, чего добраго, шею ему намнетъ: не безпокой-де честныхъ людей. Зато никто не могъ сравниться съ Ермолаемъ въ искусствѣ ловить весной, въ полу ю воду, рыбу, доставать руками раковъ, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепеловъ, вынашивать ястребовъ, добывать соловьевъ съ „лѣшовой дудкой“, съ „кукушкинымъ перелетомъ“*)... Одного онъ не умѣлъ: дрессировать собакъ; терпѣнья не доставало. Была у него чена. Онъ ходилъ къ ней разъ въ недѣлю.

) Охотникамъ до соловьевъ эти названья знакомы: обозначаются лучшія „колѣна“ въ соловьиномъ пѣньи.

Жила она въ дрянной полуразвалившейся избенкѣ, перебивалась кой-какъ и кой-чѣмъ, никогда не знала наканунѣ — будетъ-ли сыта завтра, и вообще терпѣла участь горькую. Ермолай, этотъ беззаботный и добродушный человѣкъ, обходился съ ней жестоко и грубо, принималъ у себя дома грозный и суровый видъ, — и бѣдная его жена не знала, чѣмъ угодить ему, трепетала отъ его взгляда, на послѣднюю копѣйку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своимъ тулупомъ, когда онъ, величественно разваливаясь на печи, засыпалъ богатырскимъ сномъ. Мнѣ самому не разъ случалось подмѣчать въ немъ невольныя проявленія какой-то угрюмой свирѣпости: мнѣ не нравилось выраженіе его лица, когда онъ прикусывалъ подстрѣленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой сторонѣ превращался опять въ „Ермолку“, какъ его прозвали на сто верстъ кругомъ, и какъ онъ самъ-себя называлъ подъчасъ. Послѣдній дворовый человѣкъ чувствовалъ свое превосходство надъ этимъ бродягой, — и, можетъ быть, потому именно и обращался съ нимъ дружелюбно; а мужики сначала съ удовольствіемъ загоняли и ловили его, какъ зайца въ полѣ, но потомъ отпускали съ Богомъ!

разъ узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлѣба и вступали съ нимъ въ разговоры.... Этого-то человѣка я взялъ къ себѣ въ охотники, и съ нимъ-то я отправился на тягу въ большую березовую рощу, на берегу Исты.

У многихъ русскихъ рѣкъ, на подобіе Волги, одинъ берегъ горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая рѣчка вьется чрезвычайно прихотливо, ползетъ змѣей, ни на полъверсты не течетъ прямо, и въ иномъ мѣстѣ, съ высоты крутаго холма, видна верстъ на десять съ своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными раkitникомъ и густыми садами. Рыбы въ Истѣ бездна, особливо головлей (мужики достаютъ ихъ въ жаръ изъ-подъ кустовъ руками). Маленькіе кулички-песочники со свистомъ перелетываютъ вдоль каменистыхъ береговъ, испещренныхъ холодными и свѣтлыми ключами; дикія утки выплываютъ на середину прудовъ и осторожно озираются; цапли торчатъ въ тѣни, въ заливахъ, подъ обрывами.... Мы стояли на тягѣ около часу, убили двѣ пары вальдшнеповъ и, алая до восхода солнца опять попытать нашего стья (на тягу можно также ходить по утру), чились переночевать въ ближайшей мельницѣ.

Мы вышли изъ рощи, спустились съ холма. Рѣка катила темносинія волны; воздухъ густѣлъ, отягченный ночной влагой. Мы постучались въ ворота. Собаки залились на дворѣ. „Кто тутъ?“ раздался сильный и заспанный голосъ. — „Охотники: пусти переночевать“. Отвѣта не было. — „Мы заплатимъ“. — „Пойду скажу хозяину.... Цыцъ, проклятыя!.. экъ на васъ погибели нѣтъ.“ — Мы слышали, какъ работникъ вошелъ въ избу; онъ скоро вернулся къ воротамъ. „Нѣтъ“, говорить, „хозяинъ не велитъ пускать“. — Отчего не велитъ? — „Да боится; вы охотники: чего добраго, мельницу зажжете; вишь, у васъ снаряды какіе“. — „Да что за вздоръ! — „У насъ и такъ въ запрошломъ году мельница сгорѣла: прасолы переночевали, да, знать, какъ-нибудь и подожгли“. — Да какъ-же, братъ, не ночевать же намъ на дворѣ! — „Какъ знаете....“ Онъ ушелъ, стуча сапогами.

Ермолай посулилъ ему разныхъ непріятностей. „Пойдемте въ деревню“, произнесъ онъ, наконецъ, со вздохомъ. Но до деревни было версты двѣ.... „Ночуемъ здѣсь“, сказалъ я: — „на дворѣ ночь теплая; мельникъ за деньги намъ вышлетъ соломы“. — Ермолай безпрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. — „Да что вамъ

надобно?“ раздался снова голосъ работника: — „сказано, нельзя“. — Мы растолковали ему, чего мы хотѣли. Онъ пошелъ посовѣтоваться съ хозяиномъ и вмѣстѣ съ нимъ вернулся. Калитка заскрипѣла. Появился мельникъ, человѣкъ высокаго роста, съ жирнымъ лицомъ, бычачьимъ затылкомъ, круглымъ и большимъ животомъ. Онъ согласился на мое предложеніе. Во ста шагахъ отъ мельницы находился маленькій, со всѣхъ сторонъ открытый, навѣсъ. Намъ принесли туда соломы, сѣна; работникъ на травѣ подлѣ рѣки наставилъ самоваръ, и, присѣвъ на корточки, началъ усердно дуть въ трубу.... Уголья, вспыхивая, ярко освѣщали его молодое лицо. Мельникъ побѣждалъ будить жену, предложилъ мнѣ самъ, наконецъ, переночевать въ избѣ; но я предпочелъ остаться на открытомъ воздухѣ. Мельничиха принесла намъ молока, яицъ, картофеля, хлѣба. Скоро закипѣлъ самоваръ, и мы принялись пить чай. Съ рѣки поднимались пары, вѣтру не было; кругомъ кричали коростели; около мельничныхъ колесъ раздавались слабые звуки: то капли падали съ лопатъ, сочились а сквозь засовы плотины. Мы разложили большой огонекъ. Пока Ермолай жарилъ въ картофель, я успѣлъ задремать.... Легкій,

сдержанный шопоть разбудилъ меня. Я поднялъ голову: передъ огнемъ, на опрокинутой кадкѣ, сидѣла мельничиха и разговаривала съ моимъ охотникомъ. Я уже прежде, по ея платью, тѣлодвиженіямъ и выговору, узналъ въ ней дворовую женщину — не бабу и не мѣщанку; но только теперь я разсмотрѣлъ хорошенько ея черты. Ей было на видъ лѣтъ тридцать; худое и блѣдное лицо еще хранило слѣды красоты замѣчательной; особенно понравились мнѣ глаза, большіе и грустные. Она оперла локти на колѣни, положила лицо на руку. Ермолай сидѣлъ ко мнѣ спиною и подкладывалъ щепки въ огонь.

— Въ Желухиной опять падежъ, говорила мельничиха: — у отца Ивана обѣ коровы свалились.... Господи помилуй!

— А что ваши свиньи? спросилъ, помолчавъ, Ермолай.

— Живутъ.

— Хоть бы поросеночка мнѣ подарили.

Мельничиха помолчала, потомъ вздохнула.

— Съ кѣмъ вы это? спросила она.

— Съ бариномъ — съ Костомаровскимъ.

Ермолай бросилъ нѣсколько еловыхъ вѣтокъ на огонь; вѣтки тотчасъ дружно затрещал густой бѣлый дымъ повалилъ ему прямо въ лиг

— Чего твой мужъ насъ въ избу не пустилъ?

— Бойтся.

— Вишь, толстый брюхачъ.... Голубушка, Арина Тимофѣевна, вынеси мнѣ стаканчикъ винца!

Мельничиха встала и исчезла во мракѣ. Ермолай запѣлъ въ полголоса:

Какъ къ любезной я ходилъ. —
Всѣ сапожки обносилъ....

Арина вернулась съ небольшимъ графинчикомъ и стаканомъ. Ермолай привсталъ, перекрестился и выпилъ духомъ. „Люблю!“ прибавилъ онъ.

Мельничиха опять присѣла на кадку.

— А что, Арина Тимофѣевна, чай, все хвораешь?

— Хвораю.

— Что такъ?

— Кашель по ночамъ мучить.

— Баринъ-то, кажется, заснулъ, промолвилъ Ермолай послѣ небольшого молчанія. — Ты къ ~~мужу~~ не ходи, Арина: хуже будетъ.

Я и то не хожу.

А ко мнѣ зайди погостить.

ча потупила голову.

— Я свою-то, жену-то, прогоню на тотъ случай, продолжалъ Ермолай.... Право-ся.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петровичъ: видите, картофель испекся.

— А пусть дрыхнетъ, равнодушно замѣтилъ мой вѣрный слуга: набѣгался, такъ и спать.

Я заворочался на сѣнѣ. Ермолай всталъ и подошелъ ко мнѣ. — „Картофель готовъ-съ, извольте кушать“.

Я вышелъ изъ-подъ навѣса; мельничиха поднялась съ кадки и хотѣла уйдти. Я заговорилъ съ нею.

— Давно вы эту мельницу сняли?

— Второй годъ пошелъ съ Троицына дня.

— А твой мужъ откуда?

Арина не разслушала моего вопроса.

— Откелева твой мужъ? повторилъ Ермолай, возвыся голосъ.

— Изъ Бѣлева. Онъ Бѣлевскій мѣщанинъ.

— А ты тоже изъ Бѣлева?

— Нѣтъ, я господская.... была господская.

— Чья?

— Звѣркова господина. Теперь я вольная.

— Какого Звѣркова?

— Александра Силыча.

— Не была ли ты у его жены горничной

— А вы почему знаете? — Была.

Я съ удвоеннымъ любопытствомъ и участіемъ посмотрѣлъ на Арину.

— Я твоего барина знаю, продолжалъ я.

— Знаете? отвѣчала она въ полголоса — и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я съ такимъ участіемъ посмотрѣлъ на Арину. Во время моего пребыванія въ Петербургѣ я случайнымъ образомъ познакомился съ г. Звѣрковымъ. Онъ занималъ довольно важное мѣсто, слылъ человекомъ знающимъ и дѣльнымъ. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое созданье; былъ и сынокъ, настоящій барченокъ, избалованный и глупый. Наружность самого г. Звѣркова мало располагала въ его пользу: изъ широкаго, почти четвероугольнаго лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчалъ носъ большой и острый, съ открытыми ноздрями; стриженные, сѣдые волосы поднимались щетиной надъ морщинистымъ лбомъ, тонкія губы безпрестанно шевелились и приторно улыбались. Г. Звѣрковъ стоялъ обыкновенно, опиравъ ножки и заложивъ толстыя ручки въ карманы. Разъ какъ-то пришлось мнѣ ѣхать съ нимъ вдвоемъ въ каретѣ за-городъ. Мы раз-

говорились. Какъ человѣкъ опытный, дѣльный, г. Звѣрковъ началъ наставлять меня на „путь истины“.

— Позвольте мнѣ вамъ замѣтить, пропищалъ онъ, наконецъ: — вы всѣ, молодые люди, судите и толкуете обо всѣхъ вещахъ на-обумъ; вы мало знаете собственное свое отечество; Россія вамъ, господа, незнакома, — вотъ что!... Вы все только нѣмецкія книги читаете. Вотъ, на-примѣръ, вы мнѣ говорите теперь и то и то на-счетъ того, ну, то-есть, на-счетъ дворовыхъ людей.... Хорошо, я не спорю, все это хорошо; но вы ихъ не знаете, не знаете, что это за народъ. (Г-нъ Звѣрковъ громко высморкался и понюхалъ табаку.) Позвольте мнѣ вамъ рассказать, на-примѣръ, одинъ маленькій анекдотецъ: васъ это можетъ заинтересовать. (Г-нъ Звѣрковъ откашлянулся.) Вы, вѣдь, знаете, что у меня за жена: кажется, женщину добрее ея найти трудно, согласитесь сами. Горничнымъ ея дѣвушкамъ не житье, — просто рай вочію совершается.... Но моя жена положила себѣ за правило, замужнихъ горничныхъ не держать, оно и точно не годится: пойдутъ дѣти, то, э, — ну гдѣ-жь тутъ горничной присмотрѣти а барыней, какъ слѣдуетъ, наблюдать за ея г

вычками: ей ужь не до того, у ней ужь не то на умѣ. Надо по-человѣчеству судить. Вотъ-съ, проѣзжаемъ мы разъ черезъ нашу деревню, лѣтъ тому будетъ — какъ-бы вамъ сказать, не солгать — лѣтъ пятнадцать. Смотримъ, у старосты дѣвочка дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то въ манерахъ. Жена моя и говорить мнѣ: Коко, — то есть, вы понимаете, она меня такъ называетъ, — возьмемъ эту дѣвочку въ Петербургъ; она мнѣ нравится, Коко.... Я говорю: возьмемъ, съ удовольствіемъ. Староста, разумѣется, намъ въ ноги; онъ такого счастья, вы понимаете, и ожидать не могъ.... Ну, дѣвочка, конечно, поплакала сдуру. Оно дѣйствительно жутко сначала: родительскій домъ.... вообще.... удивительнаго тутъ ничего нѣтъ. Однако, она скоро къ намъ привыкла; сперва ее отдали въ дѣвичью; учили ее, конечно. Что-жъ вы думаете?... Дѣвочка оказываетъ удивительные успѣхи; жена моя просто къ ней пристрачивается, жалуется ей, наконецъ, помимо другихъ, въ горничныя къ своей особѣ.... за-мѣняйте!... И надобно было отдать ей справед-
 а сть — не было еще такой горничной у моей
 а рѣшительно не было: услужлива, скромна,
 і чна — просто, все что требуется. За то

ужь и жена ее даже, признаться, слишкомъ баловала: одѣвала отлично, кормила съ господскаго стола, чаемъ поила.... ну, что только можно себѣ представить! Вотъ эдакъ она лѣтъ десять у моей жены служила. Вдругъ, въ одно прекрасное утро, вообразите себѣ, входитъ Арина — ее Ариной звали — безъ доклада ко мнѣ въ кабинетъ, — и бухъ мнѣ въ ноги.... Я этого, скажу вамъ откровенно, терпѣть не могу. Человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство, не правда ли? — Чего тебѣ? — „Батюшка, Александръ Силычъ, милости прошу“. — Какой? — „Позвольте выйти замужъ“. — Я, признаюсь вамъ, удивился. — Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нѣту? — „Я буду служить барынѣ по-прежнему.“ — Вздоръ! вздоръ! барыня замужнихъ горничныхъ не держить. — „Маланья на мое мѣсто поступить можетъ.“ — Прощу не разсуждать! — „Воля ваша....“ Я, признаюсь, такъ и обомлѣлъ. Доложу вамъ, я такой человѣкъ: ни что меня такъ не оскорбляетъ, смѣю сказать, такъ сильно не оскорбляетъ, какъ неблагодарность.... Вѣдь вамъ говорить нечего — вы знаете, что у меня за жена: ангелъ во плоти, доброта неизъяснимая.... Кажетъ я, злодѣй — и тотъ бы ее пожалѣлъ. Я прогнѣлъ

Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете-ли, вѣрить злу, черной неблагодарности въ человѣкѣ. Чтò-жъ вы думаете? Черезъ полгода опять она изволить жаловать ко мнѣ съ тоюже самою просьбой. Тутъ я, признаюсь, ее съ сердцемъ прогналъ и погрозилъ ей, и сказать женѣ общался. Я былъ возмущенъ.... Но представьте себѣ мое изумленіе: нѣсколько времени спустя, приходитъ ко мнѣ жена, въ слезахъ, взволнована такъ, что я даже испугался. — Что такое случилось? — „Арина....“ Вы понимаете.... я стыжусь выговорить. — Быть не можетъ?... кто-же? — „Петрушка лакей“. Меня взорвало. Я такой человѣкъ.... полумѣръ не люблю!... Петрушка.... не виновать. Наказать его можно, но онъ, по-моему, не виновать. Арина.... ну, что-жъ, ну, ну, что-жъ тутъ еще говорить? Я, разумѣется, тотчасъ-же приказалъ ее остричь, одѣть въ затрапезъ и сослать въ деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но дѣлать было нечего: беспорядокъ въ домѣ терпѣть, однакоже, нельзя. Большой членъ не отсѣчь разомъ.... Ну, ну, теперь посудите, — ну, вѣдь, вы знаете мою жену, вѣдь, это, это.... наконецъ, ангель!... Вѣдь она ждалась въ Аринѣ, — и Арина это знала,

и не постыдилась.... А? нѣтъ, скажите.... а? Да что тутъ толковать! Во всякомъ случаѣ, дѣлать было нечего. Меня-же, собственно меня, надолго огорчила, обидѣла неблагодарность этой дѣвушки. Что ни говорите.... сердца, чувства — въ этихъ людяхъ не ищите! Какъ волка ни корми, онъ все въ лѣсъ смотритъ.... Впередъ наука! Но я желалъ только доказать вамъ....

И г. Звѣрковъ, не докончивъ рѣчи, отворотилъ голову и завернулся плотнѣе въ свой плащъ, мужественно подавляя невольное волненіе.

Читатель теперь, вѣроятно, понимаетъ, почему я съ участіемъ посмотрѣлъ на Арину.

— Давно ты за-мужемъ за мельникомъ? спросилъ я ее, наконецъ.

— Два года.

— Что-жъ, развѣ тебѣ баринъ позволилъ?

— Меня откупили.

— Кто?

— Савелій Алексѣевичъ.

— Кто такой?

— Мужъ мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А развѣ вамъ баринъ говорилъ обо мнѣ? прибавила Арина послѣ небольшого молчанья

Я не зналъ, что отвѣчать на ея вопро

„Арина!“ закричалъ издали мельникъ. Она встала и ушла.

— Хорошій человекъ ея мужъ? спросилъ я Ермолая.

— Ни што.

— А дѣти у нихъ есть?

— Былъ одинъ, да померъ.

— Что-жъ, она понравилась мельнику, что-ли?... Много-ли онъ за нее далъ выкупу.

— А не знаю. Она грамотѣ разумѣтъ; въ ихъ дѣлѣ оно.... того.... хорошо бываетъ. Стало быть, понравилась.

— А ты съ ней давно знакомъ?

— Давно. Я къ ея господамъ прежде хаживалъ. Ихъ усадьба отселѣва не далече.

— И Петрушку лакея знаешь?

— Петра Васильевича? Какъ-же, зналъ.

— Гдѣ онъ теперь?

— А въ солдаты поступилъ.

Мы помолчали.

— Чтò она, кажется, не здорова? спросилъ я, наконецъ, Ермолая.

Какое здоровье!... А завтра, чай тяга, та будетъ. Вамъ теперь соснуть не худо. А до дикихъ утокъ со свистомъ промчалось нами, и мы слышали, какъ оно спустилось на охотника. I.

на рѣку недалеко отъ насъ. Уже совсѣмъ стемнѣло и начинало холодать; въ роуцѣ звучно щелкалъ соловей. Мы зарылись въ сѣно и заснули.

МАЛИНОВАЯ ВОДА.

Въ началѣ августа жары часто стоятъ нестерпимые. Въ это время отъ двѣнадцати до трехъ часовъ самый рѣшительный и сосредоточенный человѣкъ не въ состояніи охотиться, и самая преданная собака начинаетъ „чистить охотнику шпоры“, т. е., идетъ за нимъ шагомъ, болѣзненно прищуривъ глаза и увеличенно высунувъ языкъ; а въ отвѣтъ на укоризны своего господина униженно виляетъ хвостомъ и выражаетъ смущеніе на лицѣ, но впередъ не подвигается. Именно въ такой день случилось мнѣ быть на охотѣ. Долго противился я искушенію прилечь гдѣ нибудь въ тѣни, хоть на мгновеніе; но моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустамъ, хотя сама видимо ничего не могла сдѣлать путнаго отъ своей лихорадочной дѣятельности. Удушливый зной принудилъ меня,

наконецъ, подумать о сбереженіи послѣднихъ нашихъ силъ и способностей. Кое-какъ дотащился я до рѣчки Исты, уже знакомой моимъ снисходительнымъ читателямъ, спустился съ кручи и пошелъ по желтому и сырому песку въ направленіи ключа, извѣстнаго во всемъ околѣкѣ подъ названіемъ „Малиновой воды“. Ключъ этотъ бьетъ изъ разсѣлины берега, превратившейся мало-по-малу въ небольшой, но глубокій оврагъ, и въ двадцати шагахъ отсюда съ веселымъ и болтливымъ шумомъ впадаетъ въ рѣку. Дубовые кусты разрослись по скатамъ оврага; около родника зеленѣетъ короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа; на травѣ лежала черпалка изъ бересты, оставленная прохожимъ мужикомъ на пользу общую. Я напился, прилегъ въ тѣнь и взглянулъ кругомъ. У залива, образованнаго впаденіемъ источника въ рѣку, и оттого вѣчно покрытаго мелкой рябью, сидѣли ко мнѣ спиной два старика. Одинъ, довольно плотный и высокаго роста, въ темнозеленомъ опрятномъ кафтанѣ и пуховомъ картузѣ, удиль рыбу; другой — худенькій и маленькій, въ мухояровомъ застегнутомъ сюртукѣ и безъ шапки, держалъ а

колѣняхъ горшковъ съ червями и изрѣдка проводилъ рукой по сѣдой своей головкѣ, какъ-бы желая предохранить ее отъ солнца. Я вглядѣлся въ него попристальнѣе и узналъ въ немъ Шумихинскаго Степушку. Прошу позволенія читателя представить ему этого человѣка.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ моей деревни находится большое село Шумихино, съ каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобныхъ Козьмы и Даміана. Напротивъ этой церкви нѣкогда красовались обширныя господскія хоромы, окруженныя разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющихъ, цвѣточными оранжереями, качелями для народа, и другими, болѣе или менѣе полезными, зданіями. Въ этихъ хоромахъ жили богатые помѣщики, и все у нихъ шло своимъ порядкомъ, — какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, вся эта благодать сторѣла до-тла. Господа перебрались въ другое гнѣздо; усадьба запустѣла. Обширное пепелище превратилось въ огородъ, кой-гдѣ загроможденное грудями кирпичей, остатками прежнихъ иментовъ. Изъ уцѣлѣвшихъ бревенъ на одну руку сколотили избенку, покрыли ее ба-

рочнымъ тесомъ, купленнымъ лѣтъ за десять для построения павильона на готическій манеръ, и поселили въ ней садовника Митрофана съ женой Аксиной и семьёю дѣтьми. Митрофану приказали поставлять на господскій столъ, за полтора верстъ, зелень и овощи; Акинъ поручили надзоръ за тирольской коровою, купленною въ Москвѣ за большія деньги, но, къ сожалѣнью, лишенной всякой способности воспроизведенія, и потому со времени пріобрѣтенія не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную „господскую“ птицу; дѣтямъ, по причинѣ малолѣтства, не опредѣлили никакихъ должностей, что, впрочемъ, нисколько не помѣшало имъ совершенно облѣниться. У этого садовника мнѣ случалось раза два переночевать; мимоходомъ забиралъ я у него огурцы, которые, Богъ вѣдаетъ почему, даже лѣтомъ отличались величиной, дряннымъ водянистымъ вкусомъ и толстой желтой кожей. У него-то увидалъ я впервые Стѣпушку. Кромѣ Митрофана съ его семьёю да стараго глухаго вѣттора Герасима, проживавшаго Христа-ради въ коморочкѣ у кривой солдатки, ни одного двороваго человѣка не осталось въ Шумихинѣ, потому что Стѣпушкѣ съ которымъ я намѣренъ познакомить читателей.

нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового въ особенности.

Всякій человекъ имѣетъ хоть какое-бы то ни было положеніе въ обществѣ, хоть какія-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то, по крайней мѣрѣ, такъ называемое „отвѣсное“. Стѣпушка не получалъ рѣшительно никакихъ пособій, не состоялъ въ родствѣ ни съ кѣмъ, никто не зналъ о его существованіи. У этого человека даже пропедшаго не было; о немъ не говорили; онъ и по ревизіи едва-ли числился. Ходили темные слухи, что состоялъ онъ когда-то у кого-то въ камердинерахъ; но кто онъ, откуда онъ, чей сынъ, какъ попалъ въ число Шумихинскихъ подданныхъ, какимъ образомъ добылъ мухояровый, съ незапамятныхъ временъ носимый имъ, кафтанъ, гдѣ живетъ, чѣмъ живетъ, — объ этомъ рѣшительно никто не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, да, и правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дѣдушка Трофимычъ, который зналъ родословную всѣхъ дворовыхъ въ восходящей линіи до четвертаго колѣна, и тотъ разъ только сказалъ, что, дескать, пется, Степану приходится родственницей тужа, которую покойный баринъ, бригадиръ Андрей Романычъ, изъ похода въ обозѣ изволилъ

привести. Даже, бывало, въ праздничные дни, дни всеобщаго жалованья и угощенія хлѣбомъ-солью, гречинными пирогами и зеленымъ виномъ, по старинному русскому обычаю, — даже и въ эти дни Стѣпушка не являлся къ выставленнымъ столамъ и бочкамъ, не кланялся, не подходилъ къ барской рукѣ, не выпивалъ духомъ стакана подъ господскимъ взглядомъ и за господское здоровье, стакана, наполненнаго жирною рукою прикащика; — развѣ какая добрая душа, проходя мимо, удѣлитъ бѣднягѣ недоѣденный кусокъ пирога. Въ Свѣтлое Воскресенье съ нимъ христовались, но онъ не подворачивалъ замащенного рукава, не доставалъ изъ задняго кармана своего краснаго яичка, не подносилъ его, задыхаясь и моргая, молодымъ господамъ или даже самой барынѣ. Проживалъ онъ лѣтомъ въ клети, позади курятника, а зимой въ предбанникѣ; въ сильные морозы ночевалъ на сѣновалѣ. Его привыкли видѣть, иногда даже давали ему пинка, но никто съ нимъ не заговаривалъ, и онъ самъ, кажется, отъ роду рта не разинулъ. Послѣ пожара, этотъ заброшенный человѣкъ пріютился или, какъ говорятъ Орловны, „притулился“ у садовника Мірофана. Садовникъ не тронулъ его, не сказалъ ему: живи у меня, да и не прогналъ его. Ст

пушка и не жилъ у садовника: онъ обиталъ, виталъ на огородѣ. Ходилъ онъ и двигался безо всякаго шума; чихалъ и кашлялъ въ руку, не безъ страха, вѣчно хлопоталъ и возился втихомолку, словно муравей; и все для ѣды, для одной ѣды. И точно, не заботясь онъ съ утра до вечера о своемъ пропитаніи — умеръ бы мой Стѣпушка съ голоду. Плохое дѣло не знать поутру, чѣмъ къ вечеру сытъ будешь! То подъ заборомъ Стѣпушка сидитъ и рѣдьку гложетъ, или морковь сосетъ, или грязный кочанъ капусты подъ себя крошитъ; то ведро съ водою куда-то тащить и кряхтитъ; то подъ горшечкомъ огонекъ раскладываетъ и какіе-то черные кусочки изъ-за пазухи въ горшокъ бросаетъ; то у себя въ чуланчикѣ деревяшкой постукиваетъ, гвоздикъ приколачиваетъ, полочку для хлѣбца устраиваетъ. И все это онъ дѣлаетъ молча, словно изъ-за угла: глядь, ужъ и спрятался. А то вдругъ отлучится дня на два; его отсутствія, разумѣется, никто не замѣчаетъ.... Смотришь, ужъ онъ опять тутъ, опять гдѣ-нибудь около забора подъ таганчикъ щепочки украдкой подымаетъ. Лицо у него маленькое, глазки гленькіе, волосы вплоть до бровей, носикъ гленькій, уши пребольшія, прозрачныя, какъ

у летучей мыши, борода словно двѣ недѣли тому назадъ выбрита, и никогда ни меньше не бываетъ ни больше. Вотъ этого-то Стѣпушку я встрѣтилъ на берегу Исты въ обществѣ другаго старика.

Я подошелъ къ нимъ, поздоровался и присѣлъ съ ними рядомъ. Въ товарищѣ Стѣпушки я узналъ тоже знакомаго: это былъ вольноотпущенный человѣкъ графа Петра Ильича ***, Михайло Савельевъ, по прозвищу Туманъ. Онъ проживалъ у Болховскаго чохоточнаго мѣщанина, содержателя постоялаго двора, гдѣ я довольно часто останавливался. Проѣзжающіе по большой Орловской дорогѣ молодые чиновники и другіе незанятые люди (купцамъ, погруженнымъ въ свои полосатыя перины, не до того) до сихъ поръ еще могутъ замѣтить въ недалекомъ разстояніи отъ большаго села Троицкаго огромный деревянный домъ въ два этажа, совершенно заброшенный съ провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. Въ полдень, въ ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнѣе этой развалины. Здѣсь нѣкогда жилъ графъ Петръ Ильичъ, извѣстный хлѣбосоль, богатый вельможа стараго вѣку. Бывало, вся губернія съѣзжалася

у него, плясала и веселилась на-славу, при оглушительномъ громѣ доморощенной музыки, трескотнѣ бураковъ и римскихъ свѣчей; и, вѣроятно, не одна старушка, проѣзжая теперь мимо запустѣлыхъ боярскихъ палатъ, вздохнетъ и вспомянетъ минувшія времена и минувшую молодость. Долго пировалъ графъ, долго расхаживалъ, привѣтливо улыбаясь, въ толпѣ подобострастныхъ гостей: но имѣнья его, къ несчастію, не хватило на цѣлую жизнь. Раззорившись кругомъ, отправился онъ въ Петербургъ искать себѣ мѣста и умеръ въ номерѣ гостинницы, не дождавшись никакого рѣшенія. Туманъ служилъ у него дворецкимъ и еще при жизни графа получилъ отпускную. Это былъ человѣкъ лѣтъ семидесяти, съ лицомъ правильнымъ и пріятнымъ. Улыбался онъ почти постоянно, какъ улыбаются теперь одни люди Екатерининскаго времени — добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигалъ и сжималъ губы, ласково щурилъ глаза и произносилъ слова нѣсколько въ носъ. Сморкался и нюхалъ табакъ онъ, тоже, не торопясь, словно дѣло дѣлалъ.

— Ну что, Михайло Савельичъ, началъ я: ловилъ рыбы?

А вотъ извольте въ плетушку заглянуть:

двухъ окуньковъ залучилъ да головниковъ штукъ пять.... Покажь, Стёпка.

Стёпушка протянулъ ко мнѣ плетушку.

— Какъ ты поживаешь, Степанъ? спросилъ я его.

— И.... и.... и.... ни.... ничего-о, батюшка, помаленьку, отвѣчалъ Степанъ, запинаясь, словно пуды языкомъ ворочать.

— А Митрофанъ здоровъ?

— Здоровъ, ка-какъ же, батюшка.

Бѣднякъ отвернулся.

— Да плохо что-то клюетъ, заговорилъ Туманъ: — жарко больно; рыба-то вся подъ кусты забила, спить.... Надѣнько червяка, Стёпа. (Стёпушка досталъ червяка, положилъ на ладонь, хлопнулъ по немъ раза два, надѣлъ на крючокъ, поплевалъ и подалъ Туману.) Спасибо, Стёпа.... А вы, батюшка, продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — охотиться изволите?

— Какъ видишь.

— Такъ-съ.... А что это у васъ пёсикъ аглицкій, или фурлянскій какой?

Старикъ любилъ при случаѣ показать себя: дескать, и мы живали въ свѣтѣ!

— Не знаю, какой онъ породы, а хорошъ.

— Такъ-съ... А съ собаками изволите ѣздить

— Своры двѣ у меня есть.

Туманъ улыбнулся и покачалъ головой.

— Оно точно; иной до сабакъ охотникъ, а иному ихъ даромъ не нужно. Я такъ думаю, по простому моему разуму: собакъ больше для важности, такъ сказать, держать слѣдуетъ.... И чтобы все ужъ и было въ порядкѣ: и лошади чтобъ были въ порядкѣ, и псари, какъ слѣдуетъ, въ порядкѣ, и все. Покойный графъ — царство ему небесное! — охотникомъ отродясь, признаться, не бывалъ, а собакъ держалъ и раза два въ годъ выѣзжать изволилъ. Соберутся псари на дворы въ красныхъ кафтанахъ съ галунами и въ трубу протрубятъ; ихъ сіятельство выдти изволятъ, и коня ихъ сіятельству подведутъ; ихъ сіятельство сядутъ, а главный ловчій имъ ножки въ стремяна вдѣнетъ, шапку съ головы сниметъ и поводья въ шапекъ подастъ. Ихъ сіятельство арапельникомъ этакъ изволятъ щелкнуть, а псари загогочутъ да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графомъ поѣдетъ, а самъ на шолоховой своркѣ двухъ любимыхъ бар——хъ собачекъ держать и этакъ наблюдаетъ, те.... И сидитъ-то онъ, стремянный-то, око, высоко, на казацкомъ сѣдлѣ, краснощотаконъ, глазищами такъ и водить.... Ну, и

гости, разумѣется, при этомъ случаѣ бываютъ. И забава, и почетъ соблюденъ.... Ахъ, сорвался, азіятецъ! прибавилъ онъ вдругъ, дернувъ удочкой.

— А что, говорятъ, графъ таки пожилъ на своемъ вѣку? спросилъ я.

Старикъ поплевалъ на червяка и закинулъ удочку.

— Вельможественный былъ человѣкъ, извѣстно-съ. Къ нему, бывало, первыя, можно сказать, особы изъ Петербурга заѣзжали. Въ голубыхъ лентахъ, бывало, за столомъ сидятъ и кушаютъ. Ну, да ужъ и угощать былъ мастеръ. Призоветъ, бывало, меня: „Туманъ“, говорить, „мнѣ къ завтрашнему числу живыхъ стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь“. — „Слушаю, ваше сіятельство.“ — Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколонъ перваго сорта, табакерки, картины этакія большущія, изъ самаго Парижа выпиывалъ. Задастъ банкетъ, — Господи, владыко живота моего! фейверки пойдутъ, катанья! Даже изъ пушекъ палятъ. Музыкантовъ однихъ сорокъ человѣкъ на лицо состояло. Кампельмейстера изъ нѣмцевъ держалъ, да зазнался больно нѣмецъ, с господами за однимъ столомъ кушать захотѣлъ такъ и велѣли ихъ сіятельство прогнать его съ Бомъ: у меня и такъ, говорить, музыканты свое дѣ.

понимають. Извѣстно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшутъ, и все больше лавкосезъ-матрадура.... Э.... э.... э.... попался братъ! (Старикъ вытащилъ изъ воды небольшого окуня.) На-ко, Стѣпа. — Баринъ былъ, какъ слѣдуетъ, баринъ, продолжалъ старикъ, закинувъ опять удочку: — и душа была тоже добрая. Побьетъ, бывало, тебя; смотришь, ужъ и позабылъ. Одно: матресокъ держалъ. Охъ, ужъ эти матрески, прости Господи! Онѣ-то его и раззорили. И, вѣдь, все больше изъ низкаго сословія выбиралъ. Кажись, чего бы имъ еще? Такъ нѣтъ, — подавай имъ что ни на есть самаго дорогаго въ цѣлой Европіи.... И то сказать: почему не пожить въ свое удовольствіе, — дѣло господское.... да раззоряться-то не слѣдъ. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница — царство ей небесное! Дѣвка была простая, Ситовскаго десятскаго дочь, да такая злющая. По щекамъ, бывало, графа бьетъ. Околдовала его совсѣмъ. Племяннику моему лобъ забрила: на новое платье щеколатъ ей обротъ.... и не одному ему забрила лобъ. Да....
 ! те-таки хорошее было времячко! прибавилъ
 (икъ съ глубокимъ вздохомъ, потупился и
 ! къ.

— А баринъ-то, я вижу, у васъ былъ строгъ? началъ я, послѣ небольшого молчанія.

— Тогда это было во вкусѣ, батюшка, возразилъ старикъ, качнувъ головой.

— Теперь ужъ этого не дѣлается, замѣтилъ я, не спуская съ него глазъ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ боку.

— Теперь, вѣстимо, лучше, пробормоталъ онъ — и далеко закинулъ удочку.

Мы сидѣли въ тѣни; но и въ тѣни было душно. Тяжелый, знойный воздухъ словно замеръ; горячее лицо съ тоской искало вѣтра, да вѣтра-то не было. Солнце такъ и било съ синяго, потемнѣвшаго неба; прямо передъ нами на другомъ берегу желтѣло овсяное поле, кой-гдѣ проросшее полынью, и хоть-бы одинъ колосъ пошевелился. Не много пониже, крестьянская лошадь стояла въ рѣкѣ по колѣни и лѣнливо обмахивалась мокрымъ хвостомъ; изрѣдка подъ нависшимъ кустомъ всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставивъ за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали въ порыжѣлой травѣ; перепела крича — какъ-бы нехотя; ястреба плавно носились на полями и часто останавливались на мѣстѣ, быстро махая крылами и распутивъ хвостъ вѣро-

Мы сидѣли неподвижно, подавленные жаромъ. Вдругъ, позади насъ, въ оврагѣ раздался шумъ: кто-то спускался къ источнику. Я оглянулся и увидалъ мужика лѣтъ пятидесяти, запыленного, въ рубашкѣ, въ лаптяхъ, съ плетеной котомкой и армякомъ за плечами. Онъ подошелъ къ ключу, съ жадностію напился и приподнялся.

— Э, Власъ! вскрикнулъ Туманъ, взглянувъ въ него: — здорово, братъ! Откуда Богъ принесъ?

— Здорово, Михайла Савельичъ, проговорилъ мужикъ, подходя къ намъ: — издалеца.

— Гдѣ пропадалъ? спросилъ его Туманъ.

— А въ Москву ходилъ, къ барину.

— Затѣмъ?

— Просить его ходилъ.

— О чемъ просить?

— Да чтобъ оброку сбавилъ, аль на барщину посадилъ, переселилъ, что-ли.... Сынъ у меня умеръ, — такъ мнѣ одному теперь не справиться.

— Умеръ твой сынъ?

— Умеръ. Покойникъ, прибавилъ мужикъ, члавъ: — у меня въ Москвѣ въ извоицахъ за меня, признаться, и оброкъ вносилъ.

Да развѣ вы теперь на оброкѣ?

сми охотника. I.

— На оброкъ.

— Чтò-жь твой баринъ?

— Чтò баринъ? Прогналъ меня. Говорить, какъ смѣешь прямо ко мнѣ идти: на то есть прикащикъ; ты, говорить, сперва прикащику обязанъ донести.... да и куда я тебя переселю? Ты, говорить, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчалъ вовсе.

— Ну чтò-жь, ты и пошелъ назадъ?

— И пошелъ. Хотѣлъ, было, справиться, не оставилъ-ли покойникъ какого по себѣ добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: я, молъ, Филипповъ отецъ; а онъ мнѣ говоритъ: а я почему знаю? Да и сынъ твой ничего, говорить, не оставилъ; еще у меня въ долгу. Ну, я и пошелъ.

Мужикъ рассказывалъ намъ все это съ усмѣшкой, словно о другомъ рѣчь шла; но на маленькіе и съжатые его глазки наворачивалась слезинка, губы его подергивало.

— Чтò-жь ты теперь домой идешь?

— А то куда? Извѣстно, домой. Жена, чай, теперь съ голоду въ кулакъ свистить.

— Да ты бы того заговорилъ внезапно Стѣпушка, — смѣшался, замолчалъ, и принялся копаться въ горшкѣ.

— А къ прикащику пойдешь? продолжалъ Туманъ, не безъ удивленія взглянувъ на Стёпу.

— Зачѣмъ я къ нему пойду?... За мной и такъ недоимка. Сынь-то у меня передъ смертію съ годъ хворалъ, такъ и за себя оброку не взнесъ.... Да мнѣ съ полагоря: взять-то съ меня нечего.... Ужь братъ, какъ ты тамъ ни хитри, — шалишь! Безотвѣтная моя голова! (Мужикъ разсмѣялся.) Ужь онъ тамъ какъ ни мудри, Кинтильянъ-то Семенычъ, — а ужъ....

Власъ опять засмѣялся.

— Что-жь? — это плохо, братъ Власъ, съ разстановкой произнесъ Туманъ.

— А чѣмъ плохо? Нѣ.... (У Власа голосъ прервался.) Эка жара стоитъ, продолжалъ онъ, утирая лицо рукавомъ.

— Кто вашъ баринъ? спросилъ я.

— Графъ ***, Валеріанъ Петровичъ.

— Сынь Петра Ильича?

— Петра Ильича сынь, отвѣчалъ Туманъ. Петръ Ильичъ, покойникъ, Власову-то деревню ему при жизни удѣлилъ.

— Чтò, онъ здоровъ?

— Здоровъ, слава Богу, возразилъ Власъ. расный такой сталъ, лицо словно обложилось.

— Вотъ, батюшка, продолжалъ Туманъ,

обращаясь ко мнѣ: — добро-бы подѣ Москвой, а то здѣсь на оброкѣ посадилъ.

— А почему съ тягла?

— Девиносто пять рублевъ съ тягла, пробор-моталъ Власъ.

— Ну, вотъ, видите; а земли самая малость, только и есть, что господскій лѣсъ.

— Да и тотъ, говорятъ, продали, замѣтилъ мужикъ.

— Ну, вотъ, видите.... Стѣпа, дай-ка червяка.... А, Стѣпа? что ты, заснулъ, что-ли?

Стѣпушка встрепенулся. Мужикъ подсѣлъ къ намъ. Мы опять приумоляли. На другомъ берегу кто-то затынулъ пѣсню, да такую унылую.... Пригорюнился мой бѣдный Власъ....

Черезъ полъ-часа мы разошлись.

УЪЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ.

Однажды осенью, на возвратномъ пути съ отъѣзжаго поля, я простудился и занемогъ. Къ счастью, лихорадка застигла меня въ уѣздномъ городѣ, въ гостинницѣ; я послалъ за докторомъ. Черезъ полчаса, явился уѣздный лекарь, человекъ небольшого роста, худенькій и черноволосый. Онъ прописалъ мнѣ обычное потогонное, велѣлъ приставить горчишникъ, весьма ловко запустилъ къ себѣ подъ обшлагъ пятирублевую бумажку, — при чемъ однако сухо кашлянулъ и глянулъ въ сторону, — и уже совсѣмъ было собрался отправиться во свояси, да какъ-то разговорился и остался. Жаръ меня томилъ; я невидѣлъ безсонную ночь и радъ былъ поболтать съ добрымъ человекомъ. Подали чай. Стился мой докторъ въ разговоры. Малый былъ неглухой, выражался бойко и довольно

забавно. Странныя дѣла случаются на свѣтѣ: съ инымъ человѣкомъ и долго живешь вмѣстѣ и въ дружественныхъ отношеніяхъ находишься, а ни разу не заговоришь съ нимъ откровенно, отъ души; съ другимъ-же едва познакомиться успѣешь — глядь: либо ты ему, либо онъ тебѣ, словно на исповѣди, всю подноготную и проболталъ. Не знаю, чѣмъ я заслужилъ довѣренность моего новаго пріятеля, — только онъ, ни съ того, ни съ сего, какъ говорится, „взялъ“ да и рассказалъ мнѣ довольно замѣчательный случай; а я вотъ и довожу теперь его рассказъ до свѣдѣнія благосклоннаго читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать, началъ онъ разслабленнымъ и дрожащимъ голосомъ (таково дѣйствіе безпримѣснаго березовскаго табаку): — вы не изволите знать здѣшняго судью, Мылова, Павла Лукича?... Не знаете.... Ну, все равно. (Онъ откашлялся и протеръ глаза.) Вотъ, изволите видѣть, дѣло было этакъ, какъ-бы вамъ сказать, не солгать, въ великій постъ, въ самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю въ преферансъ. Судья у насъ хорошій человѣкъ и въ преферансъ играть охотникъ. Вдругъ (мой лекарь часто употреблялъ слово:

вдругъ), говорятъ мнѣ: человѣкъ васъ спрашиваетъ. Я говорю: что ему надобно? Говорятъ, записку принесъ, — должно быть отъ больного. Подай, говорю, записку. Такъ и есть: отъ больного.... Ну, хорошо, — это, понимаете, нашъ хлѣбъ.... Да вотъ въ чемъ дѣло: пишетъ ко мнѣ помѣщица, вдова; говоритъ, дескать, дочь умираетъ, пріѣзжайте, ради самаго Господа Бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего.... Да живетъ-то она въ двадцати верстахъ отъ города, а ночь на дворѣ, и дороги такія, что фа! Да и сама бѣднѣющая, больше двухъ цѣлковыхъ ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а развѣ холстомъ придется попользоваться да крупницами какими-нибудь. Однако долгъ, вы понимаете, прежде всего: — человѣкъ умираетъ. Передаю вдругъ карты непремѣнному члену Калліопину и отправляюсь домой, гляжу: стоитъ телѣженка передъ крыльцомъ; лошади крестьянскія, — пузатія, препузатія, шерсть на нихъ — войлоко настоящее, и кучеръ, ради уваженія, безъ шапки сидитъ.

— Думаю, видно, братъ господа-то твои не наотѣйдятъ.... Вы изволите смѣяться, а я скажу: нашъ братъ, бѣдный человѣкъ, все изображение принимай.... Коли кучеръ си-

дить княземъ, да шапки не ломаетъ, да еще посмѣивается изъ-подъ бороды, да кнутикомъ шевелить — смѣло бей на двѣ депозитки! А тутъ вижу дѣло-то не тѣмъ пахнетъ. Однако, думаю, дѣлать нечего; долгъ прежде всего. Захватываю самонужнѣйшія лекарства и отправляюсь. Повѣрите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снѣгъ, грязь, водомоины, а тамъ вдругъ плотину прорвало — бѣда! Однако пріѣзжаю. Домикъ маленькій, соломой крытъ. Въ окнахъ свѣтъ: знать, ждутъ. На-встрѣчу мнѣ старушка, почтенная такая, въ чепцѣ; спасите, говоритъ, умираетъ. Я говорю: не извольте беспокоиться.... Гдѣ больная? — Вотъ сюда пожалуйте. — Смотрю: комнатка чистенькая, въ углу лампада, на постелѣ дѣвица лѣтъ двадцати, въ безмятствѣ. Жаромъ отъ нея такъ и пышетъ, дышетъ тяжело: — горячка. Тутъ же другія двѣ дѣвицы, сестры, — перепуганы, въ слезахъ. — Вотъ, говорятъ, вчера была совершенно здорова и кушала съ аппетитомъ; по-утру сегодня жаловалась на голову, а къ вечеру вдругъ вотъ въ какомъ положеніи.... Я опять-таки говорю: не извольте беспокоиться, — докторская, знаете, обязанность — и приступилъ. Кровь ей пустилъ, горчишники поставить велѣлъ, микстурку прописалъ. Меж

тѣмъ я гляжу на нее, гляжу, знаете: — ну, ей Богу, не видалъ еще такого лица.... красавица, однимъ словомъ! Жалость меня такъ и разбieraетъ. Лицо такое прiятное, глаза.... Вотъ, слава Богу, успокоилась; потъ выступилъ, словно опомнилась; кругомъ поглядѣла, улыбнулась, рукой по лицу провела.... Сестры къ ней нагнулись, спрашиваютъ: что съ тобою? — Ничего, говорить, да и отворотилась.... Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь слѣдуетъ больную въ покоѣ оставить. Вотъ мы всѣ на цыпочкахъ и вышли вонъ; горничная одна осталась на всякій случай. А въ гостиной ужъ самоваръ на столѣ, и ямайскiй тутъ же стоитъ: въ нашемъ дѣлѣ безъ этого нельзя. Подали мнѣ чай, просить остаться ночевать.... я согласился: куда теперь ѣхать! Старушка все охаетъ. Чего бы? говорю, будетъ жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй часъ. — Да вы меня прикажите разбудить, коли что случится? — „Прикажу, прикажу.“ — Старушка отправилась, и дѣвицы такъ же пошли къ себѣ въ комнату; мнѣ постель въ гостиной послали. Вотъ я, — только не могу заснуть, — что за а! Ужъ на что, кажется, намучился. Все сильная у меня съ ума не идетъ. Наконецъ,

не вытерпѣлъ, вдругъ всталъ; думаю, пойду посмотрю, чтó дѣлаетъ паціентъ? А спальня-то ея съ гостиной рядомъ. Ну, всталъ, растворилъ тихонько дверь, — а сердце такъ и бьется. Гляжу: горничная спитъ, ротъ раскрыла и храпитъ даже, бестія! а больная лицомъ ко мнѣ лежитъ, и руки разметала, бѣднажка! Я подошелъ.... Какъ она вдругъ раскроетъ глаза и уставится на меня!... „Кто это? кто это?“ — Я сконфузился. — Не пугайтесь, говорю, сударыня: я докторъ, пришелъ посмотрѣть, какъ вы себя чувствуете. — „Вы докторъ?“ — Докторъ, докторъ.... Матушка ваша за мною въ городъ посылали; мы вамъ кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этакъ черезъ два мы васъ, дастъ Богъ, на ноги поставимъ. — „Ахъ, да, да, докторъ, не дайте мнѣ умереть.... пожалуйста, пожалуйста“. — Чтó вы это, Богъ съ вами! — А у ней опять жаръ, думаю я про себя; пощупалъ пульсъ: точно, жаръ. Она посмотрѣла на меня, — да какъ возьметъ меня вдругъ за руку. — „Я вамъ скажу, почему мнѣ не хочется умереть, я вамъ скажу, я вамъ скажу.... теперь мы одни; только вы, пожалуйста никому.... послушайте“.... Я нагнулся; пр

двинула она губы къ самому моему уху волоса

щеку мою трогаетъ, — признаюсь, у меня самого кругомъ пошла голова, — и начала шептать.... Ничего не понимаю.... Ахъ, да это она бредитъ.... Шептала, шептала, да такъ проворно и словно не по русски, кончила, вздрогнула уронила голову на подушку и пальцемъ мнѣ погрозила. — „Смотрите же, докторъ, никому“.... Кое-какъ я ее успокоилъ, далъ ей напиться, разбудилъ горничную и вышелъ.

Тутъ лекаръ опять съ ожесточеніемъ понюхалъ табаку и на мгновеніе оцѣпенѣлъ.

— Однако, продолжалъ онъ, — на другой день больной, въ противность моимъ ожиданіямъ, не полегчило. Я подумалъ, подумалъ и вдругъ рѣшился остаться, хотя меня другіе пациенты ожидали.... А вы знаете, этимъ negliжировать нельзя: практика отъ этого страдаетъ. Но, во-первыхъ, больная дѣйствительно находилась въ отчаяніи; а во-вторыхъ, надо правду сказать, я самъ чувствовалъ сильное къ ней расположеніе. Притомъ же и все семейство мнѣ нравилось. Люди они были хоть и неимущіе, но образованные, могъ сказать, на рѣдкость.... Отецъ-то у нихъ былъ человѣкъ ученый, сочинитель; умеръ конечно отъ бѣдности, но воспитаніе дѣтямъ успѣлъ сообщить отличное; книгъ тоже много оставилъ.

Потому-ли, что, хлопоталъ-то я усердно около больной, по другимъ ли какимъ-либо причинамъ, только меня, смѣю сказать, полюбили въ домѣ, какъ роднаго.... Между тѣмъ распутица сдѣлалась страшная: всѣ сообщенія, такъ сказать, прекратились совершенно; даже лекарство съ трудомъ изъ города доставлялось.... Больная не поправлялась.... День за день, день за день.... Но вотъ-съ.... тутъ-съ.... (Лекарь помолчалъ.) Право, не знаю, какъ-бы вамъ изложить-съ.... (Онъ снова понюхалъ табаку, крякнулъ и хлебнулъ глотокъ чаю.) Скажу вамъ безъ обиняковъ, больная моя.... какъ-бы это того.... ну, полюбила, что-ли, меня.... или нѣтъ, не то, чтобы полюбила.... а, впрочемъ.... право, какъ это, того-съ.... (Лекарь потушилъ и покраснѣлъ.)

— Нѣтъ, продолжалъ онъ съ живостью: — какое полюбила! Надо себѣ, наконецъ, цѣну знать. Дѣвица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабылъ, можно сказать, совершенно. На счетъ фигуры (лекарь съ улыбкой взглянулъ на себя) тамъ же, кажется, нечѣмъ хвастаться. Но дуракомъ Господь Богъ тоже меня не уродилъ: я бѣ оскверненнымъ не назову; я кое-что тоже смѣю. Я,

напримѣръ, очень хорошо понялъ, что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мнѣ почувствовала, а дружеское, такъ сказать, расположеніе, уваженіе, что-ли. Хотя она сама, можетъ быть, въ этомъ отношеніи ошибалась, да вѣдь положеніе ея было какое, вы сами разсудите.... Впрочемъ, прибавилъ лекарь, который всѣ эти отрывистыя рѣчи произнесъ, не переводя духа и съ явнымъ замѣшательствомъ: — я, кажется, немного за-
рапортовался... Этакъ вы ничего не поймете... а вотъ, позвольте, я вамъ все по порядку раз-
скажу.

Онъ допилъ стаканъ чаю и заговорилъ голо-
сомъ болѣе спокойнымъ.

— Такъ такъ-то-съ. Моей больной все хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медикъ, милостивый государь; вы понять не можете, что происходитъ въ душѣ нашего брата, особенно на первыхъ порахъ, когда онъ начинаетъ догадываться, что болѣзнь-то его одолеваетъ. Куда дѣнется самоувѣренность! Оробѣешь вдругъ такъ, что и сказать нельзя. Такъ тебѣ и кажется, что и позабылъ-то ты все, что зналъ, и что твоей-то тебѣ не довѣряетъ, и что другіе начинаютъ замѣчать, что ты потерялся и

неохотно симптомы тебѣ сообщаютъ, изъ подлѣ-
бѣ глядятъ, шепчутся.... э, скверно! Вѣдь
есть же лекарство, думаешь, противъ этой бо-
лѣзни, стоитъ только найти. Вотъ не оно-ли?
Попробуешь — нѣтъ, не оно! Не даешь време-
ни лекарству, какъ слѣдуетъ, подѣйствовать ...
то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало,
рецептурную книгу.... вѣдь тутъ оно, думаешь,
тутъ! Право слово, иногда на-обумъ раскроешь,
авось, думаешь, судьба.... А человѣкъ межъ
тѣмъ умираетъ; а другой-бы его лекаръ спасъ.
Консиліумъ, говоришь, нуженъ; я на себя от-
вѣтственности не беру. А ужъ какимъ дура-
комъ въ такихъ случаяхъ глядишь! Ну, со вре-
менемъ обтерпишься, ничего. Умеръ человѣкъ,
— не твоя вина: ты по правиламъ поступаешь.
А то вотъ что еще мучительно бываетъ: видишь
довѣріе къ тебѣ слѣпое, а самъ чувствуешь, что
не въ состояніи помочь. Вотъ именно такое
довѣріе все семейство Александры Андреевны ко
мнѣ возымѣло: — и думать позабыли, что у нихъ
дочь въ опасности. Я ихъ тоже, съ своей сто-
роны, увѣряю, что ничего, дескать; а у самаго
душа въ пятки уходитъ. Къ довершенію и ча-
стія, такая подошла распутица, что за лека-
рствомъ по цѣлымъ днямъ, бывало, кучеръ ѣз-
дитъ.

А я изъ комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смѣшные анекдотцы рассказываю, въ карты съ ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарить; а я про себя думаю: не стою я твоей благодарности. Признаюсь вамъ откровенно — теперь не для чего скрываться — влюбился я въ мою больную. И Александра Андреевна ко мнѣ привязалась; никого, бывало, къ себѣ въ комнату, кромѣ меня, не пускаетъ. Начнетъ со мной разговаривать, — спрашиваетъ меня, гдѣ я учился, какъ живу, кто мои родные, къ кому я ѣзжу? И чувствую я, что не слѣдъ ей разговаривать; а запретить ей, рѣшительно этакъ, знаете, запретить не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: — что ты дѣлаешь, разбойникъ?... А то возьметъ меня за руку и держать, глядитъ на меня, долго, долго, глядитъ, отвернется, вздохнетъ и скажетъ: какой вы добрый! Руки у ней такія горячія, глаза большіе, томные. — Да, говорить, вы добрый, вы хорошій человекъ, вы не то, что наши сосѣди.... нѣтъ вы не такой, вы не такой.... Какъ это я до сихъ поръ васъ чала! — Александра Андреевна, успокойтесь, я, повѣрьте, чувствую, я не знаю заслужилъ.... только вы успокойтесь, ради

Бога, успокойтесь.... все хорошо будетъ, вы будете здоровы. — А между тѣмъ, долженъ я вамъ сказать, прибавилъ лекарь, нагнувшись впередъ и поднявъ вверхъ брови: — что съ сосѣдями они мало водились оттого, что мелкіе имъ неподъ-стать приходились, а съ богатыми гордость запрещала знаться. Я вамъ говорю: чрезвычайно образованное было семейство, — такъ мнѣ, знаете, и лестно было. Изъ однѣхъ моихъ рукъ лекарство принимала.... приподнимется, бѣдняжка, съ моею помощью, приметъ, и взглянетъ на меня.... сердце у меня такъ и покатится. А между тѣмъ ей все хуже становилось, все хуже: умереть, думаю, непременно умереть. Повѣрите-ли, хотъ самому въ гробъ ложиться; а тутъ мать, сестры наблюдаютъ, въ глаза мнѣ смотрятъ.... и довѣріе проходитъ. „Что? Какъ?“ — Ничего-съ, ничего-съ; — а какое ничего-съ, умъ мѣшается. Вотъ-съ, сижу я однажды ночью, одинъ опять, возлѣ больной. Дѣвка тутъ тоже сидитъ и храпитъ во всю ивановскую.... Ну, съ несчастной дѣвки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма не хорошо себя весь вечеръ чувствовала; жаръ замучилъ. До самой полуночи все металась, конецъ, словно заснула; по крайней мѣрѣ

шевелится, лежитъ. Лампа въ углу передъ образомъ горитъ. Я сижу, знаете, потушился, дремлю тоже. Вдругъ, словно меня кто подъ бокъ толкнулъ, обернулся я.... Господи, Боже мой! Александра Андреевна во всё глаза на меня глядитъ.... губы раскрыты, щеки такъ и горятъ. — Чтѣ съ вами? — „Докторъ, вѣдь я умру?“ — Помилуй Богъ! — „Нѣтъ, докторъ, нѣтъ, пожалуйста, не говорите мнѣ, что я буду жива.... не говорите.... еслибъ вы знали.... послушайте, ради Бога, не скрывайте отъ меня моего положенья!“ — а сама такъ скоро дышетъ. — „Если я буду знать навѣрное, что я умереть должна.... я вамъ тогда все скажу, все!“ — Александра Андреевна, помиуйте! — „Послушайте, вѣдь я не спала нисколько, я давно на васъ гляжу.... ради Бога.... я вамъ вѣрю, вы человѣкъ добрый, вы честный человѣкъ, заклиная васъ всѣмъ, чтѣ есть святаго на свѣтѣ — скажите мнѣ правду! Еслибъ вы знали, какъ это для меня важно.... Докторъ, ради Бога скажите, я въ опасности?“ — Чтѣ я вамъ скажу, Александра Андреевна, помиуйте! — „Ради Бога, умоляю васъ!“ —

“... могу скрыть отъ васъ, Александра Андреевна точно въ опасности, но Богъ милостивъ.... [умру, я умру“.... И она словно обрадованно охотника. I.

валась, лицо такое веселое стало; я испугался. „Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не страшает“. Она вдругъ приподнялась и оперлась на локоть. — „Теперь.... ну, теперь я могу вамъ сказать, что я благодарна вамъ отъ всей души, что вы добрый, хорошій человекъ, что я васъ люблю“.... Я гляжу на нее, какъ шальной; жутко мнѣ, знаете.... — „Слышите-ли, я люблю васъ“.... — Александра Андреевна, чѣмъ же я заслужилъ? — „Нѣтъ, нѣтъ, вы меня не понимаете.... ты меня не понимаешь“.... И вдругъ, она протянула руки, схватила меня за голову и подаловала.... Повѣрите ли, я чуть-чуть не закричалъ.... бросился на колѣни и голову въ подушки спряталъ. Она молчитъ; пальцы ея у меня на волосахъ дрожать; слышу: плачетъ. Я началъ ее утѣшать, увѣрять.... я ужъ, право, не знаю, что я такое ей говорилъ. — Дѣвчу, говорю, разбудите, Александра Андреевна.... благодарю васъ.... вѣрите.... успокойтесь. — „Да полно же, полно“, твердила она. „Богъ съ ними со всѣми; ну проснутъ, ну придутъ — все равно: вѣдь умру же я.... Да и ты чего робѣешь, чего боишься? подними голову.... Или вы, можетъ быть, меня не любите, можетъ быть, я обманулась....

такомъ случаѣ, извините меня“. — Александра Андреевна, что вы говорите?... я люблю васъ, Александра Андреевна. — Она взглянула мнѣ прямо въ глаза, раскрыла руки. — „Такъ обними же меня“.... Скажу вамъ откровенно: я не понимаю, какъ я въ ту ночь съ ума не сошелъ. Чувствую я, что больная моя себя губить; вижу, что не совсѣмъ она въ памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мнѣ; а то, вѣдь, какъ хотите, жутко умирать въ двадцать пять лѣтъ, никого не любивши: вѣдь вотъ чтò ее мучило, вотъ отъ чего она, съ отчаянья, хотъ за меня ухватилась, — понимаете теперь? Но не выпускаетъ она меня изъ своихъ рукъ. — Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю. — „Къ чему“, говорить, „чего жалѣть? Вѣдь должна же я умереть“.... Это она безпрестанно повторяла. „Вотъ если-бы я знала, что я въ живыхъ останусь и опять въ порядочныя барышни попаду, мнѣ-бы стыдно было, точно стыдно.... а то чтò?“ — Да кто вамъ сказалъ, что вы умрете? — „Э, нѣтъ, полно, ты меня не чешь, ты лгать не умѣешь, посмотри на се-
— Вы будете живы, Александра Андреевна, въ вылечу; мы испросимъ у вашей матушки

благословеніе... мы соединимся узами, мы будемъ счастливы. — „Нѣтъ, нѣтъ, я съ васъ слово взяла, я должна умереть.... ты мнѣ обѣщалъ.... ты мнѣ сказалъ“.... Горько было мнѣ, по многимъ причинамъ горько. И посудите, вотъ какія иногда приключаются вещицы: кажется ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, какъ мое имя, то-есть не фамилія, а имя. Надо-же несчастье такое, что меня Трифономъ зовутъ. Да-съ, да-съ; Трифономъ, Трифономъ Иванычемъ. Въ домѣ-то меня всѣ докторомъ звали. Я, дѣлать нечего, говорю: Трифонъ, сударыня. Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — охъ, да не доброе что-то, и засмѣялась потомъ, не хорошо тоже. Вотъ, этакъ-то я почти всю ночь провелъ съ ней. Поутру вышелъ, словно уторѣлый; вошелъ къ ней опять въ комнату уже днемъ, послѣ чаю. Боже мой, Боже мой! узнать ее нельзя: краше въ гробъ кладутъ. Честью вамъ клянусь, не понимаю теперь, не понимаю рѣшительно, какъ я эту пытку выдержалъ. Три дня, три ночи еще проскрыпѣла моя больная.... и какія ночи! Чтò она мнѣ говорила!... А въ послѣднюю-то ночь, вообразите вы себѣ, — сижу я подлѣ нея и ужъ объ однѣхъ Бога прошу: прибери, дескать, ее поскорѣй и

и меня тутъ-же.... Вдругъ старушка мать —
 шастъ въ комнату.... Ужь я ей наканунѣ ска-
 залъ, матери-то, что мало, дескать, надежды,
 плохо, и священника не худо-бы. Больная, какъ
 увидѣла мать, и говоритъ: — ну вотъ, хорошо,
 что, пришла.... посмотри-ка на насъ, мы другъ
 друга любимъ, мы другъ другу слово дали. —
 „Что это она, докторъ, что она?“ Я помертвѣлъ.
 — Бредить-сь, говорю, жаръ.... А она-то: —
 „полно, полно, ты мнѣ сейчасъ совсѣмъ другое
 говорилъ, и кольцо отъ меня принялъ.... что
 притворяешься? Мать моя добрая, она проститъ,
 она пойметъ, а я умираю — мнѣ не къ чему
 лгать; дай мнѣ руку“.... Я вскочилъ и вонъ
 выбѣжалъ. Старушка, разумѣется, догадалась.

— Не стану я васъ однако долѣе томить, да
 и мнѣ самому, признаться, тяжело все это при-
 поминать. Моя больная на другой же день скон-
 чалась. Царство ей небесное! (прибавилъ лекаръ
 скороговоркой и со вздохомъ.) Передъ смертью
 попросила она своихъ выдти и меня наединѣ съ
 ней оставить. — „Простите меня“, говоритъ,
 „я, можетъ быть, виновата передъ вами.... бо-
 ль.... но, повѣрьте, я никого не любила бо-
 васъ.... не забывайте-же меня.... берегите
 кольцо“....

Лекарь отвернулся; я взялъ его за руку.

— Эхъ! сказали онъ, давайте-ка о чемъ-нибудь другомъ говорить, или не хотите-ли въ преферансикъ по маленькой? Нашему брату, знаете-ли, не слѣдъ такимъ возвышеннымъ чувствованіямъ предаваться. Нашъ братъ думай объ одномъ: какъ бы дѣти не пищали, да жена не бранилась. Вѣдь я съ тѣхъ поръ въ законный, какъ говорится, бракъ вступить успѣлъ.... Какъ-же.... Купеческую дочь взялъ: семь тысячъ приданаго. Зовутъ ее Акулиной; Трифону-то подѣлать. Баба, долженъ я вамъ сказать, злая, да благо спитъ цѣлый день... А что-жь преферансъ?

Мы сѣли въ преферансъ по копѣйкѣ. Трифонъ Иванычъ выигралъ у меня два рубля съ полтиной и ушелъ поздно весьма довольный своей побѣдой.

МОЙ СОСѢДЪ РАДИЛОВЪ.

.... Осенью вальдшнепы часто держатся въ старинныхъ липовыхъ садахъ. Такихъ садовъ у насъ въ Орловской губерніи довольно много. Прадѣды наши, при выборѣ мѣста для жительства, непременно отбивали десятины двѣ хорошей земли подъ фруктовый садъ съ липовыми аллеями. Лѣтъ черезъ пятьдесятъ, много семьдесятъ, эти усадьбы, „дворянскія гнѣзда“, по-немногу исчезали съ лица земли, дома сгнивали или продавались на свозъ, каменные службы превращались въ груды развалинъ, яблони вымирали и шли на дрова заборы и плетни истреблялись. Однѣ липы по прежнему росли себѣ на славу, и теперь, окруженные распаханными полями, гласятъ нашему вѣтреному племени о „де почившихъ отцахъ и братіяхъ“. Прекрасное дерево — такая старая липа.... Ее ща-

дить даже безжалостный топоръ русскаго мужика. Листъ на ней мелкій, могучіе сучья широко раскинулись во всѣ стороны, вѣчная тѣнь подъ ними.

Однажды, скитаясь съ Ермолаемъ по полямъ за куропатками, завидѣлъ я въ сторонѣ заброшенный садъ и отправился туда. Только-что я вошелъ въ опушку, вальдшнепъ со стукомъ поднялся изъ куста; — я выстрѣлилъ, и въ тоже мгновеніе, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, раздался крикъ: испуганное лицо молодой дѣвушки выглянуло изъ-за деревьевъ и тотчасъ скрылось. Ермолай подбѣжалъ ко мнѣ. „Что вы здѣсь стрѣляете: здѣсь живетъ помѣщикъ.“

Не успѣлъ я ему отвѣтить, не успѣла собака моя съ благородной важностью донести до меня убитую птицу, какъ послышались проворные шаги, и человекъ высокаго росту, съ усами, вышелъ изъ чащи и съ недовольнымъ видомъ остановился передо мной. Я извинился, какъ могъ, назвалъ себя и предложилъ ему птицу, застрѣленную въ его владѣніяхъ.

— Извольте, сказалъ онъ мнѣ съ улыбкой: — я пріиму вашу дичь, но только съ условіемъ вы у насъ останетесь обѣдать.

Признаться, я не очень обрадовался его предложенью, но отказаться было невозможно.

— Я здѣшній помѣщикъ и вашъ сосѣдъ, Радиловъ, можетъ, слышали, продолжалъ мой новый знакомый: — сегодня воскресенье, и обѣдъ у меня, должно быть, будетъ порядочный, а то-бы я васъ не пригласилъ.

Я отвѣчалъ, что отвѣчаютъ въ такихъ случаяхъ, и отправился вслѣдъ за нимъ. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела насъ изъ липовой рощи; мы вошли въ огородъ. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрѣли круглые, блѣдно-зеленые кочаны капусты; хмѣль винтами обвивалъ высокія тычинки; тѣсно торчали на грядахъ бурные прутья, перепутанные засохшимъ горохомъ; большія плоскія тыквы словно валялись на землѣ; огурцы желтѣли изъ подъ запыленныхъ, угловатыхъ листьевъ; вдоль плетня качалась высокая крапива; въ двухъ или трехъ мѣстахъ кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповникъ, — остатки прежнихъ „клумбъ“. Возлѣ небольшой сажалки, наполненной красноватой и зистой водой, виднѣлся колодезь, окруженный лужичками. Утки хлопотливо плескались и члѣли въ лужахъ; собака, дрожа всѣмъ

тѣломъ и жмуясь, грызла кость на полянѣ; пѣгая корова тутъ-же лѣниво щипала траву, изрѣдка закидывая хвостъ на худую спину. Дорожка повернула въ сторону; изъ-за толстыхъ ракитъ и березъ глянулъ на насъ старенькій, сѣрый домикъ съ тесовой крышей и кривымъ крылечкомъ. Радиловъ остановился.

— Впрочемъ, сказалъ онъ, добродушно и прямо посмотрѣвъ мнѣ въ лицо: — я теперь раздумалъ: можетъ быть, вамъ вовсе не хочется заходить ко мнѣ: въ такомъ случаѣ....

Я не далъ ему договорить и увѣрилъ его, что мнѣ, напротивъ, очень пріятно будетъ у него отобѣдать.

— Ну, какъ знаете.

Мы вошли въ домъ. Молодой малый, въ длинномъ кафтанѣ изъ синяго толстаго сукна, встрѣтилъ насъ на крыльцѣ. Радиловъ тотчасъ приказалъ ему поднести водки Ермолаю; мой охотникъ почтительно поклонился спинѣ великодушнаго дателя. Изъ передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завѣшенной клѣтками, вошли мы въ небольшую комнатку — кабинетъ Радилова. Я снялъ свои охотничьи доспѣхи, поставилъ ружье въ уголъ; малый въ длинномъ сюртукѣ хлопотливо обчистилъ меня.

— Ну, теперь пойдете въ гостиную, ласково проговорилъ Радиловъ: — я васъ познакомлю съ моей матушкой.

Я пошелъ за нимъ. Въ гостиной, на среднемъ диванѣ, сидѣла старушка небольшого роста, въ коричневомъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ, съ добренькимъ и худенькимъ лицомъ, робкимъ и печальнымъ взглядомъ.

— Вотъ, матушка, рекомендую; сосѣдь нашъ ***.

Старушка привстала и поклонилась мнѣ, не выпуская изъ сухощавыхъ рукъ толстаго гаруснаго ридикюля въ видѣ мѣшка.

— Давно вы пожаловали въ нашу сторону? спросила она слабымъ и тихимъ голосомъ, помаргивая глазами.

— Нѣтъ-съ, недавно.

— Долго намѣрены здѣсь остаться?

— Думаю, до зимы.

Старушка замолчала.

— А вотъ это, подхватилъ Радиловъ, указывая мнѣ на человѣка высокаго и худого котораго я при входѣ въ гостиную не замѣтилъ: —

Федоръ Михѣичъ.... Ну-ка, Федя, покажи искусство гостю. Что ты забился въ у-то?

Федоръ Михѣичъ тотчасъ поднялся со стула, досталъ съ окна дрянненькую скрипку, взялъ смычокъ — не за конецъ, какъ слѣдуетъ, а за середину, прислонилъ скрипку къ груди, закрылъ глаза и пустился въ плясъ, напѣвая пѣсенку и пиликая по струнамъ. Ему на видъ было лѣтъ семьдесятъ; длинный нанковый сюртукъ печально болтался на сухихъ и костлявыхъ его членахъ. Онъ плясалъ; то съ удалствомъ потряхивалъ, то, словно замирая, поводилъ маленькой лысой головкой, вытягивалъ жилистую шею, топоталъ ногами на мѣстѣ, иногда, съ замѣтнымъ трудомъ, сгибалъ колѣни. Его беззубый ротъ издавалъ дряхлый голосъ. Радиловъ, должно быть, догадался, по выраженію моего лица, что мнѣ „искусство“ Феди не доставляло большого удовольствія.

— Ну, хорошо, старина, полно, проговорилъ онъ: — можешь пойдти наградить себя.

Федоръ Михѣичъ тотчасъ положилъ скрипку на окно, поклонился сперва мнѣ, какъ гостю, потомъ старушкѣ, потомъ Радилову и вышелъ вонъ.

— Тоже былъ помѣщикъ, продолжалъ мнѣ новый пріятель: — и богатый, да раззорилъ — вотъ проживаетъ теперь у меня.... А

свое время считался первымъ по губерніи хватомъ; двухъ женъ отъ мужей увезъ, пѣсельниковъ держалъ, самъ пѣвалъ и плясалъ мастерски.... Но не прикажете-ли водки? вѣдь, ужь обѣдъ на столѣ.

Молодая дѣвушка, та самая, которую я мелькомъ видѣлъ въ саду, вошла въ комнату.

— А вотъ и Оля! замѣтилъ Радиловъ, слегка отвернувъ голову: — прошу любить и жаловать.... Ну, пойдемте обѣдать.

Мы отправились въ столовую, сѣли. Пока мы шли изъ гостиной и садились, Оедоръ Михѣичъ, у котораго отъ „награды“ глазки засіяли и носъ слегка покраснѣлъ, пѣлъ: „Громъ побѣды раздавайся“. Ему поставили особый приборъ въ углу на маленькомъ столикѣ безъ салфетки. Бѣдный старикъ не могъ похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ общества. Онъ перекрестился, вздохнулъ и началъ ѣсть, какъ акула. Обѣдъ былъ дѣйствительно недуренъ и, въ качествѣ воскреснаго, не обошелся безъ трепещущаго желе и испанскихъ вѣтровъ (пирож-). За столомъ Радиловъ, который лѣтъ де- служилъ въ армейскомъ пѣхотномъ полку Турцію ходилъ, пустился въ рассказы; я

слушалъ его со вниманіемъ и украдкой наблюдалъ за Ольгой. Она не очень была хороша собой; но рѣшительное и спокойное выраженіе ея лица, ея широкій, бѣлый лобъ, густые волосы и, въ особенности, каріе глаза, небольшіе, но умные, ясные и живые, поразили-бы и всякаго другаго на моемъ мѣстѣ. Она какъ-будто слѣдила за каждымъ словомъ Радилова; не участіе — страстное вниманіе изображалось на ея лицѣ. Радиловъ, по лѣтамъ, могъ бы быть ея отцомъ; онъ говорилъ ей: ты, но я тотчасъ догадался, что она не была его дочерью. Въ теченіи разговора онъ упомянулъ о своей покойной женѣ — „ея сестра“, прибавилъ онъ, указавъ на Ольгу. Она быстро покраснѣла и опустила глаза. Радиловъ помолчалъ и перемѣнилъ разговоръ. Старушка во весь обѣдъ не произнесла слова, сама почти ничего не ѣла и меня не подчивала. Ея черты дышали какимъ-то боязливымъ и безнадежнымъ ожиданьемъ, той старческой грустью, отъ которой такъ мучительно сжимается сердце зрителя. Къ концу обѣда Федоръ Михѣичъ началъ было „славить“ хозяевъ и гостя, но Радиловъ взглянулъ на меня и попросилъ его замолчать; старикъ провелъ рукой по губамъ, заморгавъ глазами, поклонился и присѣлъ опять, г

уже на самый край стула. Послѣ обѣда мы съ Радиловымъ отправились въ его кабинетъ.

Въ людяхъ, которыхъ сильно и постоянно занимаетъ одна мысль или одна страсть, замѣтно что-то общее, какое-то внѣшнее сходство въ обращеніи, какъ-бы ни были, впрочемъ, различны ихъ качества, способности, положеніе въ свѣтѣ и воспитаніе. Чѣмъ болѣе я наблюдалъ за Радиловымъ, тѣмъ болѣе мнѣ казалось, что онъ принадлежалъ къ числу такихъ людей. Онъ говорилъ о хозяйствѣ, объ урожаѣ, покосѣ, о войнѣ, уѣздныхъ сплетняхъ и близкихъ выборахъ, говорилъ безъ принужденія, даже съ участіемъ, но вдругъ вздыхалъ и опускался въ кресла, какъ человѣкъ, утомленный тяжелой работой, проводилъ рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута пасквозь, пресыщена однимъ чувствомъ. Меня уже поражало то, что я не могъ въ немъ открыть страсти ни къ ѣдѣ, ни къ вину, ни къ охотѣ, ни къ курскимъ соловьямъ, ни къ голубямъ, страдающимъ падучей болѣзнью, ни къ русской литературѣ, ни къ иноходцамъ, ни къ венгеркамъ, — къ карточной и билліардной игрѣ, ни къ овальнымъ вечерамъ, ни къ поѣздкамъ въ оныя и столичные города, ни къ бумажнымъ

фабрикамъ и свеклосахарнымъ заводамъ, ни къ раскрашеннымъ бесѣдкамъ, ни къ чаю, ни къ доведеннымъ до разврата пристяжнымъ, ни даже къ толстымъ кучерамъ, подпоясаннымъ подъ самыми мышками, къ тѣмъ великолѣпнымъ кучерамъ, у которыхъ, Богъ знаетъ почему, отъ каждаго движенія шеи глаза косятся и лѣзутъ вонъ.... „Что-жь это за помѣщикъ, наконецъ!“ думалъ я. А между тѣмъ онъ вовсе не прикидывался человѣкомъ мрачнымъ и своею судьбою недовольнымъ; напротивъ, отъ него такъ и вѣяло неразборчивымъ благоволеньемъ, радушьемъ и почти обидной готовностью сближенія съ каждымъ встрѣчнымъ и поперечнымъ. Правда, въ то же самое время чувствовали, что подружиться, дѣйствительно сблизиться онъ ни съ кѣмъ не могъ, и не могъ не оттого, что вообще не нуждался въ другихъ людяхъ, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь въ Радилова, я никакъ не могъ себѣ представить его счастливымъ ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцемъ онъ тоже не былъ; но въ его взорѣ, въ улыбкѣ, во всемъ его существѣ таилось что-то чрезвычайно привлекательное, именно таилось. Такъ, кажется, и хотѣлось узнать его получше, полюбить его. Конеч

въ немъ иногда высказывался помѣщикъ и степнякъ; но человѣкъ онъ все-таки былъ славный.

Мы начали было толковать съ нимъ о новомъ уѣздномъ предводителѣ, какъ вдругъ у двери раздался голосъ Ольги: „Чай готовъ“. Мы пошли въ гостиную. Федоръ Михѣичъ по прежнему сидѣлъ въ своемъ уголку, между окошкомъ и дверью, скромно подобравъ ноги. Мать Радилова вязала чулокъ. Сквозь открытыя окна изъ саду вѣяло осенней свѣжестью и запахомъ яблонецъ. Ольга хлопотливо разливала чай. Я съ большимъ вниманіемъ смотрѣлъ на нее теперь, чѣмъ за обѣдомъ. Она говорила очень мало, какъ вообще всѣ уѣздныя дѣвицы; но въ ней, по крайней мѣрѣ, я не замѣчалъ желанья сказать что нибудь хорошее, вмѣстѣ съ мучительнымъ чувствомъ пустоты и безсилія; она не вздыхала, словно отъ избытка неизъяснимыхъ ощущеній, не закатывала глазъ подъ лобъ, не улыбалась мечтательно и неопредѣленно. Она глядѣла спокойно и равнодушно, какъ человѣкъ, который отдыхаетъ отъ большого счастья или отъ большой тревоги. Ея походка, ея движенія были рѣшительны и свободны. Она мнѣ очень нравилась.

съ Радиловымъ опять разговорились. Я

уже не помню, какимъ путемъ мы дошли до извѣстнаго замѣчанья: какъ часто самыя ничтожныя вещи производятъ большее впечатлѣнье на людей, чѣмъ самыя важныя.

— Да, промолвилъ Радиловъ: — это я испыталь на себѣ. Я, вы знаете, былъ женатъ. Не долго.... три года; моя жена умерла отъ родовъ. Я думалъ, что не переживу ея; я былъ огорченъ страшно, убить, но плакать не могъ — ходилъ, словно шальной. Ее, какъ слѣдуетъ, одѣли, положили на столъ — вотъ въ этой комнатѣ. Пришелъ священникъ; дьячки пришли, стали пѣть, молиться, курить ладономъ; я клалъ земные поклоны и хотъ бы слезинку выронилъ. Сердце у меня словно окаменѣло и голова тоже, — и весь я отяжелѣлъ. Такъ прошелъ первый день. Вѣрите-ли? ночью я заснулъ даже. На другое утро вошелъ я къ женѣ, — дѣло было лѣтомъ, солнце освѣщало ее съ ногъ до головы, да такъ ярко, — вдругъ я увидѣлъ.... (Здѣсь Радиловъ невольно вздрогнулъ.) Чтò вы думаете? Глазъ у нея не совсѣмъ былъ закрытъ, и по этому глазу ходила муха.... Я повалился, какъ снопъ и какъ опомнился, сталъ плакать, плакать, унять себя не могъ....

Радиловъ замолчалъ. Я посмотрѣлъ на не

потомъ на Ольгу.... Въ вѣкъ мнѣ не забыть выраженія ея лица. Старушка положила чулокъ на колѣни, достала изъ ридикюля платокъ и украдкой утерла слезу. Ѳедоръ Михѣичъ вдругъ поднялся, схватилъ свою скрипку и хриплымъ и дикимъ голосомъ затянулъ пѣсенку. Онъ желалъ, вѣроятно, развеселить насъ; но мы всѣ вздрогнули отъ его перваго звука, и Радиловъ попросилъ его успокоиться.

— Впрочемъ, продолжалъ онъ: — что было, то было; прошлаго не воротить, да и наконецъ.... все къ лучшему въ здѣшнемъ мірѣ, какъ сказалъ, кажется, Вольтеръ, прибавилъ онъ послѣдно.

— Да, возразилъ я: — конечно. Притомъ, всякое несчастье можно перенести, и нѣтъ такого сквернаго положенія, изъ котораго нельзя было бы выйти.

— Вы думаете? замѣтилъ Радиловъ. — Что-жь, можетъ быть, вы правы. Я, помнится, въ Турціи лежалъ въ госпиталѣ, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помѣщеніемъ мы похвалиться не могли, — разумѣется, дѣло лное, — и то еще слава Богу! Вдругъ къ намъ еще приводятъ больныхъ, — куда ихъ жить? Лекаръ туда, сюда, — нѣтъ мѣста.

Вотъ подошелъ онъ ко мнѣ, спрашиваетъ фельдшера : „живъ?“ Тотъ отвѣчаетъ: „утромъ былъ живъ“. Лекаръ нагнулся, слышитъ: дышу. Не вытерпѣлъ пріятель. „Вѣдь, экая натура-то дура“, говоритъ: — „вѣдь, вотъ умереть человѣкъ, вѣдь непременно умереть, а все скрипитъ, тянетъ, только мѣсто занимаетъ да другимъ мѣшаетъ“. Ну, подумалъ я про себя, плохо тебѣ, Михайло Михайлычъ.... А вотъ выздоровѣлъ и живъ до сихъ поръ, какъ изволите видѣть. Стало быть, вы правы.

— Во всякомъ случаѣ я правъ, отвѣчалъ я: — еслибъ вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы изъ вашего сквернаго положенія.

— Разумѣется, разумѣется, прибавилъ онъ, сильно ударивъ рукою по столу.... Стоитъ только рѣшиться.... Чтò толку въ скверномъ положеніи?... Къ чему медлить, тянуть....

Ольга быстро встала и вышла въ садъ.

— Ну-ка, Одея, плясовую! восклинулъ Радиковъ.

Одея вскочилъ, пошелъ по комнатѣ той щеголеватой, особенной поступью, какою выступаетъ извѣстная „коза“ около ручнаго медвѣды и заплѣлъ: „Какъ у нашихъ у воротъ“....

У подъѣзда раздался стукъ бѣговыхъ дро

жекъ, и черезъ нѣсколько мгновеній вошелъ въ комнату старикъ высокаго росту, довольно плотный, однодворецъ Овсяниковъ.... Но Овсяниковъ такое замѣчательное и оригинальное лицо, что мы, съ позволенія читателя, поговоримъ о немъ въ другомъ отрывкѣ. А теперь я отъ себя прибавлю только то, что на другой-же день мы съ Ермолаемъ чѣмъ-свѣтъ отправились на охоту, а съ охоты домой, — что черезъ недѣлю я опять зашелъ къ Радилову, но не засталъ ни его, ни Ольги дома, а черезъ двѣ недѣли узналъ, что онъ внезапно исчезъ, бросилъ мать, уѣхалъ куда-то съ своей заловкой. Вся губернія взволновалась и заговорила объ этомъ происшествіи, и я только тогда окончательно понялъ выраженіе Ольгина лица во время разсказа Радилова. Не однимъ состраданіемъ дышало оно тогда: оно пылало также ревностью.

Передъ моимъ отъѣздомъ изъ деревни я посѣтилъ старушку Радилову. Я нашелъ ее въ гостинной; она играла съ Ѳедоромъ Михѣичемъ въ дурачки.

Имѣете вы извѣстіе отъ вашего сына? спросилъ я ее, наконецъ.

Старушка заплакала. Я уже болѣе не разшивалъ ее о Радиловѣ.

ОДНОДВОРЕЦЪ ОВСЯНИКОВЪ.

Представьте себѣ, любезные читатели, человека полного, высокаго, лѣтъ семидесяти, съ лицомъ, напоминающимъ нѣсколько лицо Крылова, съ яснымъ и умнымъ взоромъ подъ нависшей бровью, съ важной осанкой, мѣрной рѣчью, медлительной походкой : вотъ вамъ Овсяниковъ. Носилъ онъ просторный синій сюртукъ съ длинными рукавами, застегнутый до верху, шолковый лиловый платокъ на шеѣ, ярко вычищенные сапоги съ кистями, и вообще съ виду походилъ на зажиточнаго купца. Руки у него были прекрасныя, мягкія и бѣлыя; онъ часто въ теченіи разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяниковъ своею важностью и неподвижностью, смышленостью и лѣнью, своимъ прямодушіемъ и упорствомъ напоминалъ мнѣ русскихъ бояръ до-петровскихъ временъ.... Фриязь-бы къ нему пристала. Это былъ одинъ и:

послѣднихъ людей стараго вѣка. Всѣ сосѣди
 его чрезвычайно уважали и почитали за честь
 знаться съ нимъ. Его братья, однодворцы,
 только-что не молились на него, шапки передъ
 нимъ издали ломали, гордились имъ. Говоря
 вообще, у насъ до сихъ поръ однодворца трудно
 отличить отъ мужика: хозяйство у него едва-ли
 не хуже мужицкаго, телята не выходятъ изъ
 гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная.
 Овсяниковъ былъ исключеніемъ изъ общаго пра-
 вила, хоть и не слылъ за богача. Жилъ онъ
 одинъ съ своей женой въ уютномъ, опрятномъ
 домикѣ, прислугу держалъ онъ небольшую, одѣ-
 валь людей своихъ по-русски и называлъ работ-
 никами. Они же у него и землю пахали. Онъ
 и себя не выдавалъ за дворянина, не прикиды-
 вался помѣщикомъ, никогда, какъ говорится,
 „не забывался“, не по первому приглашенію са-
 дился и при входѣ новаго гостя непременно
 поднимался съ мѣста, но съ такимъ достоин-
 ствомъ, съ такой величавой привѣтливостью, что
 гость невольно ему кланялся пониже. Овсяниковъ
 придерживался старинныхъ обычаевъ не изъ
 вѣрія (душа въ немъ была довольно свобод-
 ь), а по привычкѣ. Онъ, напримѣръ, не лю-
 билъ рессорныхъ экипажей, потому что не нахо-

дилъ ихъ покойными, и разѣзжалъ либо въ бѣговыхъ дрожкахъ, либо въ небольшой красивой телѣжкѣ съ кожаной подушкой, и самъ правилъ своимъ добрымъ гнѣдымъ рысакомъ. (Онъ держалъ однѣхъ гнѣдыхъ лошадей.) Кучеръ, молодой краснощекій парень, остриженный въ скобку, въ синеватомъ армякѣ и низкой бараньей шапкѣ, подпоясанный ремнемъ, почтительно сидѣлъ съ нимъ рядомъ. Овсяниковъ всегда спалъ послѣ обѣда, ходилъ въ баню по субботамъ, читалъ однѣ духовныя книги (при чемъ съ важною надѣвалъ на носъ круглыя серебряныя очки), вставалъ и ложился рано. Бороду, однако же, онъ брилъ и волосы носилъ по-нѣмецки. Гостей онъ принималъ весьма ласково и радушно, но не кланялся имъ въ поясъ, не суетился, не подчивалъ ихъ всякимъ сушенъемъ и соленъемъ. „Жена!“ говорилъ онъ медленно, не вставая съ мѣста и слегка повернувъ къ ней голову: — „принеси господамъ чего-нибудь полакомиться“. Онъ почиталъ за грѣхъ продавать хлѣбъ — Божій даръ, и въ 40-мъ году, во время общаго голода и страшной дороговизны, раздалъ окрестнымъ помѣщикамъ и мужикамъ весь свой запасъ; они ему на слѣдующій годъ съ благодарностью внесли свой долгъ натурой. Къ Овся-

никову часто прибѣгали сосѣди съ просьбой разсудить, помирить ихъ и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совѣта. Многие, по его милости, окончательно размежевались.... Но послѣ двухъ или трехъ спибокъ съ помѣщиками, онъ объявилъ, что отказывается отъ всякаго посредничества между особами женскаго пола. Терпѣть онъ не могъ поспѣшности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и „суеты“. Разъ какъ-то у него домъ загорѣлся. Работники въ попыхахъ вбѣжали къ нему съ крикомъ: „пожаръ! пожаръ!“ — „Ну, чего-же ты кричишь?“ спокойно сказалъ Овсяниковъ: — „подай мнѣ шапку и костыль“.... Онъ самъ любилъ выѣзжать лошадей. Однажды рыяный битюкъ*) началъ его подъ гору къ оврагу. „Ну, полно, полно, жеребеночъ малолѣтній, — убьешься“, добродушно замѣчалъ ему Овсяниковъ и, черезъ мгновенье, полетѣлъ въ оврагъ вмѣстѣ съ бѣговыми дрожками, мальчиномъ, сидѣвшимъ сзади, и лошадей. Къ счастью на днѣ оврага грудами лежалъ песокъ. Никто не ушибся, одинъ битюкъ выви-

*) Битюками или съ битюка называются особенной ды лошади, которыя развелись въ Воронежской губернии, около извѣстнаго „Хрѣноваго“ (бывшаго кошаго) гр. Орловой.)

хнулъ себѣ ногу. — „Ну, вотъ, видишь“, продолжалъ спокойнымъ голосомъ Овсяниковъ, поднимаясь съ земли: — „я тебѣ говорилъ“. И жену онъ сыскалъ по себѣ. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокаго роста, важная и молчаливая, вѣчно повязанная коричневымъ шелковымъ платкомъ. Отъ нея вѣяло холодомъ, хотя не только никто не жаловался на ея строгость, но, напротивъ, многіе бѣдняки называли ее матушкой и благодѣтельницей. Правильныя черты лица, большіе темные глаза, тонкія губы и теперь еще свидѣтельствовали о нѣкогда-знаменитой ея красотѣ. Дѣтей у Овсяникова не было.

Я съ нимъ познакомился, какъ уже извѣстно читателю, у Радилова и дня черезъ два поѣхалъ къ нему. Я засталъ его дома. Онъ сидѣлъ въ большихъ кожаныхъ креслахъ и читалъ Четьи-Минеи. Сѣрая кошка мурлыкала у него на плечѣ. Онъ меня принялъ, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились въ разговоръ.

— А скажите-ка, Лука Петровичъ, правду, сказалъ я между прочимъ: — вѣдь прежде, въ ваше-то время, лучше было?

— Иное точно лучше было, скажу вамъ, вразилъ Овсяниковъ: — спокойнѣе мы жили; и

вольства больше было, точно.... А все-таки теперь лучше; а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, Богъ дастъ.

— А я такъ ожидалъ, Лука Петровичъ, что вы мнѣ старое время хвалить станете.

— Нѣтъ, стараго времени мнѣ особенно хвалить не изъ чего. Вотъ хоть бы, примѣромъ сказать, вы помѣщикъ теперь, такой-же помѣщикъ какъ вашъ покойный дѣдушка, а ужъ власти вамъ такой не будетъ; да и вы сами не такой человѣкъ. Насъ и теперь другіе господа притѣсняють; но безъ этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется — авось, мука будетъ. Нѣтъ, ужъ я теперь не увижу, чего въ молодости насмотрѣлся.

— А чего бы, напримѣръ?

— А хоть бы, напримѣръ, опять таки скажу про вашего дѣдушку. Властный былъ человѣкъ! обижалъ нашего брата. Вѣдь вотъ вы, можетъ, знаете, — да какъ вамъ своей земли не знать, — клинъ-то, что идетъ отъ Чапыгина къ Малинину?... Онъ у васъ подъ овсомъ теперь.... Ну, вѣдь онъ нашъ, — весь, какъ есть, нашъ. Вашъ дѣдушка у насъ его отнялъ; выѣхалъ верхомъ, взялъ рукой, говорить: мое владѣнье, — и уѣхалъ. Отецъ-то мой, покойникъ (царство

ему небесное!), человекъ былъ справедливый, горячій былъ тоже человекъ, не вытерпѣлъ, — да и кому охота свое доброе терять? — и въ судъ просьбу подалъ. Да одинъ подалъ, другіе-то не пошли, — побоялись. Вотъ вашему дѣдушкѣ и донесли, что Петръ Овсяниковъ, молъ, на васъ жалуется: землю, вишь, отнять изволили.... Дѣдушка вашъ къ намъ тотчасъ и прислалъ своего ловчаго Бауша съ командой.... Вотъ и взяли моего отца, и въ вашу вотчину повели. Я тогда былъ мальчишка маленькій, босикомъ за ними побѣжалъ. Чтожь?... Привели его къ вашему дому да подъ окнами и высѣкли. А вашъ-то дѣдушка стоитъ на балконѣ да посматриваетъ; а бабушка подъ окномъ сидитъ и тоже глядитъ. Отецъ мой кричитъ: „матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!“ А она только знай приподнимается да поглядываетъ. Вотъ и взяли съ отца слово отступить отъ земли и благодарить еще велѣли, что живаго отпустили. Такъ она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своихъ мужиковъ: какъ, молъ, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьемъ отнятъ. Такъ вотъ отъ этого и нельзя намъ, маленькимъ людямъ, очень-то жалѣть о старыхъ порядкахъ

Я не зналъ, что отвѣчать Овсяникову, и не смѣлъ взглянуть ему въ лицо.

— А то другой сосѣдь у насъ въ тѣ поры завелся, — Комовъ, Степанъ Ниетополіоничъ. Замучилъ было отца совсѣмъ: не мытьемъ, такъ катаньемъ. Пьяный былъ человѣкъ и любилъ угощать, и какъ подошьетъ да скажетъ по-французски: „се бонъ“, да облизнется — хоть святыхъ вонъ носи! По всѣмъ сосѣдямъ шлетъ просить пожаловать. Тройки такъ у него наготовѣ и стояли; а не поѣдешь, — тотчасъ самъ нагрянетъ.... И такой странный былъ человѣкъ! Въ „тверезомъ“ видѣ не лгалъ; а какъ выпьетъ — и начнетъ рассказывать, что у него въ Питерѣ три дома на Фонтанкѣ: одинъ красный съ одной трубой, другой желтый съ двумя трубами, а третій синій безъ трубъ, — и три сына (а онъ и женатъ-то не бывалъ): одинъ въ инфантеріи, другой въ кавалеріи, третій самъ по себѣ.... И говоритъ, что въ каждомъ домѣ живетъ у него по сыну, что къ старшему ѣздятъ адмиралы, ко второму генералы, а къ младшему все англичане. Вотъ и поднимется и говоритъ: „за здравіе моего старшаго сына, онъ у меня самый почтенный!“ — и заплачетъ. И бѣда, коли кто зываться станетъ. „Застрѣлю!“ говоритъ:

— „и хоронить не позволю!“... А то вскочить и закричить: „пляши, народъ Божій, на свою потѣху и мое утѣшеніе!“ Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Дѣвокъ своихъ крѣпостныхъ вовсе замучилъ. Бывало, всю ночь, какъ есть, до утра хоромъ поютъ, и какая выше голосомъ забираетъ, той и награда. А станутъ уставать, — голову на руки положить и загорюетъ: „охъ, сирота я сиротливая! покидаютъ меня, голубчика!“ Конюха тотчасъ дѣвокъ и приободрятъ. Отецъ-то мой ему и полюбись; что прикажешь дѣлать? Вѣдь чуть въ гробъ отца моего не вогналъ, и точно вогналъ-бы, да самъ, спасибо, умеръ: съ голубятни въ пьяномъ видѣ свалился.... Такъ вотъ какіе у насъ сосѣдушки бывали!

— Какъ времена-то измѣнились! замѣтилъ я.

— Да, да, подтвердилъ Овсяниковъ.... Ну и то сказать: въ старые-то годы дворяне жили пышнѣе. Ужъ нечего и говорить про вельможъ; я въ Москвѣ на нихъ насмотрѣлся. Говорятъ, они и тамъ перевелись теперь.

— Вы были въ Москвѣ?

— Былъ, давно, очень давно. Мнѣ вотъ теперь семьдесятъ третій годъ пошелъ, а Москву я ѣздилъ на шестнадцатомъ году.

Овсяниковъ вздохнулъ.

— Кого-жъ вы тамъ видѣли?

— А многихъ вельможъ видѣлъ, — и всякъ ихъ видѣлъ; жили отерыто, на славу и удивленіе. Только до покойнаго графа Алексѣя Григорьевича Орлова-Чесменскаго не доходилъ ни одинъ. Алексѣя-то Григорьевича я видалъ часто; дядя мой у него дворецкимъ служилъ. Изволилъ графъ жить у Калужскихъ воротъ, на Шаболовкѣ. Вотъ былъ вольможа! Такой осанки, такого привѣта милостиваго вообразить невозможно и рассказать нельзя. Ростъ одинъ чего стоилъ, сила, взглядъ! Пока не знаешь его, не войдешь къ нему — боишься точно, робѣешь; а войдешь — словно солнышко тебя пригрѣетъ, и весь повеселѣешь. Каждаго человека до своей особы допускалъ, и до всего охотникъ былъ. На бѣгу самъ правилъ и со всякимъ гонялся; и никогда не обгонитъ сразу, не обидитъ, не оборветъ, а развѣ подъ самый конецъ переѣдетъ; и такой ласковый, — противника утѣшитъ, коня его похвалитъ. Голубей-турмановъ держалъ первѣйшаго сорта. Выдетъ, бывало, на дворъ, сядетъ въ кресла и прикажетъ голубковъ поднять; а кругомъ, на крышахъ, люди съ ружьями противъ ястребовъ. Къ ногѣ графа большой серебряный тазъ поставятъ водой; онъ и смотреть въ воду на голубковъ.

Убогіе, нищіе сотнями на его хлѣбѣ живали.... и сколько денегъ онъ передавалъ! А разсердится, — словно громъ прогремитъ. Страху много, а плакаться не на что: смотришь, — ужъ и улыбается. Пиръ задастъ — Москву спойтъ!... И вѣдь умница былъ какой! вѣдь, Турку-то онъ побилъ. Бороться тоже любилъ; силачей къ нему изъ Тулы возили, изъ Харькова, изъ Тамбова, отовсюду. Кого побореть — наградить; а коли кто его побореть — задарить вовсе и въ губы поцалуетъ.... А то въ бытность мою въ Москвѣ, затѣялъ садку такую, какой на Руси не бывало: всѣхъ, какъ есть, охотниковъ со всего царства къ себѣ въ гости пригласилъ и день назначилъ, и три мѣсяца сроку далъ. Вотъ и собрались. Навезли собакъ, егерей, — ну, войско наѣхало, какъ есть, войско! Сперва попиrowали, какъ слѣдуетъ, а тамъ и отправились за заставу. Народу сбѣжалось тьма-тьмушая!... И что вы думаете?... Вѣдь вашего дѣдушки собака всѣхъ обскакала.

— Не Миловидка-ли? спросилъ я.

— Миловидка, Миловидка.... Вотъ, графъ его и началъ упрашивать: „продай мнѣ, дескать, твою собаку: возьми, что хочешь“. — „Нѣтъ графъ“, говоритъ, „я не купецъ: тряпицы нежной не продамъ, а изъ чести хоть жену готовъ

уступить, только не Миловидку.... Скорѣ себя самаго въ полонъ отдамъ“. И Алексѣй Григорьевичъ его похвалилъ: „люблю“, говоритъ. Дѣдушка-то вашъ ее назадъ въ каретѣ повезъ; а какъ умерла Миловидка, съ музыкой въ саду ее похоронилъ — псицу похоронилъ и камень съ надписью надъ псицей поставилъ.

— Вѣдь, вотъ Алексѣй Григорьевичъ не обижалъ-же никого, замѣтилъ я.

— Да оно всегда такъ бываетъ: кто самъ мелко плаваетъ, тотъ и задираетъ.

— А что за человѣкъ былъ этотъ Баушъ? спросилъ я послѣ нѣкотораго молчанія.

— Какъ-же это вы про Миловидку слышали, а про Бауша нѣтъ?... Это былъ главный ловчій и доѣзжачій вашего дѣдушки. Дѣдушка-то вашъ его любилъ не меньше Миловидки. Отчаянный былъ человѣкъ, и что бы вашъ дѣдушка ни приказалъ — мигомъ исполнить, хоть на ножъ полѣзетъ.... И какъ порскалъ! — такъ стонъ въ лѣсу, бывало, и стоитъ. А то вдругъ заупрямится, слѣзетъ съ коня и ляжетъ.... И какъ только перестали собачьи слышать его голосъ — кончено! Горячій и дѣду бросать, не погонять ни за какія блага. вашъ дѣдушка разсердится. „Живъ быть не у, коли не повѣшу бездѣльника! На изнанку псовски охотника. I.

антихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло протащу!“ А кончится тѣмъ, что пошлетъ узнать, чего ему надобно, отчего не порскаетъ? И Баушъ въ такихъ случаяхъ обыкновенно потребуетъ вина, выпьетъ, поднимется и загогочетъ опять на славу.

— Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петровичъ?

— Любилъ-бы.... точно, — не теперь: теперь моя пора прошла, — а въ молодыхъ годахъ.... да знаете, не ловко, по причинѣ званія. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно, и изъ нашего сословія иной, пьющій и неспособный, бывало присосѣдится къ господамъ.... да что за радость!... Только себя срамить. Дадутъ ему лошадь дрянную, спотыкливую; то и дѣло шапку съ него на земь бросаютъ; арапникомъ, будто по лошади, по немъ задѣваютъ; а онъ все смѣйся, да другихъ смѣши. Нѣтъ, скажу вамъ: чѣмъ мельче званіе тѣмъ строже себя держи, а то какъ разъ себя замараешь.

— Да, продолжалъ Овсяниковъ со вздохомъ: — много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ я на свѣтѣ живу: времена подошли другія. Особенно въ дворянахъ вижу я перемену большую. Мелкопомѣстные — всѣ либо на службѣ побывали,

либо на мѣстѣ не сидятъ; а что покрупнѣй — тѣхъ и узнать нельзя. Насмотрѣлся я на нихъ, на крупныхъ-то, вотъ по случаю размежеванія. И долженъ я вамъ сказать: сердце радуется, на нихъ глядя: обходительны, вѣжливы. Только вотъ что мнѣ удивительно: всѣмъ наукамъ они научились, говорятъ такъ складно, что душа умиляется, а дѣла-то настоящаго не смыслятъ, даже собственной пользы не чувствуютъ: ихъ-же крѣпостной человѣкъ, прикащикъ, гнетъ ихъ куда хочетъ, словно дугу. Вѣдь, вотъ вы, можете, знаете Королева, Александра Владиміровича, — чѣмъ не дворянинъ? Собою красавецъ, богатъ, въ ниверситетахъ обучался, кажись, и заграницей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всѣмъ намъ руки жметъ. Знаете?... ну, такъ слушайте. На прошлой недѣлѣ съѣхались мы съ Березовку, по приглашенію посредника, Никифора Ильича. И говоритъ намъ посредникъ, Никифоръ Ильичъ: „надо, господа, размежеваться; это срамъ, нашъ участокъ ото всѣхъ другихъ отсталъ: приступимте къ дѣлу“. Вотъ и приступимъ. Пошли толки, споры, какъ водится; по-
 вѣнный нашъ ломаться сталъ. Но первый замянулъ Овчинниковъ Порфирій.... И изъ чего б чить человѣкъ?... У самого вершка земли

нѣту: по порученію брата распоряжается. Кричитъ: нѣтъ! меня вамъ не провести! нѣтъ, не на того наткнулись! планы сюда! землемѣрамъ подайте сюда!“ — „Да какое, наконецъ, ваше требованіе?“ — „Вотъ дурака нашли! эка? вы думаете: я вамъ такъ-таки сейчасъ мое требованіе и объявлю?... нѣтъ, вы планы сюда подайте, — вотъ что!“ А самъ рукой стучитъ по планамъ. Марѳеу Дмитревну обидѣлъ кровно. Та кричитъ: „какъ вы смѣете мою репутацію позорить?“ — „Я“, говоритъ, „вашей репутаціи моей бурой кобылѣ не желаю“. Насилу мадерой отпоили. Его успокоили, — другіе забунтовали. Король-то Александръ Владимірычъ сидитъ, мой голубчикъ, въ углу, набалдашникъ на пальцѣ покусываетъ, да только головой качаетъ. Совѣстно мнѣ стало, мочи нѣтъ, хоть вонъ бѣжать. Что, молъ, объ насъ подумаетъ человѣкъ? Глядь, поднялся мой Александръ Владимірычъ, показываетъ видъ, что говорить желаетъ. Посредникъ засуетился, говорить: „господа, господа, Александръ Владимірычъ говорить желаетъ“. И нельзя не похвалить дворянъ: всѣ тотчасъ замолчали. Вотъ и началъ Александръ Владимірычъ и говорить: что мы, дескать, кажется забыли, для чего мы собрались, что хотя рѣ

межеваніе, безспорно, выгодно для владѣльцевъ, но въ сущности оно введено для чего? — для того, чтобъ крестьянину было легче, чтобъ ему работать сподручнѣе было, повинности справлять; а то теперь онъ самъ своей земли не знаетъ и не рѣдко за пять верстъ пахать ѣдетъ, — и взыскать съ него нельзя. Потомъ сказалъ Александръ Владимірычъ, что помѣщику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ, что наконецъ, если здраво разсудить, ихъ выгоды и наши выгоды — все едино: имъ хорошо — намъ хорошо, имъ худо — намъ худо.... и что, слѣдовательно, грѣшно и неразумительно не соглашаться изъ пустяковъ.... И пошелъ, и пошелъ.... да, вѣдь, какъ говорилъ! за душу такъ и забираетъ.... Дворяне-то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, въ старинныхъ книгахъ такихъ рѣчей не бываетъ.... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ моховаго болота не уступилъ и продать не захотѣлъ. Говорить: я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на немъ заведу, съ усовершенствованіями. Я, говорить, въ это мѣсто выбралъ: у меня на этотъ счетъ мои соображенія.... И хоть бы это было справедливо, а то просто, — сосѣдъ Александра

Владимірыча, Карасиковъ Антонъ, поскупился Королевскому прикащику сто рублей ассигнаціями взнести. Такъ мы и разѣхались, не сдѣлавши дѣла. А Александръ Владимірычъ по сихъ поръ себя правымъ почитаетъ, и все о суконной фабрикѣ толкуетъ, только къ осушкѣ болота не приступаетъ.

— А какъ онъ въ своемъ имѣньи распоряжается?

— Все новые порядки вводитъ. Мужики не хвалятъ, — да ихъ слушать нечего. Хорошо поступаетъ Александръ Владимірычъ.

— Какъ-же это, Лука Петровичъ? Я думалъ, что вы придерживаетесь старины?

— Я, другое дѣло. Я вѣдь не дворянинъ и не помѣщикъ. Чтò мое за хозяйство?... Да я иначе и не умѣю. Стараюсь поступать по справедливости и по закону, — и то, слава Богу! Молодые господа прежнихъ порядковъ не любятъ: я ихъ хвалю.... Пора за умъ взяться. Только вотъ чтò горе: молодые господа больно мудрятъ. Съ мужикомъ, какъ съ куклой, поступаютъ: повертятъ, повертятъ, поломають да и бросятъ. И прикащикъ, крѣпостной человѣкъ, или управитель изъ нѣмецкихъ уроженцевъ, опять крестьянина въ лапы заберетъ. И хотя-бы одинъ

изъ молодыхъ-то господъ примѣръ подалъ, показаль, вотъ, молъ, какъ надо распоряжаться!... Чѣмъ-же это кончится? Неужто-жь я такъ и умру и новыхъ порядковъ не увижу?... Чтò за притча? — старое вымерло, а молодое не нарождается!

Я не зналъ, чтò отвѣчать Овсяникову. Онъ оглянулся, придвинулся ко мнѣ поближе и продолжалъ вполголоса:

— А слышали про Василья Николаича Любозвонова?

— Нѣтъ, не слыхаль.

— Растолкуйте мнѣ, пожалуйста, чтò за чудеса такія? Ума не приложу. Его-же мужики рассказывали, да я ихъ рѣчей въ толкъ не возьму. Человѣкъ онъ, вы знаете, молодой, недавно послѣ матери наслѣдство получилъ. Вотъ пріѣзжаетъ къ себѣ въ вотчину. Собрались мужички поглазѣть на своего барина. Вышелъ къ нимъ Василій Николаичъ. Смотрятъ мужики, — чтò за диво? — ходитъ баринъ въ плисовыхъ панталонахъ, словно кучеръ, а сапожки обулъ съ отпорочкой; рубаху красную надѣлъ и кафтанъ тоже ерской; бороду отпустилъ, а на головѣ така юнька мудреная, и лицо такое мудренное, — нѣ, не пьянъ, а и не въ своемъ умѣ. „Здо-

рово“, говоритъ, „ребята! Богъ вамъ помощь“. Мужики ему въ поясъ, — только молча: заробѣли, знаете. И онъ словно самъ робѣетъ. Сталь онъ имъ рѣчь держать: „я-де русскій“, говоритъ, „и вы русскіе; я русское все люблю.... русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская“.... Да вдругъ какъ скомандуетъ: „а ну, дѣтки, спойте-ка русскую, народственную пѣсню!“ У мужиковъ поджилки затряслись; вовсе одурѣли. Одинъ было смѣльчакъ запѣлъ, да и присѣлъ тотчасъ къ землѣ, за другихъ спрятался.... И вотъ чему удивляться надо: бывали у насъ и такіе помѣщики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одѣвались, почитай, что кучерами и сами плясали, на гитарѣ играли, пѣли, пили съ дворовыми людишками, съ крестьянами пировали; а вѣдь этотъ-то, Василій-то Николаичъ, словно красная дѣвушка: все книги читаетъ, али пишетъ, а не то вслухъ канты произносить, — ни съ кѣмъ не разговариваетъ, дичится, знаетъ себѣ по саду гуляетъ, словно скучаетъ или груститъ. Прежній-то прикащикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился: передъ прїѣздомъ Василія Николаича дворы крестьянскіе обѣгалъ всѣмъ кланялся, — видно чуяла кошка, чѣмъ мясо съѣла! И мужики надѣялись, думали: „ша

лишь, братъ! — ужò тебя къ отвѣту потянуть, голубчика; вотъ ты ужò напляшешься, жила ты эдакой!“... А вмѣсто того вышло — какъ вамъ доложить? — самъ Господь не разберетъ, что такое вышло! Позвалъ его къ себѣ Василій Николаичъ и говоритъ, а самъ краснѣетъ, и такъ, знаете, дышетъ скоро: „будь справедливъ у меня, не притѣсняй никого, — слышишь?“ — Да съ тѣхъ поръ его къ своей особѣ и не требовалъ! Въ собственной вотчинѣ живетъ, словно чужой. Ну, прикащикъ и отдохнулъ, а мужики къ Василью Николаичу подступиться не смѣютъ: боятся. И, вѣдь, вотъ опять, что удивленія достойно: и кланяется имъ баринъ, и смотритъ привѣтливо, — а животы у нихъ отъ страху такъ и подводитъ. Что за чудеса такія, батюшка, скажите?... Или я глупъ сталъ, состарѣлся, что-ли, — не понимаю.

Я отвѣчалъ Овсяникову, что, вѣроятно, господинъ Любозвоновъ болѣнъ.

— Какое болѣнъ! Поперегъ себя толще, и лицо такое, Богъ съ нимъ, окладистое, даромъ, что молодъ.... А, впрочемъ, Господь вѣдаетъ! (И Овсяниковъ глубоко вздохнулъ.)

— Ну, въ сторону дворянъ, началъ я: — что вы мнѣ объ однодворцахъ скажете, Лука Петровичъ?

— Нѣтъ, ужь вотъ отъ этого увольте, поспѣшно проговорилъ онъ: — право.... и сказалъ бы вамъ.... да что! (Овсяниковъ рукой махнулъ.) Станемте лучше чай кушать.... Мужики, какъ есть, мужики; а впрочемъ, правду сказать, какъ-же и быть-то намъ?

Онъ замолчалъ. Подали чай. Татьяна Ильинична встала съ своего мѣста и сѣла поближе къ намъ. Въ теченіи вечера она нѣсколько разъ безъ шума выходила и также тихо возвращалась. Въ комнатѣ воцарилось молчаніе. Овсяниковъ важно и медленно выпивалъ чашку за чашкой.

— Митя былъ сегодня у насъ, вполголоса замѣтила Татьяна Ильинична.

Овсяниковъ нахмурился.

— Чего ему надобно?

— Приходилъ прощенья просить.

Овсяниковъ покачалъ головою.

— Ну, подите вы, продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — что прикажете дѣлать съ сродственниками? И отказаться отъ нихъ невозможно.... Вотъ и меня тоже Богъ наградилъ племянничкомъ. Малый онъ съ головой, бойкій малый, спору нѣтъ; учился хорошо, только проку мнѣ отъ него не дожидаться. На службѣ казенной состоялъ — бросилъ службу: вишь, ему ходу не

было.... Да развѣ онъ дворянинъ? И дворянъ-то не сейчасъ въ генералы жалуютъ. Вотъ теперь и живетъ безъ дѣла.... Да это-бы еще куда ни шло, — а то въ ябедники пустился! Крестьянамъ просьбы сочиняетъ, доклады пишетъ, сотскихъ научаешь, землемѣровъ на чистую воду выводитъ, по питейнымъ домамъ таскается, съ мѣщанами городскими да съ дворниками на постоянныхъ дворахъ знаетъ. Долго-ли тутъ до бѣды? Ужъ и становые и исправники ему не разъ грозились. Да онъ, благо, балагурить умѣетъ: ихъ-же расмѣшитъ, да имъ-же потомъ и наварить кашу.... Да полно, не сидитъ-ли онъ у тебя въ коморкѣ? прибавилъ онъ, обращаясь къ женѣ: — я, вѣдь, тебя знаю: ты, вѣдь, сердобольная такая, — покровительство ему оказываешь.

Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснѣла.

— Ну, такъ и есть, продолжалъ Овсяниковъ.... Охъ ты баловница! Ну, вели ему войдти, — ужъ такъ и быть, ради дорогаго гостя, прошу глупца.... Ну, вели, вели....

Татьяна Ильинична подошла къ двери и пеньюла: „Митя!“

Митя, малый лѣтъ двадцати восьми, высокій, ройный и кудрявый, вошелъ въ комнату и,

увидѣвъ меня, остановился у порога. Одежда на немъ была нѣмецкая, но одни неестественной величины буфы на плечахъ служили явнымъ доказательствомъ тому, что кроилъ ее не только русскій — россійскій портной.

— Ну, подойди, подойди, заговорилъ старикъ : — чего стыдишься ? Благодари тетьку : прощень ... Вотъ, батюшка, рекомендую, продолжалъ онъ, показывая на Митю : родной племянникъ, а не слажу никакъ. Пришли послѣднія времена ! (Мы другъ другу поклонились.) Ну, говори, что ты тамъ такое напуталъ ? За что на тебя жалуются, сказывай.

Митѣ видимо не хотѣлось объясняться и оправдываться при мнѣ.

— Послѣ, дядюшка, пробормоталъ онъ.

— Нѣтъ, не послѣ, а теперь, продолжалъ старикъ Тебѣ, я знаю, при господинѣ помѣщикѣ совѣстно : тѣмъ лучше казись. Изволь, изволь-ка говорить Мы слушаемъ.

— Мнѣ нечего стыдиться, съ живостью началъ Митя и тряхнулъ головой. Извольте сами, дядюшка, разсудить. Приходятъ ко мнѣ Рѣшетилевскіе однопорцы и говорятъ : заступись, братъ. — Что такое ? — А вотъ что : магазины хлѣбные у насъ въ исправности, то есть, лучше

быть не можетъ; вдругъ прѣѣзжаетъ къ намъ чиновникъ: приказано-де осмотрѣть магазины. Осмотрѣлъ и говоритъ: въ безпорядкѣ ваши магазины, упущенья важныя, начальству обязанъ донести. — Да въ чемъ упущенья? — А ужъ про это я знаю, говоритъ.... Мы было собрались и рѣшили: чиновника, какъ слѣдуетъ, отблагодарить, — да старикъ Прохорычъ помѣшалъ, говоритъ: этакъ ихъ только разлакомишь. Что, въ самомъ дѣлѣ? или ужъ нѣтъ намъ расправы никакой?... Мы старика-то и послушались, а чиновникъ-то осерчалъ и жалобу подалъ, донесеніе написалъ. Вотъ теперь и требуютъ насъ къ отвѣту. — Да точно-ли у васъ магазины въ исправности и законное количество хлѣба имѣется?... Ну, говорю, такъ вамъ робѣтъ нечего, — и написалъ бумагу имъ.... И еще неизвѣстно въ чью пользу рѣшится.... А что вамъ на меня по этому случаю нажаловались, — дѣло понятное: всякому своя рубашка къ тѣлу ближе.

— Всякому, да видно не тебѣ, сказалъ старикъ вполголоса.... А что у тебя тамъ за каверзы съ Шутоломовскими крестьянами?

— А вы почему знаете?

— Стало быть, знаю.

— И тутъ я правъ, — опять-таки извольте

разсудить. У Шутоломовскихъ крестьянъ сосѣдъ Безпандинъ четыре десятины земли запахалъ. Моя, говоритъ, земля. Шутоломовцы-то на обро-
къ, помѣщикъ ихъ за границу уѣхалъ — кому за нихъ заступиться, сами посудите? А земля ихъ безспорная, крѣпостная изъ-поконъ-вѣку. Вотъ и пришли ко мнѣ, говорятъ: напиши про-
сьбу. Я и написалъ. А Безпандинъ узналъ и грозитъся началъ: „я, говоритъ, этому Митькѣ заднія лопатки изъ вертлюговъ повыдергаю, а не то и совсѣмъ голову съ плечъ снесу“... По-
смотримъ, какъ-то онъ ее снесетъ: до сихъ поръ цѣла.

— Ну, не хвастайся: не одобровать ей, твоей головѣ, промолвилъ старикъ: — человекъ-то ты сумасшедшій вовсе.

— А что-жъ, дядюшка, не вы-ли сами мнѣ говорить изволили....

— Знаю, знаю, что ты мнѣ скажешь, перебилъ его Овсяниковъ: — точно: по справедливости долженъ человекъ жить и ближнему помогать обязанъ есть. Бываетъ, что и себя жалѣть не долженъ.... Да ты развѣ все такъ поступаешь? Не водятъ въ кабакъ, что-ли? не поютъ тебя, не кланяются, что-ли: Дмитрій Алексѣичъ, дескать, батюшка, помоги, а благо-

дарность мы ужъ тебѣ предъявимъ, — да цѣлковенькій или синенькую изъ-подъ полы въ руку? А? не бываетъ этого? сказывай, не бываетъ?

— Въ этомъ я точно виновать, отвѣчалъ, потупившись, Митя: — но съ бѣдныхъ я не беру и душой не кривлю.

— Теперь не берешь, а самому придется плохо — будешь брать. Душой не кривишь.... эхъ, ты! знать, за святыхъ все заступаешься!... А Борьку Переходова забылъ? Кто за него хлопоталъ? кто покровительство ему оказывалъ? а?

— Переходовъ по своей винѣ пострадалъ, точно....

— Казенныя деньги потратилъ — шутка!

— Да вы, дядюшка, сообразите: бѣдность, семейство....

— Бѣдность, бѣдность.... Человѣкъ онъ пьющій, азартный — вотъ что!

— Пить онъ съ горя началъ, замѣтилъ Митя, понизивъ голосъ.

— Съ горя! Ну, помогъ-бы ему, коли сердце въ тебѣ такое ретивое, а не сидѣлъ-бы съ пьянымъ человѣкомъ въ кабакахъ самъ. Что онъ трасно говорить, — вишь невидаль какая!

— Человѣкъ-то онъ добрыйшій....

— У тебя всѣ добрые.... А что, продолжалъ

Овсяниковъ, обращаясь къ женѣ: — послали ему.... ну, тамъ, ты знаешь....

Татьяна Ильинична кивнула головой.

— Гдѣ ты эти дни пропадалъ? заговорилъ опять старикъ.

— Въ городѣ былъ.

— Небось, все на билліардѣ игралъ, да чайничаль, на гитарѣ бренчалъ, по присутственнымъ мѣстамъ шмыгалъ, въ заднихъ комнаткахъ просьбы сочинялъ, съ купецкими сынками щеголялъ? Такъ вѣдь?... Сказывай!

— Оно, пожалуй, что такъ, съ улыбкой сказалъ Митя.... Ахъ, да! чуть было не забылъ: Фунтиковъ, Антонъ Пареевичъ, къ себѣ васъ въ воскресенье просить откушать.

— Не поѣду я къ этому брюхачу. Рыбу дастъ сотенную, а масло положить тухлое. Богъ съ нимъ совсѣмъ!

— А то я Ѳедосью Михайловну встрѣтилъ.

— Какую это Ѳедосью?

— А Гарпенченки помѣщика, вотъ, что Микулино сукціону купилъ. Ѳедосья-то изъ Микулина. Въ Москвѣ на оброкѣ жила въ швеяхъ и оброкъ платила исправно, сто-восемьдесятъ-два рубля съ полтиной въ годъ.... И дѣло свое знаетъ: въ Москвѣ заказы получала хорошіе.

А теперь Гарпенченко ее выписалъ, да вотъ и держитъ такъ, должности ей не опредѣляетъ. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да онъ никакого рѣшенія не объявляетъ. Вы, дядюшка, съ Гарпенченкой-то знакомы, — такъ не можете-ли вы замолвить ему словечко... А Федосья выкупъ за себя дастъ хорошій.

— Не на твои-ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, продолжалъ старикъ съ недовольнымъ лицомъ: — этотъ Гарпенченко, прости Господи, жила: векся скупааетъ, деньги въ ростъ отдаетъ, имѣнья съ молотка приобрѣтаетъ.... И кто его въ нашу сторону занесъ? Охъ, ужъ эти мнѣ заѣзжіе! Не скоро отъ него толку добьешься, — а, впрочемъ, посмотримъ.

— Похлопочите, дядюшка.

— Хорошо, похлопочу. Только ты, смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся.... Богъ съ тобой, Богъ съ тобой!... Только впередъ, смотри, а то, ей-Богу, Митя, не сдобровать тебѣ, — ей-Богу пропадешь. Не все-же мнѣ тебя на плечахъ выносить.... я и самъ человѣкъ не частный. Ну, ступай теперь съ Богомъ.

Митя вышелъ. Татьяна Ильинична отправилась за нимъ.

— Напой его чаемъ, баловница, закричалъ ей вслѣдъ Овсяниковъ.... Не глупый малый, продолжалъ онъ: — и душа добрая, только я боюсь за него.... А впрочемъ, извините, что такъ долго васъ пустяками занималъ.

Дверь изъ передней отворилась. Вошелъ низенькій, сѣденькій человѣкъ въ бархатномъ сюртукѣ.

— А, Францъ Иванычъ! вскрикнулъ Овсяниковъ: — здравствуйте! какъ васъ Богъ милуетъ?

Позвольте, любезный читатель, познакомить васъ съ этимъ господиномъ.

Францъ Иванычъ Лежёнъ (Lejeune), мой сосѣдъ и Орловскій помѣщикъ, не совсѣмъ обыкновеннымъ образомъ достигъ почетнаго званія русскаго дворянина. Родился онъ въ Орлеанѣ, отъ французскихъ родителей, и вмѣстѣ съ Наполеономъ отправился на завоеваніе Россіи, въ качествѣ барабанщика. Сначала все шло, какъ по маслу, и нашъ французъ вошелъ въ Москву съ поднятой головой. Но на возвратномъ пути бѣдный Mr. Lejeune, полузамерзшій и безъ барабана, попался въ руки смоленскимъ мужичкамъ. Смоленскіе мужички заперли его на ночь въ пустую сукновальню, а на другое утро при-

вели къ проруби, возлѣ плотины, и начали просить барабанщика *de la grande armée* уважить ихъ, т. е. нырнуть подъ ледъ. *Mr. Lejeune* не могъ согласиться на ихъ предложеніе и, въ свою очередь, началъ убѣждать смоленскихъ мужичковъ, на французскомъ діалектѣ, отпустить его въ Орлеанъ. „Тамъ, *messieurs*“, говорилъ онъ, „мать у меня живетъ, *une tendre mère*“. Но мужики, вѣроятно по незнанію географическаго положенія города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествіе, внизъ по теченію извилистой рѣчки Гнилотерки, и уже стали поощрять его легкими толчками въ шейные и спинные позвонки, какъ вдругъ, къ неописанной радости Лежёна, раздался звукъ колокольчика, и на плотину взѣхали огромныя сани съ пестрѣйшимъ ковромъ на преувеличенно-возвышенномъ задкѣ, запряженныя тройкой саврасыхъ вятковъ. Въ саняхъ сидѣлъ толстый и румяный помѣщикъ въ волчьей шубѣ.

— Чтò вы тамъ такое дѣлаете? спросилъ онъ мужиковъ.

— А Французя топимъ, батюшка.

— А! равнодушно возразилъ помѣщикъ и отвернулся.

— *Monsieur! Monsieur!* закричалъ бѣднякъ.

— А, а! съ укоризной заговорила волчья шуба: — съ двенадцатью языкъ на Россію шелъ, Москву сжегъ, окаянный, крестъ съ Ивана Великаго стащилъ, а теперь — мусье, мусье! а теперь и хвостъ поджалъ! По дѣламъ вору и мука.... Пошелъ, Филька-а!

Лошади тронулись.

— А, впрочемъ, стой, прибавилъ помѣщикъ.... Эй, ты, мусье, умѣешь ты музыкѣ?

— *Sauvez-moi, sauvez-moi, mon bon monsieur!* твердилъ Лежёнъ.

— Вѣдь вишь народецъ! и по-русски-то ни одинъ изъ нихъ не знаетъ! Мюзикъ, мюзикъ, савэ мюзикъ ву? савэ? Ну, говори-же! Компренэ? савэ мюзикъ ву? на фортопьяно жуэ савэ?

Лежёнъ понялъ, наконецъ, чего добивается помѣщикъ, и утвердительно закивалъ головой.

— *Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien: je joue tous les instruments possibles! Oui, monsieur.... Sauvez-moi, monsieur!*

— Ну, счастливъ твой Богъ, возразилъ помѣщикъ.... Ребята, отпустите его: вотъ вамъ двугривенный на водку.

— Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Лежёня посадили въ сани. Онъ задыхался

отъ радости, плакалъ, дрожалъ, кланялся, благодарилъ помѣщика, кучера, мужиковъ. На немъ была одна зеленая фуфайка съ розовыми лентами, а морозъ трещалъ на славу. Помѣщикъ молча глянулъ на его посинѣвшіе и окоченѣлые члены, завернулъ несчастнаго въ свою шубу и привезъ его домой. Дворня сбѣжалась. Француза наскоро отогрѣли, накормили и одѣли. Помѣщикъ повелъ его къ своимъ дочерямъ.

— Вотъ, дѣти, сказалъ онъ имъ: — учитель вамъ сысканъ. Вы все приставали ко мнѣ: выучи-де насъ музыкѣ и французскому діалекту: вотъ вамъ и Французъ, и на фортопьянахъ играетъ.... Ну, мусье, продолжалъ онъ, указывая на дрянныя фортепьянишки, купленныя имъ за пять лѣтъ у жида, который, впрочемъ, торговалъ одеколономъ: — покажи намъ свое искусство: жуэ!

Лежѣнь съ замирающимъ сердцемъ сѣлъ на стулъ: онъ отъ роду и не касался фортепьянъ.

— Жуэ-же, жуэ-же! повторилъ помѣщикъ.

— Съ отчаяньемъ ударилъ бѣднякъ по клавишамъ, словно по барабану, заигралъ, какъ попало.... „Я такъ и думалъ“, рассказывалъ онъ потомъ, „что мой спаситель схватитъ меня за воротъ и выброситъ вонъ изъ дому“. Но,

къ крайнему изумленію невольнаго импровизатора, помѣщикъ, погода немного, одобрительно потрепалъ его по плечу. „Хорошо, хорошо“, промолвилъ онъ, „вижу, что знаешь; поди теперь отдохни“.

Недѣли черезъ двѣ отъ этого помѣщика Лежёнъ переѣхалъ къ другому, человѣку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткій нравъ, женился на его воспитанницѣ, поступилъ на службу, вышелъ въ дворяне, выдалъ свою дочь за Орловскаго помѣщика Лобызаньева, отставнаго драгуна и стихотворца, и переселился самъ на жительство въ Орелъ.

Вотъ этотъ-то самый Лежёнъ, или, какъ теперь его называютъ, Францъ Ивановичъ, и вошелъ при мнѣ въ комнату Овсяникова, съ которымъ онъ состоялъ въ дружественныхъ отношеніяхъ....

Но, быть можетъ, читателю уже наскучило сидѣть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я краснорѣчиво умолкаю.

Л Ы Г О В Ъ.

— Поѣдемте-ка въ Льговъ, сказалъ мнѣ однажды, уже извѣстный чатателямъ, Ермолай: — мы тамъ утокъ настрѣляемъ вдоволь.

Хотя для настоящаго охотника дикая утка не представляетъ ничего особенно-плѣнительнаго, но, за неимѣньемъ пока другой дичи (дѣло было въ началѣ сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бѣгать по полямъ за куропатками мнѣ надоѣло), я послушался моего охотника и отправился въ Льговъ.

Льговъ — большое степное село съ весьма древней каменной, одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой рѣчкѣ Росотѣ. Эта рѣчка, верстъ за пять отъ Льгова, превращается въ широкій прудъ, по краямъ и кой-гдѣ по сединѣ заросшій густымъ тростникомъ, по орскому — майеромъ. На этомъ-то прудѣ, въ

заводяхъ или зитишьяхъ, между тростникамъ, выводилось и держалось безчисленное множество утокъ всѣхъ возможныхъ породъ: краковыхъ, полукраковыхъ, шилохвостыхъ, чирковъ, нырковъ и пр. Небольшія стаи то-и-дѣло перелетывали и носились надъ водою, а отъ выстрѣла поднимались такія тучи, что охотникъ невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорилъ: фу-у! — Мы пошли-было съ Ермолаемъ вдоль пруда, но, во первыхъ, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во вторыхъ, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирокъ и подвергался нашимъ выстрѣламъ и лишался жизни, то достать его изъ сплошнаго майера наши собаки не были въ состояніи: не смотря на самое благородное самоотверженіе, онѣ не могли ни плавать, ни ступать по дну, а только даромъ рѣзали свои драгоценные носы объ острые края тростниковъ.

— Нѣтъ, промолвилъ, наконецъ, Ермолай: — дѣло не ладно: надо достать лодку.... Пойдемте назадъ въ Льговъ.

Мы пошли. Не успѣли мы ступить нѣскольکو шаговъ, какъ, намъ на встрѣчу, изъ-за густой ракиты выбѣжала довольно дрянная лягавая собака, и вслѣдъ за ней появился человѣкъ сред-

наго роста, въ синемъ, сильно потертомъ сюртукѣ, желтоватомъ жилетѣ, панталонахъ цвѣта гри-де-лень или блен-д-амуръ, наскоро засунутыхъ въ дырявые сапоги, съ краснымъ платкомъ на шеѣ и одноствольнымъ ружьемъ за плечами. Пока наши собаки, съ обычнымъ, ихъ породѣ свойственнымъ, китайскимъ церемоніаломъ, снюхивались съ новой для нихъ личностью, которая видимо трусила, поджимала хвостъ, закидывала уши и быстро перевертывалась всѣмъ тѣломъ, не сгибая колѣней и скаля зубы, — незнакомецъ подошелъ къ намъ и чрезвычайно вѣжливо поклонился. Ему на видъ было лѣтъ двадцать-пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные красомъ, торчали неподвижными косицами, — небольшіе каріе глазки привѣтливо моргали, — все лицо, повязанное чернымъ платкомъ, словно отъ зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать, началъ онъ мягкимъ и вкрадчивымъ голосомъ: — я здѣшній охотникъ — Владиміръ.... Услышавъ о вашемъ прибытіи и узнавъ, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, рѣшился, если я вамъ не будетъ противно, предложить вамъ свои услуги.

Охотникъ Владиміръ говорилъ, ни дать ни

взять, какъ провинціальный молодой актеръ, занимающій роли первыхъ любовниковъ. Я согласился на его предложеніе и, не дойдя еще до Льгова, уже успѣлъ узнать его исторію. Онъ былъ вольноотпущенный дворовый человѣкъ; въ нѣжной юности обучался музыкѣ, потомъ служилъ камердинеромъ, зналъ грамотѣ, почи- тывалъ, сколько я могъ замѣтить, кой-какія книжонки и, живя теперь, какъ многіе живутъ на Руси, безъ гроша наличнаго, безъ постоянного занятія, питался только-что не манной небесной. Выражался онъ необыкновенно изящно и видимо щеголялъ своими манерами; волокита тоже, должно быть, былъ страшный и, по всѣмъ вѣроятіямъ, успѣвалъ: русскія дѣвушки любятъ краснорѣчіе. Между прочимъ, онъ мнѣ далъ замѣ- тить, что посѣщаетъ иногда сосѣднихъ помѣщи- ковъ, и въ городъ ѣздитъ въ гости, и въ префе- рансѣ играетъ, и съ столичными людьми знается. Улыбался онъ мастерски и чрезвычайно разно- образно; особенно шла къ нему скромная, сдер- жанная улыбка, которая играла на его губахъ, когда онъ внималъ чужимъ рѣчамъ. Онъ васъ выслушивалъ, онъ соглашался съ вами совершен- но, но все-таки не терялъ чувства собственного достоинства, и какъ будто хотѣлъ вамъ дать

знать, что и онъ можетъ, при случаѣ, изъяснить свое мнѣніе. Ермолай, какъ человѣкъ неслишкомъ образованный и уже вовсе не „субтильный“, началъ-было его „тыкать“. Надо было видѣть, съ какой усмѣшкой Владиміръ говорилъ ему: высь....

— Зачѣмъ вы повязаны платкомъ? спросилъ я его. Зубы болятъ?

— Нѣтъ-съ, возразилъ онъ: — это болѣе пагубное слѣдствіе неосторожности. Былъ у меня пріятель, хорошій человѣкъ-съ, но вовсе не охотникъ, какъ это бываетъ-съ. Вотъ-съ, въ одинъ день говоритъ онъ мнѣ: любезный другъ мой, возьми меня на охоту, я любопытствую узнать — въ чемъ состоитъ эта забава. Я, разумѣется, не захотѣлъ отказать товарищу: досталъ ему, съ своей стороны, ружье-съ и взялъ его на охоту-съ. Вотъ-съ мы, какъ слѣдуетъ, поохотились; наконецъ, вздумалось намъ отдохнуть-съ. Я сѣлъ подъ деревомъ; онъ-же, напротивъ того, съ своей стороны, началъ выкидывать ружьемъ артикуль-съ, при чемъ цѣлился и въ меня. Я попросилъ его перестать, но, по опытности своей, онъ не послушался-съ. Выстрѣлъ грянулъ, и я лишился подбородка и указательнаго перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владиміръ и Ермолай оба рѣшили, что безъ лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаникъ*), замѣтилъ Владиміръ: — да я не знаю, куда онъ его спряталъ. Надобно сбѣгать къ нему.

— Къ кому? спросилъ я.

— А здѣсь человѣкъ живетъ, прозвище ему Сучокъ.

Владиміръ отправился къ Сучку съ Ермолаемъ. Я сказалъ имъ, что буду ждать ихъ у церкви. Разсматривая могилы на кладбищѣ, наткнулся я на почернѣвшую, четырехугольную урну съ слѣдующими надписями: на одной сторонѣ, французскими буквами: „*Ci-gît Théophile Henri, vicomte de Blanguy*“; на другой: „подъ симъ камнемъ погребено тѣло французскаго подданнаго, графа Бланжія; родился 1737, умре 1799 года всего житія его было 62 года“; на третьей: „миръ его праху“; а на четвертой:

„Подъ камнемъ симъ лежитъ французскій эмигрантъ;
Породу знатную имѣлъ онъ и талантъ.
Супругу и семью оплакавъ избіяну,
Покинулъ родину, тиранами поправну;

*) Плоская лодка, сколоченная изъ старыхъ барочныхъ досокъ.

Россійскія страны достигнувъ береговъ,
Обрѣлъ на старости гостепріемный кровъ;
Училъ дѣтей, родителей покоилъ...
Всевышній судія его здѣсь успокоилъ.“

Приходъ Ермолая, Владиміра и человѣка съ страннымъ прозвищемъ Сучокъ — прервалъ мои размышленія.

Босоногій, оборванный и взъерошенный, Сучокъ казался съ виду отставнымъ дворовымъ, лѣтъ шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? спросилъ я.

— Лодка есть, отвѣчалъ онъ глухимъ и разбитымъ голосомъ: — да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась, да изъ дырьевъ клепки повывалились.

— Велика бѣда! подхватилъ Ермолай: — паклей заткнуть можно.

— Извѣстно, можно, подтвердилъ Сучокъ.

— Да ты кто?

— Господскій рыбаловъ.

— Какъ-же это ты рыбаловъ, а лодка у тебя въ такой неисправности?

— Да въ нашей рѣкѣ и рыбы-то нѣту.

— Рыба не любитъ ржавчины болотной, съ женою прибилъ мой охотникъ.

— Ну, сказалъ я Ермолаю: — поди достань пакли и справь намъ лодку, да поскорѣй.

Ермолай ушелъ.

— А, вѣдь, этакъ мы, пожалуй, и ко дну пойдѣмъ? сказалъ я Владиміру.

— Богъ милостивъ, отвѣчалъ онъ. Во всякомъ случаѣ должно предполагать, что прудъ не глубокъ.

— Да, онъ не глубокъ, замѣтилъ Сучокъ, который говорилъ какъ-то странно, словно съ просонья: — да на днѣ тина и трава, и весь онъ травой заросъ. Впрочемъ, есть тоже и колдобины *).

— Однако-же, если трава такъ сильна, замѣтилъ Владиміръ: — такъ и грести нельзя будетъ.

— Да кто-жъ на дощаникахъ гребетъ? Надо пихаться. Я съ вами поѣду; у меня тамъ есть шестикъ, — а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна въ иномъ мѣстѣ, пожалуй, не достанешь, сказалъ Владиміръ.

— Оно правда, что неловко.

Я присѣлъ на могилу въ ожиданіи Ермолая. Владиміръ отошелъ, для приличья, нѣсколько въ сторону и тоже сѣлъ. Сучокъ продолжалъ сто-

*) Глубокое мѣсто, яма въ прудѣ или рѣкѣ.

ять на мѣстѣ, повѣся голову и сложивъ, по старой привычкѣ, руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста, началъ я: давно ты здѣсь рыбакомъ.

— Седьмой годъ пошелъ, отвѣчалъ онъ, встрепенувшись.

— А прежде чѣмъ ты занимался.

— Прежде ѣздилъ кучеромъ.

— Кто-жъ тебя изъ кучеровъ разжаловалъ?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что насъ-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофѣвна, толстая такая.... не молодая.

— Съ чего-жъ она вздумала тебя въ рыбаловы произвести?

— А Богъ ее знаетъ. Приѣхала къ намъ изъ своей вотчины, изъ Тамбова, велѣла всю дворню собрать, да и вышла къ намъ. Мы сперва къ ручкѣ, и она ничего: не серчаетъ.... А потомъ и стала по порядку насъ спрашивать: чѣмъ занимался, въ какой должности состоялъ? Дочла очередь до меня; вотъ и спрашиваетъ: ты чѣмъ былъ? Говорю: кучеромъ. — Кучеромъ? ну какой ты кучеръ, посмотри на себя: какой ты кучеръ? Не слѣдъ тебѣ быть кучеромъ, а.

будь у меня рыбаломъ и бороду сбрѣй. На случай моего прїѣзда къ господскому столу рыбу поставляй, слышишь?.... Съ тѣхъ поръ вотъ я въ рыбаловахъ и числюсь. — Да прудъ у меня, смотри, содержать въ порядкѣ.... А какъ его содержать въ порядкѣ?

— Чѣмъ-же вы прежде были?

— А Сергѣя Сергѣича Пехтерева. По наслѣдствію ему достались. Да и онъ нами недолго владѣлъ, всего шесть годовъ. У него-то вотъ я кучеромъ и ѣздилъ.... да не въ городѣ — тамъ у него другіе были, а въ деревнѣ.

— И ты съ молоду все былъ кучеромъ?

— Какое все кучеромъ! Въ кучера-то я попалъ при Сергѣѣ Сергѣичѣ, а прежде поваромъ былъ, — но не городскимъ тоже поваромъ, а такъ, въ деревнѣ.

— У кого-жъ ты былъ поваромъ?

— А у прежняго барина, у Аѳанасія Нееедыча, у Сергѣя Сергѣичина дяди. Льговъ-то онъ купилъ, Аѳанасій Нееедычъ купилъ, а Сергѣю Сергѣичу имѣнье-то по наслѣдствію досталось.

— У кого купилъ?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вотъ, что въ запрошломъ году умерла, подъ Болховымъ... то-бишь подъ Карачевымъ, въ дѣвкахъ... И замужемъ не бывала. Не изволите знать? Мы къ ней поступили отъ ея батюшки, отъ Василья Семеныча. Она таки долго намъ владѣла.... годиковъ двадцать.

— Что-жь ты и у ней былъ поваромъ?

— Сперва точно былъ поваромъ, а то и въ кофишенки попалъ.

— Во что?

— Въ кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфетѣ состоялъ и Антономъ назывался, а не Кузьмой. Такъ барыня приказать изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время былъ кофишенкомъ?

— Нѣтъ, не все время: былъ и ахтеромъ.

— Неужели?

— Какъ-же, былъ.... на кятрѣ игралъ. Барыня наша кятръ у себя завела.

— Какія-же ты роли занималъ?

— Чего изволите-сь?

— Что ты дѣлалъ на театрѣ?

— А вы не знаете? Вотъ меня возмуть и
Записки охотника. I. 10

нарядять; я такъ и хожу наряженный, или стою, или сижу, какъ тамъ придется. Говорять: вотъ что говори, — я и говорю. Разъ слѣпаго представлялъ.... Какъ-же!

— А потомъ чѣмъ былъ?

— А потомъ опять въ повара поступилъ.

— За что же тебя опять въ повара разжаловали?

— А братъ у меня сбѣжалъ.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чѣмъ ты былъ?

— А въ разныхъ должностяхъ состоялъ: сперва въ казачкахъ находился, фалеторомъ былъ, садовникомъ, а то и доѣзжачимъ.

— Доѣзжачимъ?... И съ собаками ѣздилъ?

— Ёздилъ и съ собакамн: да убился: съ лошадыю упалъ и лошадь зашибъ. Старый-то баринъ у насъ былъ престрогій: велѣлъ меня выпоротъ, да въ ученье отдать въ Москву, къ сапожнику.

— Какъ въ ученье? Да ты, чай, не ребенкомъ въ доѣзжаніе попалъ?

— Да лѣтъ, этакъ, мнѣ было двадцать слишкомъ.

— Какое-жъ тутъ ученье въ двадцать лѣтъ?

— Стало быть, ничего, можно, коли баринъ

приказалъ. Да онъ, благо, скоро умеръ, — меня въ деревню и вернули.

— Когда-же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучокъ приподнялъ свое худенькое и желтенькое лицо и усмѣхнулся.

— Да развѣ этому учатся?... Стряпають-же бабы!

— Ну, примолвилъ я: — видалъ ты, Кузьма, виды на своемъ вѣку! Что-жъ ты теперь въ рыболовахъ дѣлаешь, коль у васъ рыбы нѣту?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава Богу, что въ рыболовы произвели. А то вотъ другаго, такого-же, какъ я, старика — Андрея Пупыря — въ бумажную фабрику, въ черпальную, барыня приказала поставить. Грѣшно, говорить, даромъ хлѣбъ ѣсть.... А Пупырь-то еще на милость надѣялся: у него двоюродный племянникъ въ барской конторѣ сидитъ конторщикомъ: доложить общался объ немъ барынѣ, напомнить. Вотъ-те и напомнилъ!... А Пупырь въ моихъ глазахъ племяннику-то въ ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Былъ женатъ?

— Нѣтъ, батюшка, не былъ. Татьяна Вальевна покойница — царство ей небесное! — икому не позволяла жениться. Сохрани Богъ!

Бывало говоритъ: вѣдь живу-же я такъ, въ дѣвкахъ; что за баловство! чего имъ надо?

— Чѣмъ-же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!... Харчи выдаются, — и то слава тебѣ, Господи! много доволенъ. Продли Богъ вѣка нашей госпожѣ!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка, произнесъ онъ сурово. Ступай за шестомъ — ты!...

Сучокъ побѣждалъ за шестомъ. Во все время моего разговора съ бѣднымъ старикомъ охотникъ Владиміръ поглядывалъ на него съ презрительной улыбкой.

— Глупый человѣкъ-съ, промолвилъ онъ, когда тотъ ушелъ: — совершенно необразованный человѣкъ-съ, мужикъ-съ, больше ничего-съ. Дворовымъ человѣкомъ его назвать нельзя-съ... и все хвасталъ-съ.... Гдѣ-жь ему быть актеромъ-съ, сами извольте разсудить-съ! Напрасно изволили беспокоиться, изволили съ нимъ разговаривать-съ.

Черезъ четверть часа мы уже сидѣли въ дощаниѣ Сучка. (Собаку мы оставили въ избѣ подъ надзоромъ кучера Іегуділа.) Намъ не очень было ловко, но охотники народъ не раз-

борчивый. У тупого, задняго конца стоялъ Су-чокъ и „пихался“; мы съ Владиміромъ сидѣли на перекладинѣ лодки; Еромолай помѣстился спереди, у самого носа. Не смотря на паклю, вода скоро появилась у насъ подъ ногами. Къ счастью, погода была тихая, и прудъ словно заснулъ.

Мы плыли довольно медленно. Старикъ съ трудомъ выдерживалъ изъ вязкой тины свой длинный шестъ, весь перепутанный зелеными нитями подводныхъ травъ; сплошные, круглые листья болотныхъ лилій тоже мѣшали ходу нашей лодки. Наконецъ, мы добрались до тростниковъ, и пошла потѣха. Утки шумно поднимались „срывались“ съ пруда, испуганные нашимъ неожиданнымъ появленіемъ въ ихъ владѣніяхъ; выстрѣлы дружно раздавались вслѣдъ за ними, и весело было видѣть, какъ эти кургузья, тяжелыя птицы кувыркались на воздухѣ, тяжело шлепались объ воду. Всѣхъ подстрѣленныхъ утокъ мы, конечно, не достали: легко пораненныя ныряли, иныя, убитыя на-повалъ, падали въ такой густой майеръ, что даже рысьи глазки Еромолая не могли открыть ихъ; но все-таки къ обѣду лодка наша черезъ край наполнилась дичью.

Владиміръ, къ великому утѣшенію Еромолая, стрѣлялъ вовсе не отлично и послѣ каждого

неудачнаго выстрѣла удивлялся, осматривалъ и продувалъ ружье, недоумѣвалъ и, наконецъ, излагалъ намъ причину, почему онъ промахнулся. Ермолай стрѣлялъ, какъ всегда, побѣдоносно, я — довольно плохо по обыкновенію. Сучокъ посматривалъ на насъ глазами человѣка, смолоду состоявшаго на барской службѣ, изрѣдка кричалъ: „вонъ, вонъ еще утица“! — то и дѣло почесывалъ спину — не руками, а приведенными въ движеніе плечами. Погода стояла прекрасная: бѣлыя, круглыя облака высоко и тихо неслись надъ нами, ясно отражаясь въ водѣ; тростникъ шушукалъ кругомъ; прудъ мѣстами, какъ сталь, сверкалъ на солнцѣ. Мы уже собирались вернуться въ село, какъ вдругъ съ нами случилось довольно непріятное происшествіе.

Мы уже давно могли замѣтить, что вода къ намъ понемногу все набиралась въ дощаниѣ. Владиміру было поручено выбрасывать ее вонъ посредствомъ ковшъ, похищеннаго, на всякій случай, моимъ предусмотрительнымъ охотникомъ у зазѣвавшейся бабы. Дѣло шло, какъ слѣдовало, пока Владиміръ не забывалъ своей обязанности. Но къ концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успѣвали заряжать ружья. Въ пылу перестрѣлки

мы не обращали вниманія на состояніе нашего дощаника, — какъ вдругъ, отъ сильнаго движенія Ермолая (онъ старался достать убитую птицу и всѣмъ тѣломъ налегъ на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, къ счастью, не на глубокомъ мѣстѣ. Мы вскрикнули, но уже было поздно: черезъ мгновеніе мы стояли въ водѣ по горло, окруженные всплывшими тѣлами мертвыхъ утокъ. Теперь я безъ хохота вспомнить не могу испуганныхъ и блѣдныхъ лицъ моихъ товарищей (вѣроятно и мое лицо не отличалось тогда румянцемъ); но въ ту минуту, признаюсь, мнѣ и въ голову не приходило смѣяться. Каждый изъ насъ держалъ свое ружье надъ головой, и Сучокъ, должно быть по привычкѣ подражать господамъ, поднялъ шесть свой кверху. Первый нарушилъ молчаніе Ермолай.

— Тьфу ты пропасть! пробормоталъ онъ, плюнувъ въ воду: — какая оказія! А все ты, старый чортъ! прибавилъ онъ съ сердцемъ, обращаясь къ Сучку: — что это у тебя за лодка?

— Виновать, пролепеталъ старикъ.

— Да и ты хорошъ, продолжалъ мой охотникъ, повернувъ голову въ направленіи Владиміра: — что смотрѣлъ? чего не черпалъ? ты, ты, ты....

Но Владиміру было ужъ не до возраженій: онъ дрожалъ, какъ листъ, зубъ на зубъ не попадалъ, и совершенно безсмысленно улыбался. Куда дѣвалось его краснорѣчіе, его чувство тонкаго приличія и собственного достоинства!

Провлѣтый дощаникъ слабо колыхался подъ нашими ногами.... Въ мигъ кораблекрушенія вода намъ показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпѣлись. Когда первый страхъ прошелъ, я оглянулся: кругомъ, въ десяти шагахъ отъ насъ, росли тростники; вдали, надъ ихъ верхушками, виднѣлся берегъ. „Плохо“! подумалъ я.

— Какъ намъ быть? спросилъ я Ермолая.

— А вотъ, посмотримъ; не ночевать-же здѣсь, отвѣтилъ онъ. На, ты, держи ружье, сказалъ онъ Владиміру.

Владиміръ безпрекословно повиновался.

— Пойду сыщу бродъ, продолжалъ Ермолай, съ увѣренностью, какъ-будто во всякомъ прудѣ непременно долженъ существовать бродъ, — взялъ у Сучка шесть и отправился въ направленіи берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умѣешь-ли плавать? спросилъ я его.

— Нѣтъ, не умѣю, раздался его голосъ изъ-за тростника.

— Ну, такъ утонетъ, равнодушно замѣтилъ Сучокъ, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнѣва, и теперь, совершенно успокоенный, только изрѣдка отдувался и, казалось, не чувствовалъ никакой надобности перемѣнить свое положеніе.

— И безъ всякой пользы пропадетъ-съ, жалобно прибавилъ Владиміръ.

Ермолай не возвращался болѣе часу. Этотъ часъ намъ показался вѣчностью. Сперва мы перекликивались съ нимъ очень усердно; потомъ онъ сталъ рѣже отвѣчать на наши возгласы, наконецъ умолкъ совершенно. Въ селѣ зазвонили къ вечернѣ. Межъ собой мы не разговаривали, даже старались не глядѣть другъ на друга. Утки носились надъ нашими головами, инны собирались сѣсть подлѣ насъ, но вдругъ поднимались кверху, какъ говорится, „коломъ“, и съ крикомъ улетали. Мы начинали костенѣть. Сучокъ хлопалъ глазами, словно спать располагался.

Наконецъ, къ неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Былъ на берегу; бродъ нашелъ.... Пойдемте.

Мы хотѣли-было тотчасъ-же отправиться; но

онъ сперва досталъ подъ водой изъ кармана веревку, привязалъ убитыхъ утокъ за лапки, взялъ оба конца въ зубы и побрелъ впередъ; Владиміръ за нимъ, я за Владиміромъ. Сучокъ замыкалъ шествіе. До берега было около двухъ-сотъ шаговъ. Ермолай шелъ смѣло и безостановочно (такъ хорошо замѣтилъ онъ дорогу), лишь изрѣдка покрикивая: „лѣвѣй, — тутъ на право колдобина!“ или: „правѣй, — тутъ на лѣво завязнешь“.... Иногда вода доходила намъ до горла, и раза два бѣдный Сучокъ, будучи ниже всѣхъ насъ ростомъ, захлебывался и пускалъ пузыри. — „Ну, ну, ну!“ грозно кричалъ на него Ермолай, — и Сучокъ карабкался, болталъ ногами, прыгалъ и таки выбирался на болѣе мелкое мѣсто; но даже въ крайности не рѣшался хвататься за полу моего сюртука. Измученные грязные, мокрые, мы достигли, наконецъ, берега.

Часа два спустя, мы уже всѣ сидѣли, по мѣрѣ возможности обсушенные, въ большомъ сѣнномъ сараѣ, и собирались ужинать. Кучеръ Іегудилъ, человѣкъ чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъемъ, разсудительный и заспанный, стоялъ у воротъ и усердно подчивалъ табакѣмъ Сучка. (Я замѣтилъ, что кучера въ Россіи очень скоро дружатся.) Сучокъ нюхалъ съ остервенѣ-

ніемъ, до тошноты: плевалъ кашлялъ и, по-видимому, чувствовалъ большое удовольствіе. Владиміръ принималъ томный видъ, наклонялъ голову на бокъ и говорилъ мало. Ермолай вытиралъ наши ружья. Собаки съ преувеличенной быстротой вертѣли хвостами въ ожиданіи овсянки; лошади топали и ржали подъ навѣсомъ.... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбѣгались его послѣдніе лучи; золотыя тучки разстилались по небу все мелче и мелче, словно вымытая, расчесанная волна.... На селѣ раздавались пѣсни.

БѢЖИНЪ ЛУГЪ.

Быль прекрасный іюльскій день, одинъ изъ тѣхъ дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась на долго. Съ самаго ранняго утра небо ясно, утренная заря не пылаетъ пожаромъ: она разливается кроткимъ румянцемъ. Солнце — не огнистое, не раскаленное, какъ во время знойной засухи, не тускло-багровое, какъ передъ бурей, но свѣтлое и привѣтно-лучезарное — мирно всплываетъ изъ-подъ узкой и длинной тучки, свѣжо просіяетъ и погрузится въ лиловый туманъ. Верхній, тонкій край растянутого облака засверкаетъ змѣйками; блескъ ихъ подобенъ блеску кованого серебра.... Но вотъ опять хлынули играющіе лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее свѣтило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглыхъ высокихъ облаковъ, золотисто-сѣрыхъ, съ нѣжными бѣлыми краями, подобно

островамъ, разбросаннымъ по безконечно-разлившейся рѣкѣ, обтекающей ихъ глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы. Они почти не трогаются съ мѣста; далѣе, къ небосклону, они сдвигаются, тѣсняются, синевы между ними уже не видать; но сами они также лазурны, какъ небо: они всѣ насквозь проникнуты свѣтомъ и теплотой. Цвѣтъ небосклона, легкій, блѣднолиловый, не измѣняется во весь день и кругомъ одинаковъ: нигдѣ ни темнѣетъ, ни густѣетъ гроза, развѣ, кой-гдѣ, протянутся сверху внизъ голубоватыя полосы, — то сѣется едва замѣтный дождь. Къ-вечеру эти облака исчезаютъ; послѣднія изъ нихъ, черноватыя и неопредѣленные, какъ дымъ, ложатся розовыми клубами напротивъ заходящаго солнца; на мѣстѣ, гдѣ оно закатилось, такъ-же спокойно, какъ спокойно взошло на небо, алое сіянье стоитъ недолгое время надъ потемнѣвшей землей, и, тихо мигая, какъ бережно несомая свѣчка, затеплится на немъ вечерняя звѣзда. Въ такіе дни краски всѣ смягчены, свѣтлы, но не ярки; на всемъ лежитъ печать какой-то трогательной кротости. Въ такіе дни жаръ бываетъ иногда весьма силенъ, иногда даже „парить“ по скатамъ полей; но вѣтеръ разгоняетъ, раздвигаетъ накопившійся зной, и вихри круговороты — несомнѣнный признакъ постоян-

ной погоды — высокими бѣлыми столбами гуляютъ по дорогамъ черезъ пашню. Въ сухомъ и чистомъ воздухѣ пахнетъ полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за часъ до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желаетъ земледѣлецъ для уборки хлѣба....

Въ такой точно день охотился я однажды за тетеревами въ Черньскомъ уѣздѣ Тульской губерніи. Я нашель и настрѣлялъ довольно много дичи; наполненный ягташъ немилосердно рѣзалъ мнѣ плечо; но уже вечерняя заря погасала, и въ воздухѣ, еще свѣтломъ, хотя не озаренномъ болѣе лучами закатившагося солнца, начинали густѣть и разливаться холодныя тѣни, когда я рѣшился, наконецъ, вернуться къ себѣ, домой. Быстрыми шагами прошелъ я длинную „площадь“ кустовъ, взобрался на холмъ и, вмѣсто ожидаемой знакомой равнины съ дубовымъ лѣскомъ — направо и низенькой бѣлой церковью — въ отдаленіи, увидалъ совершенно другія, мнѣ неизвѣстныя мѣста. У ногъ моихъ тянулась узкая долина; прямо напротивъ, крутой стѣной, возвышался частый осинникъ. Я остановился въ недоумѣніи, оглянулся.... „Эге!“ подумалъ я, „да это я совсѣмъ не туда попалъ: я слишкомъ забралъ вправо,“ и, самъ дивясь своей ошибкѣ,

проворно спустился съ холма. Меня тотчасъ охватила непріятная, неподвижная сырость, точно я вошелъ въ погребъ; густая, высокая трава на днѣ долины, вся мокрая, бѣлѣла ровной скатерью; ходить по ней было какъ-то жутко. Я поскорѣй выкарабкался на другую сторону и пошелъ, забирая влѣво, вдоль осинника. Летучія мыши уже носились надъ его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясномъ небѣ; рѣзво и прямо пролетѣлъ въ вышинѣ запоздалый ястребокъ, спѣша въ свое гнѣздо. „Вотъ, какъ только я выйду на тотъ уголъ“, думалъ я про себя, „тутъ сейчасъ и будетъ дорога, — а съ версту крѣку я далъ!“

Я добрался наконецъ до угла лѣса, но тамъ не было никакой дороги: какіе-то некошеные, низкіе кусты широко разстиались передо мной, а за ними, далѣко, далѣко, виднѣлось пустынное поле. Я опять остановился. „Что за притча?... Да гдѣ-же я?“ — Я сталъ припоминать, какъ и куда ходилъ въ теченіи дня.... „Э! да это Паракхинскіе кусты!“ воскликнулъ я наконецъ; „точно! точно это должно быть Синдѣвская роща... [а какъ-же это я сюда зашелъ такъ далеко?...] странно! Теперь опять нужно вправо взять“.

Я пошелъ вправо, черезъ кусты. Между

тѣмъ ночь приближалась и росла, какъ грозовая туча; казалось, вмѣстѣ, съ вечерними парами отовсюду поднималась и даже съ вышины лилась темнота. Мнѣ попалась какая-то не торная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая впередъ. Все кругомъ быстро чернѣло и утихало, — одни перепелà изрѣдка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своихъ мягкихъ крыльяхъ, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула въ сторону. Я вышелъ на опушку кустовъ и побрѣлъ по полю межой. Уже я съ трудомъ различалъ отдаленные предметы: поле неясно бѣлѣло вокругъ, за нимъ, съ каждымъ мгновеніемъ надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мракъ. Глухо отдавались мои шаги въ застывающемъ воздухѣ. Поблѣднѣвшее небо стало опять синѣть, — но то уже была синева ночи. Звѣздочки замелькали, зашевелились на немъ.

Что я было принялъ за рощу оказалось темнымъ и круглымъ бугромъ. „Да гдѣ-же это я?“ повторилъ я опять вслухъ, остановился въ третій разъ и вопросительно посмотрѣлъ на свою англійскую желто-пѣгую собаку, Діанку, рѣшительно умнѣйшую изъ всѣхъ четвероногихъ тварей.

Но умнѣйшая изъ четвероногихъ тварей только повиляла хвостикомъ, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мнѣ никакого дѣльнаго совѣта. Мнѣ стало совѣстно передъ ней, и я отчаянно устремился впередъ, словно вдругъ догадался, куда слѣдовало идти, обогнулъ бугоръ и очутился въ неглубокой, кругомъ распаханной ложинѣ. Странное чувство тотчасъ овладѣло мной. Лощина эта имѣла видъ почти правильнаго котла съ пологими боками; на днѣ ея торчало стоймя нѣсколько большихъ бѣлыхъ камней, — казалось, они сползли туда для тайнаго совѣщанія, — и до того въ ней было нѣмо и глухо, такъ плоско, такъ уныло висѣло надъ нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то звѣрокъ слабо и жалобно пискнулъ между камней. Я поспѣшилъ выбраться назадъ на бугоръ. До сихъ поръ я все еще не терялъ надежды сыскать дорогу домой; но тутъ я окончательно удостовѣрился въ томъ, что заблудился совершенно и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестныя мѣста, почти совсѣмъ потонувшія во мглѣ, пошелъ себѣ прямо, по звѣздамъ — на-даю.... Около получаса шель я такъ, съ рудомъ переставляя ноги. Казалось, отъ-роду е бывалъ я въ такихъ пустыхъ мѣстахъ; нигдѣ

не мерцалъ огонекъ, не слышалось никакого звука. Одинъ пологій холмъ смѣнялся другимъ, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдругъ изъ земли передъ самымъ моимъ носомъ. Я все шелъ, и уже собирался-было прилечь гдѣ-нибудь до утра, какъ вдругъ очутился надъ страшной бездной.

Я быстро отдернулъ занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумракъ ночи, увидѣлъ далеко подъ собою огромную равнину. Широкая рѣка обгибала ее уходящимъ отъ меня полукругомъ; стальные отблески воды, изрѣдка и смутно мерцаая, обозначали ея течение. Холмъ, на которомъ я находился, спускался вдругъ почти отвѣснымъ обрывомъ; его громадные очертанія отдѣлялись, чернѣя, отъ синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, въ углу, образованномъ тѣмъ обрывомъ и равниной, возлѣ рѣки, которая въ этомъ мѣстѣ стояла неподвижнымъ, темнымъ зеркаломъ, подъ самой кручью холма, краснымъ пламенемъ горѣли и дымились другъ подлѣ дружки два огонька. Вокругъ нихъ копошились люди, колебались тѣни, иногда ярко освѣщалась передняя половина маленькой кудрявой головы....

Я узналъ наконецъ куда я зашелъ. Этотъ

лугъ славится въ нашихъ околodкахъ подъ названіемъ Бѣжина Луга.... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно въ ночную пору; ноги подкашивались подо мною отъ усталости, — я рѣшился подойти къ огонькамъ и въ обществѣ тѣхъ людей, которыхъ принялъ за гуртовщиковъ, дожидаться зари. Я благополучно спустился внизъ: но не успѣлъ выпустить изъ рукъ послѣднюю, ухваченную мною вѣтку, какъ вдругъ двѣ большія, бѣлыя, лохматыя собаки со злобнымъ лаемъ бросились на меня. Дѣтскіе звонкіе голоса раздались вокругъ огней; два-три мальчика быстро поднялись съ земли. Я откликнулся на ихъ вопросительные крики. Они подбѣжали ко мнѣ, отозвали тотчасъ собакъ, которыхъ особенно поразило появленіе моей Діанки, и я подошелъ къ нимъ.

Я ошибся, принявъ людей, сидѣвшихъ вокругъ тѣхъ огней, за гуртовщиковъ. Это просто были крестьянскіе ребятишки изъ сосѣдней деревни, которые стерегли табунъ. Въ жаркую лѣтнюю пору лошадей выгоняють у насъ на ночь кормиться въ поле: днемъ мухи и оводы не дали бы имъ покоя. Выгонять передъ вечеромъ и пригонять на утренней зарѣ табунъ — большой праздникъ для крестьянскихъ мальчиковъ.

Сидя безъ шапокъ и въ старыхъ полушубкахъ на самыхъ бойкихъ кляченкахъ, мчатся они съ веселымъ гиканьемъ и крикомъ, болтая руками и ногами, высоко подпрыгиваютъ, звонко хохочутъ. Легкая пыль желтымъ столбомъ поднимается и несется по дорогѣ; далеко разносится дружный топотъ, лошади бѣгутъ, наостривъ уши; впереди всѣхъ, задравши хвостъ и безпрестанно мѣняя ногу, скачетъ какой-нибудь рыжій космачъ, съ репейниками въ спутанной гривѣ.

Я сказалъ мальчикамъ, что заблудился, и подсѣлъ къ нимъ. Они спросили меня откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилегъ подъ обглоданный кустикъ и сталъ глядѣть кругомъ. Картина была чудесная: около огней дрожало и какъ-будто замирало, упираясь въ темноту, круглое красноватое отраженіе; пламя, вспыхивая, изрѣдка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкій языкъ свѣта лизнетъ голые сучья лозника и разомъ исчезнетъ. Острыя, длинныя тѣни, врываясь на мгновенье, въ свою очередь, добѣгали до самыхъ огоньковъ: мракъ боролся со свѣтомъ. Иногда, когда пламя горѣло слабѣе и кружокъ свѣта съуживался, изъ надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнѣдая

съ извилистой проточиной, или вся бѣлая, внимательно и тупо смотрѣла на насъ, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчасъ скрывалась. Только слышно было, какъ она продолжала жевать и отфыркивалась. Изъ освѣщеннаго мѣста трудно разглядѣть, что дѣлается въ потемкахъ, и потому вблизи все казалось задержаннымъ почти черной завѣсой; но далѣе къ небосклону длинными пятнами смутно виднѣлись холмы и лѣса. Темное, чистое небо торжественно и необъятно-высоко стояло надъ нами со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпiемъ. Сладко стѣснялась грудь, вдыхая тотъ особенный, томительный и свѣжій запахъ — запахъ русской лѣтней ночи. Кругомъ не слышалось почти никакого шума.... Лишь изрѣдка въ близкой рѣкѣ съ внезапной звучностью плеснетъ большая рыба, и прибрежный тростникъ слабо зашумитъ, едва поколебленный набѣжавшей волной.... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидѣли вокругъ ихъ; тутъ-же сидѣли и тѣ двѣ собаки, которымъ таеъ было захотѣлось меня съѣсть. Онѣ еще долго не могли примириться съ моимъ присутствiемъ и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изрѣдка рычали съ необыкновеннымъ чувствомъ собственного достоин-

ства; сперва рычали, а потомъ, слегка визжали, какъ-бы сожалѣя о невозможности исполнить свое желаніе. Всѣхъ мальчиковъ было пять: Оедя, Павлуша, Ильюша, Костя, и Ваня. (Изъ ихъ разговоровъ я узналъ ихъ имена и намѣренъ теперь-же познакомить съ ними читателя.)

Первому, старшему изъ всѣхъ, Оедѣ, вы бы дали лѣтъ четырнадцать. Это былъ стройный мальчикъ съ красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми бѣлокурыми волосами, свѣтлыми глазами и постоянной, полувеселой, полу-разсѣянной улыбкой. Онъ принадлежалъ, по всѣмъ примѣтамъ, къ богатой семьѣ и выѣхалъ-то въ поле не по нуждѣ, а такъ, для забавы. На немъ была пестрая ситцевая рубаха съ желтой каемкой; небольшой новый армячокъ, надѣтый въ накидку, чуть держался на его узенькихъ плечикахъ; на голубинькомъ поясѣ висѣлъ гребешокъ. Сапоги его съ низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовскіе. У втораго мальчика, Павлуши, волосы были всклооченные, черные, глаза сѣрые, скулы широкія, лицо блѣдное, рябое, ротъ большой, но правильный, вся голова огромная, какъ говорится, съ пивной котель, тѣло приземистое, неуклюжее. Малый былъ неказистый, — что и говорить! — а все-

такъ онъ мнѣ понравился: глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него звучала сила. Одеждой своей онъ щеголять не могъ: вся она состояла изъ простой замашной рубахи да изъ заплатанныхъ портовъ. Лицо трѣтяго, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслѣповатое, оно выражало какую-то тупую, болѣзненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутыя брови не расходились, — онъ словно все щурился отъ огня. Его желтые, почти бѣлые волосы торчали острыми косицами изъ-подъ низенькой войлочной шапочки, которую онъ обѣими руками то-идѣло надвигалъ себѣ на уши. На немъ были новые лапти и онучи; толстая веревка три раза перевитая вокругъ стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлушѣ на видъ было не болѣе двѣнадцати лѣтъ. Четвертый, Костя, мальчикъ лѣтъ десяти, возбуждалъ мое любопытство своимъ задумчивымъ и печальнымъ взоромъ. Все лицо его было невелико, худо, въ веснушкахъ, книзу заострено, какъ у бѣлки; губы едва было можно различить; но странное впечатлѣніе производили его большіе, черные, жидкимъ блескомъ блестяшіе глаза: они, казалось, хотѣли что-то высказать, для

чего на языкѣ, — на его языкѣ покрайней мѣрѣ, — не было словъ. Онъ весь былъ маленькаго роста, сложенія тщедушнаго и одѣтъ довольно бѣдно. Послѣдняго, Ваню, я сперва было и не замѣтилъ: онъ лежалъ на землѣ, смирнехонько прикурнувъ подъ угловатую рогожу, и только изрѣдка выставлялъ изъ-подъ нея свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лѣтъ семь.

И такъ, я лежалъ подъ кустикомъ въ сторонѣ и поглядывалъ на мальчиковъ. Небольшой котельчикъ висѣлъ надъ однимъ изъ огней; въ немъ варились „картошки“. Павлуша наблюдалъ за нимъ и, стоя на колѣняхъ, тыкалъ щепкой въ закипавшую воду. Одея лежалъ, опершись на локоть и раскинувъ полы своего армяка. Ильюша сидѣлъ рядомъ съ Костей и все-также напряженно щурился. Костя понурилъ немного голову и глядѣлъ куда-то вдаль. Ваня не шевелился подъ своей рогожей. Я притворился спящимъ. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о томъ и семъ, о завтрашнихъ работахъ, о лошадяхъ; но вдругъ Одея обратился къ Ильюшѣ и, какъ-бы возобновля прерванный разговоръ, спросилъ его:

— Ну, и что-жъ ты, такъ и видѣлъ домового?

— Нѣтъ, я его не видалъ, да его и видѣть нельзя, отвѣчалъ Ильюша сильнымъ и слабымъ голосомъ, звукъ котораго какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ выраженію его лица: — а слышалъ.... Да и не я одинъ.

— А онъ у васъ гдѣ водится? спросилъ Павлуша.

— Въ старой рольнѣ*).

— А развѣ вы на фабрику ходите?

— Какже, ходимъ. Мы съ братомъ, съ Авдюшкой, въ лисовщикахъ состоимъ**).

— Вишь ты — фабричные!...

— Ну, такъ какъ же ты его слышалъ? спросилъ Одея.

— А вотъ какъ. Пришлось намъ съ братомъ Авдюшкой, да съ Оедоромъ Михѣевскимъ, да съ Ивашкой Косымъ, да съ другимъ Ивашкой, что съ Красныхъ Холмовъ, да еще съ Ивашкой Сухо-руковымъ, да еще были тамъ другіе ребята: всѣхъ было насъ ребятъ челоувѣкъ десять — какъ есть вся смѣна; но а пришлось намъ въ

*) „Рольней“ или „черпальной“ на бумажныхъ фабрикахъ называется то строеніе, гдѣ въ чанахъ вычерпываютъ бумагу. Она находится у самой плотины, подъ лесомъ.

***) „Лисовщики“ гладятъ, скоблятъ бумагу.

рольнѣ заночевать, то есть не то, чтобы этакъ пришлось, а Назаровъ, надсмотрщикъ, запретилъ: говорить, что, молъ, вамъ, ребятамъ, домой таскаться; завтра работы много, такъ вы, ребята, домой не ходите. Вотъ мы остались и лежимъ всѣ вмѣстѣ, и зачалъ Авдюшка говорить, что, молъ, ребята, ну, какъ домовой прійдетъ?... И не успѣлъ онъ, Авдей-то, проговорить, какъ вдругъ кто-то надъ головами у насъ и заходилъ; но а лежали-то мы внизу, а заходилъ онъ наверху, у колеса. Слышимъ мы: ходитъ, доски подъ нимъ такъ и гнутся, такъ и трещать; вотъ прошелъ онъ черезъ наши головы; вода вдругъ по колесу какъ зашумитъ, зашумитъ; застучитъ, застучитъ колесо, завертится; но а заставки у дворца-то*) спущены. Дивимся мы: — кто-жъ это ихъ поднялъ, что вода пошла; однако, колесо повертѣлось, повертѣлось да и стало. Пошелъ тотъ опять къ двери наверху, да по лѣстницѣ спускаться сталъ, и этакъ спускается, словно не тороится; ступеньки подъ нимъ такъ даже и стонуть.... Ну, подошелъ тотъ къ нашей двери, подождалъ, подождалъ, — дверь вдругъ вся такъ и распахнулась. Всполохнулись мы, посмотримъ —

*) „Дворцомъ“ называется у насъ мѣсто, по которому вода бѣжитъ на колесо.

ничего.... Вдругъ, глядь, у одного чана форма *) зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этакъ по воздуху, словно кто ей поло-скалъ, да и опять на мѣсто. Потомъ у другого чана крюкъ снялся съ гвоздя, да опять на гвоздь; потомъ будто кто-то къ двери пошелъ, да вдругъ какъ закашляеть, какъ заперхаетъ, словно овца какая, да зычно такъ.... Мы всѣ такъ ворохомъ и свалились, другъ подъ дружку полѣзли.... Ужь какже мы напужались о ту пору!

— Вишь, какъ! промолвилъ Павелъ. Чего-жъ онъ раскашлялся?

— Не знаю; можетъ, отъ сырости.

Всѣ помолчали.

— А что, спросилъ Федя: — картошки сварились?

Павлуша пощупалъ ихъ.

— Нѣтъ, еще сыры.... Вишь, плеснула, прибавилъ онъ, повернувъ лицо въ направлениі рѣки: — должно быть, щука.... А вонъ звѣздочка покатилась.

— Нѣтъ, я вамъ что, братцы, расскажу, загорилъ Костя тонкимъ голоскомъ: — послушайте, намеднись что тятя при мнѣ рассказывалъ.

*) Сѣтка, которой бумагу черпають.

— Ну, слушаемъ, съ покровительствующимъ видомъ сказалъ Одея.

— Вы, вѣдь, знаете Гаврилу, слободскаго плотника?

— Ну да, знаемъ.

— А знаете-ли, отчего онъ такой все невеселый, все молчить, знаете? Вотъ отчего онъ такой невеселый; пошелъ онъ разъ, тятенька говорилъ, пошелъ онъ, братцы мои, въ лѣсъ по орѣхи. Вотъ, пошелъ онъ въ лѣсъ по орѣхи да и заблудился; зашелъ, Богъ знаетъ куды зашелъ. Ужъ онъ ходилъ, ходилъ, братцы мои — нѣтъ! не можетъ найдти дороги; а ужъ ночь на дворѣ. Вотъ и присѣлъ онъ подъ дерево, давай, молъ, дождусь утра, — присѣлъ и задремалъ. Вотъ задремалъ и слышитъ вдругъ: кто-то его зоветъ. Смотритъ — никого. Онъ опять задремалъ, — опять зовутъ. Онъ опять глядитъ, глядитъ: а передъ нимъ на вѣтѣхъ русалка сидитъ, качается и его къ себѣ зоветъ, а сама помираетъ со смѣху, смѣется.... А мѣсяцъ-то свѣтитъ сильно, такъ сильно, явственно свѣтитъ мѣсяцъ, — все, братцы мои, видно. Вотъ зоветъ она его, и такая вся сама свѣтленькая, бѣленькая сидитъ на вѣтѣхъ, словно плотичка какая или пескаръ, — а то вотъ еще карась бываетъ такой бѣлесоватый, серебря-

ний.... Гаврила-то плотникъ такъ и обмеръ, братцы мои, а она, знай, хохочетъ, да его все къ себѣ эдакъ рукой зоветъ. Ужь Гаврило было и всталъ, послушался было русалки, братцы мои, да, зная, Господь его надоумилъ: положилъ-таки на себя крестъ.... А ужъ какъ ему было трудно крестъ-то класть, братцы мои, говоритъ: рука, просто, какъ каменная, не ворочается.... Ахъ, ты эдакой, а!... Вотъ, какъ положилъ онъ крестъ, братцы мои, русалочка-то и смѣяться перестала, да вдругъ какъ заплачетъ.... Плачетъ она, братцы мои, глаза волосами утираетъ, а волоса у нея зеленые, что твоя конопля. Вотъ, поглядѣлъ, поглядѣлъ на нее Гаврила, да и сталъ ее спрашивать: „чего ты, лѣсное зелье, плачешь?“ А русалка-то какъ взговорить ему: „не крестить-ся-бы тебѣ“, говоритъ, „человѣче, жить-бы тебѣ со мной на веселіи до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся-же и ты до конца дней.“ Тутъ она, братцы мои, пропала, а Гаврилъ тотчасъ и понятственно стало, какъ ему изъ лѣсу, что есть, выйти.... А только съ тѣхъ поръ вотъ въ все невеселый ходить.

— Эка! проговорилъ Федя послѣ недолгаго олчанья: — да какже это можетъ такая лѣсная

нечистъ христіанскую душу спортить, — онъ-же ея не послушался?

— Да вотъ, поди ты! сказалъ Костя. И Гаврила баилъ, что голосокъ, мошь, у ней такой тоненькій, жалобный, какъ у жабы.

— Твой батька самъ это рассказывалъ? продолжалъ Оеда.

— Самъ. Я лежалъ на полатяхъ, все слышалъ.

— Чудное дѣло! Чего ему быть невеселымъ?... А знать онъ ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! подхватилъ Ильюша. Какже! защекотать она его хотѣла, вотъ что она хотѣла. Это ихнее дѣло, этихъ русалокъ-то.

— А, вѣдь, вотъ и здѣсь должны быть русалки, замѣтилъ Оеда.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Костя: — здѣсь мѣсто чистое, вольное. Одно, — рѣка близко.

Всѣ смолкли. Вдругъ, гдѣ-то въ отдаленіи, раздался протяжный, звенящій, почти стелющій звукъ, одинъ изъ тѣхъ непонятныхъ ночныхъ звуковъ, которые возникаютъ иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоятъ въ воздухѣ и медленно разносятся наконецъ, какъ бы замирая. Прислушаешься, — и какъ-будто нѣтъ ничего, а звенить. Казалось, кто-то долго, долго

прокричалъ подѣ самымъ небосклономъ, кто-то другой какъ-будто отозвался ему въ лѣсу тонкимъ, острымъ хохотомъ, и слабый, шипящій свистъ промчался по рѣкѣ. Мальчики переглянулись, вздрогнули....

— Съ нами крестная сила! шепнулъ Ильи.

— Эхъ вы, вороны! крикнулъ Павелъ: — чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Всѣ пододвинулись къ котельчику и начали ѣсть дымящійся картофель; одинъ Ваня не шевельнулся.) Что-же ты? сказалъ Павелъ.

Но онъ не вылѣзъ изъ-подъ своей рогожи. Котельчикъ скоро весь опорожнился.

— А слышали вы, ребята, началъ Ильюша: — что намерднись у насъ на Варнавицахъ произошло?

— На плотинѣ-то? спросилъ Федя.

— Да, да, на плотинѣ, на прорванной. Вотъ ужъ нечистое мѣсто, такъ нечистое, и глухое такое. Кругомъ все такіе буераки, овраги, а въ оврагахъ все казюли*) водятся.

— Ну что такое случилось? сказывай....

— А вотъ-что случилось. Ты, можетъ быть,

*) По Орловскому: змѣи.

Оедя, не знаешь, а только тамъ у насъ утопленникъ похороненъ; а утопился онъ давнымъ-давно, какъ прудъ еще былъ глубокъ; только могила его еще видна, да и та чуть видна: такъ — буторочекъ.... Вотъ, на дняхъ зоветъ прикащикъ псаря Ермила: говорить, ступай, молъ, Ермилъ, на пошту. Ермилъ у насъ завсегда на пошту ѣздитъ; собакъ-то онъ всѣхъ своихъ поморилъ: не живутъ онѣ у него отчего-то, такъ-таки никогда и не жили, а псарь онъ хорошій, всѣмъ взялъ. Вотъ поѣхалъ Ермилъ за поштою, да и замѣшкался въ городѣ, но а ѣдетъ назадъ ужъ онъ хмѣленъ. А ночь и свѣтлая ночь: мѣсяцъ свѣтитъ!... Вотъ и ѣдетъ Ермилъ черезъ плотину: такая ужъ его дорога вышла. Ёдетъ онъ эдакъ, псарь Ермилъ, и видитъ у утопленника на могилѣ барашекъ, бѣлый такой, вудрявый, хорошенькій, похаживаетъ. Вотъ и думаетъ Ермилъ: сѣмъ возьму его, — что ему такъ пропадать, да и слѣзъ, и взялъ его на руки.... Но а барашекъ — ничего. Вотъ идетъ Ермилъ въ лошади, а лошадь отъ него таращится, храпитъ, головой трясетъ; однако, онъ ее отпрукалъ, сѣлъ на нее съ барашкомъ и поѣхалъ опять: барашка передъ собой держитъ. Смотритъ онъ на него, и барашекъ ему прямо въ глаза такъ и глядитъ.

Жутко ему стало, Ермилу-то псарю, что, молъ, не помню я, чтобы эдакъ бараны кому въ глаза смотрѣли; однако, ничего, сталъ онъ его эдакъ по шерсти гладить, — говорить: „бяша, бяша!“ А баранъ-то вдругъ какъ оскалить зубы, да ему тоже: „бяша, бяша“....

Не успѣвъ разскащикъ произнести это послѣднее слова, какъ вдругъ обѣ собаки разомъ поднялись, съ судорожнымъ лаемъ ринулись прочь отъ огня и исчезли во мракѣ. Всѣ мальчишки перепугались. Ваня выскочилъ изъ-подъ своей рогожи. Павлуша съ крикомъ бросился вслѣдъ за собаками. Лай ихъ быстро удалялся.... Послышалась безпокойная бѣготня встревоженнаго табуна. Павлуша громко кричалъ: „Сѣрый! Жучка!“... Черезъ нѣсколько мгновений лай замолкъ; голосъ Павла принеся уже издалека.... Прошло еще немного времени; мальчишки съ недоумѣніемъ переглядывались, какъ-бы выжидая, что-то будетъ.... Внезапно раздался топотъ скачущей лошади; круто остановилась она у самого востра и, уцѣпившись за гриву, проворно прыгнулъ съ нея Павлуша. Обѣ собаки также вскочили въ кружокъ свѣта и тотчасъ сѣли, высунувъ красные языки.

— Что тамъ? что такое? спросили мальчишки.

— Ничего, отвѣчалъ Павелъ, махнувъ рукой на лошадь: — такъ, что-то собаки зачужали. Я думалъ волкъ, прибавилъ онъ равнодушнымъ голосомъ, проворно дыша всей грудью.

Я невольно любовался Павлушей. Онъ былъ очень хорошъ въ это мгновеніе. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ѣздой, горѣло смѣлой удаleyю и твердой рѣшимостью. Безъ хвостинки въ рукѣ, ночью, онъ нисколько не колебался, поскакалъ одинъ на волка.... „Что за славный мальчишъ!“ думалъ я, глядя на него.

— А видали ихъ, что-ли, волковъ-то? спросилъ трусишка Костя.

— Ихъ всегда здѣсь много, отвѣчалъ Павелъ: да они безпокойны только зимой.

Онъ опять прикорнулъ передъ огнемъ. Сидя на землѣ, уронилъ онъ руку на мохнатый затылокъ одной изъ собакъ, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, съ признательной гордостью поглядывая съ боку на Павлушу.

Ваня опять забился подъ рогожку.

— А какіе ты намъ, Илюшка, страхи рассказывалъ, заговорилъ Федя, которому, какъ сыну богатаго крестьянина, приходилось быть запѣва-

лой (самъ-же онъ говорилъ мало, какъ бы боясь уронить свое достоинство). Да и собакъ тутъ нелегкая дернула залаять. А точно, я слышалъ, это мѣсто у васъ нечистое.

— Варнавицы?... Еще бы! еще какое нечистое! Тамъ не разъ, говорятъ, стараго барина видали — покойнаго барина. Ходить, говорятъ, въ кафтанѣ долгополомъ и все эдакъ охаетъ, чего-то на землѣ ищетъ. Его разъ дѣдушка Трофимычъ повстрѣчалъ. — Что, молъ, батюшка, Иванъ Ивановичъ, изволишь искать на землѣ?

— Онъ его спросилъ? перебилъ изумленный Одея.

— Да, спросилъ.

— Ну, молодецъ-же послѣ этого Трофимычъ... Ну, и что-жь тотъ?

— Разрывъ-травы, говорить, ищу. Да такъ глухо говорить, глухо — разрывъ-травы.

— А на что тебѣ, батюшка Иванъ Ивановичъ, разрывъ-травы?

— Давить, говорить, могила давить, Трофимычъ: вонъ хочется, вонъ...

— Вить какой! замѣтилъ Одея: — мало, знать, пожилъ.

— Экое диво! промолвилъ Костя: — я думалъ,

покойниковъ можно только въ родительскую субботу видѣть.

— Покойниковъ во всякъ часъ видѣть можно, съ увѣренностью подхватилъ Ильюша, который, сколько я могъ замѣтить, лучше другихъ зналъ всѣ сельскія повѣрья... Но а въ родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кѣмъ, то-есть, въ томъ году очередь помирать. Стоитъ только ночью сѣсть на паперть на церковную да все на дорогу глядѣть. Тѣ и пойдутъ мимо тебя по дорогѣ, кому, то-есть, умирать въ томъ году. Вотъ у насъ въ прошломъ году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну и видѣла она кого-нибудь? съ любопытствомъ спросилъ Костя.

— Какже. Перво-на-перво она сидѣла долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все какъ-будто собачка эдакъ залааетъ, залааетъ гдѣ-то.... Вдругъ, смойрить: идетъ по дорожке мальчикъ въ одной рубашенѣ. Она приглянулась — Ивашка Федосѣевъ идетъ....

— Тотъ, что умеръ весной? перебилъ Федя.

— Тотъ самый. Идетъ и головушки не подымаетъ.... А узнала его Ульяна.... Но, а потомъ смотреть: баба идетъ. Она вглядывается,

вглядывается, — ахъ, ты, Господи! — сама идетъ по дорогѣ, сама Ульяна.

— Неужто сама? спросилъ Ѳедя.

— Ей-Богу, сама.

— Ну чтò-жь, вѣдь, она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: въ чемъ душа держится.

Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ сучьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отраженіе свѣта ударило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно кверху. Вдругъ откуда ни возмись бѣлый голубокъ, — налетѣлъ прямо въ это отраженіе, пугливо повертѣлся на одномъ мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня крылами.

— Знать отъ дому отбился, замѣтилъ Павелъ. Теперь будетъ летѣть, куда на чтò наткнется, и гдѣ ткнетъ, тамъ и ночуетъ до зари.

— А чтò, Павлуша, промолвилъ Костя: — не правѣдная-ли это душа летѣла на небо, ась?

Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь.

— Можетъ быть, проговорилъ онъ наконецъ.

— А скажи, пожалуй, Павлуша, началъ Ѳедя:

— что у васъ тоже въ Шалашовѣ было видать предвидѣнье-то небесное*)?

— Какъ солнца-то не стало видно? Какже.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Баринъ-то нашъ, хоша и толковалъ намъ напередки, что, дескать, будетъ вамъ предвидѣнье, а какъ затемнѣло, самъ, говорятъ, такъ перетрусился, что на-поди. А на дворовой избѣ баба стряпуха, такъ-та, какъ только затемнѣло, слышь, взяла да ухватомъ всѣ горшки перебила въ печи: „кому теперь ѣсть“, говоритъ, „наступило свѣтопреставленіе.“ Такъ шти и потекли. А у насъ на деревнѣ такіе, братъ, слухи ходили, что, молъ, бѣлые волки по землѣ побѣгутъ, людей ѣсть будутъ, хищная птица полетитъ, а то и самого Тришку**) увидятъ.

— Какого это Тришку? спросилъ Костя.

— А ты не знаешь? съ жаромъ подхватилъ Ильюша: — ну, братъ, откентелева-же ты, что Тришки не знаешь? Сидни-же у васъ въ деревнѣ сидятъ, вотъ ужъ точно сидни! Тришка — эвто будетъ такой человѣкъ удивительный, который прійдетъ, а прійдетъ онъ такой удивительный

*) Такъ мужики называютъ у насъ солнечное затмѣніе.

**) Въ повѣрьи о „Тришкѣ“, вѣроятно, отозвалось сказаніе объ Антихристѣ.

человѣкъ, что его и взять нельзя будетъ, и ничего ему сдѣлать нельзя будетъ: такой ужъ будетъ удивительный человѣкъ. Захотятъ его, на-примѣръ, взять, крестьяне: выйдутъ на него съ дубьемъ, одѣлать его, но а онъ имъ глаза отве-детъ — такъ ответитъ имъ глаза, что они же сами другъ друга побьютъ. Въ острогъ его по-садутъ, на-примѣръ, — онъ попроситъ водицы испить въ ковшиѣ: ему принесутъ ковшиѣ, а онъ нырнетъ туда, да и поминай какъ звали. Цѣпи на него надѣнутъ, а онъ въ ладошки за-трепещется — они съ него такъ и падаютъ. Ну, и будетъ ходить этотъ Тришка по селамъ да по городамъ; и будетъ этотъ Тришка, лукавый человѣкъ, соблазнять народъ хрестіанскій;... ну а сдѣлать ему нельзя будетъ ничего.... Ужъ такой онъ будетъ удивительный, лукавый человѣкъ.

— Ну да, продолжалъ Павелъ своимъ нето-ропливымъ голосомъ: — такой. Вотъ его-то и ждали у насъ. Говорили старики, что вотъ, молъ, какъ только предвидѣнье небесное зачнется, такъ Тришка и прійдетъ. Вотъ и зачалось предви-дѣнье. Высыпалъ весь народъ на улицу, въ поле, ждетъ, что будетъ. А у насъ, вы знаете, мѣсто видное, привольное. Смотрать — вдругъ отъ Слободки съ горы идетъ какой-то человѣкъ,

такой мудреный, голова такая удивительная.... всѣ какъ крикнуть: „ой, Тришка идетъ! ой, Тришка идетъ!“ да кто куды. Староста нашъ въ канаву залѣзъ; старостиха въ подворотнѣ застряла, благимъ матомъ кричить, свою-же дворную собаку такъ запужала, что та съ цѣпи долой, да черезъ плетень, да въ лѣсъ; а Кузькинъ отецъ, Дорофѣичъ, вскочилъ въ овесъ; присѣлъ, да и давай кричать перепѣломъ: „авось, мошь, хоть птицу-то врагъ, душегубецъ, пожалѣеть.“ Таково-то всѣ переполошились!... А человѣкъ-то это шелъ нашъ бочаръ, Вавила: жбанъ себѣ новый купилъ, да на голову пустой жбанъ и надѣлъ.

Всѣ мальчики засмѣялись и опять приумолкли на мгновенье, какъ это часто случается съ людьми, разговаривающими на открытомъ воздухѣ. Я поглядѣлъ кругомъ: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свѣжесть позднего вечера смѣнила полночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягкимъ пологомъ на заснувшихъ поляхъ; еще много времени оставалось до первого лепета, до первыхъ росинокъ зари. Луны не было на небѣ: она въ ту пору поздно выходила. Безчисленные, золотыя звѣзды, казалось, тихо текли всѣ, наперерывъ мерцая, по направленію

млечнаго пути, и, право, глядя на нихъ, вы какъ будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бѣгъ земли... Странный, рѣзкій, болѣзненный крикъ раздался вдругъ два раза сряду надъ рѣкой и, спустя нѣсколько мгновений, повторился уже далѣе....

Костя вздрогнулъ.... „Что это?“

— Это цапля кричитъ, спокойно возразилъ Павелъ.

— Цапля, повторилъ Костя.... А что такое, Павлуша, я вчера слышалъ вечеромъ, прибавилъ онъ, помолчавъ немного: — ты, можетъ быть, знаешь....

— Что ты слышалъ?

— А вотъ что я слышалъ. Шелъ я изъ Каменной Гряды въ Шашкино; а шелъ сперва все нашимъ орѣшникомъ, а потомъ лужкомъ пошелъ — знаешь, тамъ, гдѣ онъ сугибелью*) выходить, — тамъ, вѣдь, есть бучило**); знаешь, оно еще все камышомъ заросло; вотъ, пошелъ я мимо этого бучила, братцы мои, и вдругъ изъ того-то бучила какъ застонетъ кто-то, да такъ

*) Сугибель — крутой поворотъ въ оврагѣ.

**) Бучило — глубокая яма съ весенней водой, оставшейся послѣ половодья, которая не пересыхаетъ даже лѣтомъ.

жалостливо, жалостливо: у-у.... у-у.... у-у!
 Страхъ такой меня взялъ, братцы мои: время-то позднее, да и голосъ такой болѣзненный. Такъ вотъ, кажется, самъ-бы и заплакалъ.... Чтѣ-бы это такое было? ась?

— Въ этомъ бучилѣ, въ запрошломъ лѣтѣ, Акима лѣсника утопили воры, замѣтилъ Павлуша: — такъ, можетъ быть, его душа жалобится.

— А, вѣдь, и то, братцы мои, возразилъ Костя, расширивъ свои и безъ того огромные глаза.... Я и не зналъ, что Акима въ томъ бучилѣ утопили: я-бы еще не такъ напужался.

— А то, говорятъ, есть такія лягушки махонькія, продолжалъ Павелъ: — которыя такъ жалобно кричатъ.

— Лягушки? ну, нѣтъ, это не лягушки.... какія это.... (Цапля опять прокричала надъ рѣкой.) Экъ ее! невольно произнесъ Костя: — словно лѣшій кричитъ.

— Лѣшій не кричитъ, онъ нѣмой, подхватилъ Ильяша: — онъ только въ ладоши хлопаетъ да трещитъ....

— А ты его видалъ, лѣшаго-то, что-ли? насмѣшливо перебилъ его Одея.

— Нѣтъ не видалъ, и сохрани Богъ его видѣть; но а другіе видѣли. Вотъ на дняхъ

онъ у насъ мужичка обошелъ: водилъ, водилъ его по лѣсу, и все вокругъ одной поляны.... Едва-те къ свѣту домой добился.

— Ну, и видѣлъ онъ его?

— Видѣлъ. Говорить, такой стоять большой, большой, темный, скутанный эдакъ, словно за деревомъ, хорошенько не разберешь, словно отъ мѣсяца прячется, и глядитъ, глядитъ глазищами-то, моргаетъ ими, моргаетъ....

— Эхъ-ты! воскликнулъ Оеда, слегка вздрогнувъ плечами: — пфу!...

— И зачѣмъ эта погань въ свѣтѣ развелась? замѣтилъ Павелъ! — не понимаю.

— Не бранись: смотри, услышитъ, замѣтилъ Илья.

Настало опять молчаніе.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, раздался вдругъ дѣтскій голосъ Вани: — гляньте на Божьи звѣздочки, — что пчелки роятся!

Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ-подъ рогожи, оперся на кулачокъ и медленно поднялъ кверху свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и нескоро опустились.

— А что, Ваня, ласково заговорилъ Оеда: — что твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова, отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходить?...

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

— А мнѣ дашь?

— И тебѣ дамъ?

Ваня вздохнулъ.

— Ну, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая.

И Ваня опять положилъ свою головку на землю. Павелъ всталъ и взялъ въ руку пустой котельчикъ.

— Куда ты? спросилъ его Одея.

— Къ рѣкѣ, водицы зачерпнуть: водицы захотѣлось испить.

Собаки поднялись и пошли за нимъ.

— Смотри, не упади въ рѣку! крикнулъ ему вслѣдъ Ильюша.

— Отчего ему упасть? сказалъ Одея; — онъ остережется.

Да, остережется. Всяко бываетъ: онъ вотъ нагнется, станетъ черпать воду, а водяной его за руку схватитъ да потащитъ къ себѣ. Станутъ

потомъ говорить: упалъ, дескать, малый въ воду.... А какое упалъ?... Во-вонъ, въ камыши полѣзъ, прибавилъ онъ, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, „шуршали“, какъ говорится у насъ.

— А правда-ли, спросилъ Костя: — что Акулина дурочка съ тѣхъ поръ и рехнулась, какъ въ водѣ побывала?

— Съ тѣхъ поръ.... Какова теперь! Но а, говорятъ, прежде красавица была. Водяной ее испортилъ. Знать, не ожидалъ, что ее скоро вытащутъ. Вотъ онъ ее, тамъ у себя на днѣ, и испортилъ.

(Я самъ не разъ встрѣчалъ эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, съ чернымъ какъ уголь лицомъ, помутившимся взоромъ и вѣчно оскаленными зубами, топчется она по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ, гдѣ нибудь на дорогѣ, крѣпко прижавъ костлявыя руки къ груди и медленно переваливаясь съ ноги на ногу, словно дикій звѣрь въ клѣткѣ. Она ничего не понимаетъ, что бы ей ни говорили, и только изрѣдка судорожно хохочетъ.)

— А, говорятъ, продолжалъ Костя: — Акулина оттого въ рѣку и кинулась, что ее любовникъ обманулъ.

— Оттого самого.

— А помнишь Васю? печально прибавилъ Костя.

— Какого Васю? спросилъ Оеда.

— А вотъ того, что утонулъ, отвѣчалъ Костя:
— въ этой вотъ въ самой рѣкѣ. Ужъ какой-же мальчикъ былъ! ихъ, какой мальчикъ былъ! Мать-то его, Оеклиста, ужъ какъ-же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Оеклиста-то, что ему отъ воды гибель произойдетъ. Бывало, пойдетъ-отъ Вася съ нами, съ ребятами, лѣтомъ, въ рѣчку купаться, — она такъ вся и встре-пещится. Другія бабы ничего, идутъ себѣ мимо съ корытами, переваливаются, а Оеклиста поста-вить корыто на земь и станетъ его кликать: „вернись, молъ, вернись, мой свѣтиль! охъ, вернись, соколикъ!“ — И какъ утонулъ, Господь знаетъ. Игралъ на бережку, и мать тутъ-же была, сѣно сгребала; вдругъ слышитъ, словно кто пу-зыри по водѣ пускаетъ, — глядь, а только ужъ одна Васина шапонька по водѣ плыветъ. Вѣдь, вотъ съ тѣхъ поръ и Оеклиста не въ своемъ умѣ: — прійдетъ да и ляжетъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ утопъ; ляжетъ, братцы мои, да и заты-нетъ пѣсенку, — по-мните, Вася-то все таку пѣсенку пѣвалъ, — вотъ ее-то она и затынетъ,

а сама плачетъ, плачетъ, горько Богу жалится....

— А вотъ Павлуша идетъ, молвилъ Оедя.

Павель подошелъ къ огню съ полнымъ котельчикомъ въ рукѣ.

— Чтò, ребята, началъ онъ, помолчавъ: — неладно дѣло.

— А чтò? торопливо спросилъ Костя.

— Я Васинъ голосъ слышалъ.

Всѣ такъ и вздрогнули.

— Чтò ты, чтò ты? проленеталъ Костя.

— Ей-Богу. Только сталъ я къ водѣ нагибаться, слышу вдругъ, зовутъ меня этакъ Васинымъ голоскомъ и словно изъ-подъ воды: „Павлуша, а, Павлуша, подь сюда.“ Я отошелъ. Однако, воды зачерпнулъ.

— Ахъ ты, Господи! ахъ ты, Господи! проговорили мальчики, крестясь.

— Вѣдь, это тебя водяной звалъ, Павель, прибавилъ Оедя.... А мы только-что о немъ, о Васѣ-то говорили.

— Ахъ, это примѣта дурная, съ разстановкой проговорилъ Ильюша.

— Ну, ничего, пушай! произнесъ Павель рѣшительно и сѣлъ опять: — своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на нихъ глубокое впечатлѣніе. Они стали укладываться передъ огнемъ, какъ-бы собираясь спать.

— Что это? спросилъ вдругъ Костя, приподнявъ голову.

Павелъ прислушался.

— Это кулички летять, посвистываютъ.

— Куда-жь они летять?

— А туда, гдѣ, говорятъ, зимы не бываетъ.

— А развѣ есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнулъ и закрылъ глаза.

Уже болѣе трехъ часовъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ я присосѣдился къ мальчикамъ. Мѣсяцъ взошелъ наконецъ; я его не тотчасъ замѣтилъ: такъ онъ былъ малъ и узокъ. Эта безлунная ночь, казалось, была все также великолѣпна, какъ и прежде.... Но уже склонились къ темному краю земли многія звѣзды, еще недавно высоко стоявшія на небѣ; все совершенно затихло кругомъ, какъ обыкновенно затихаетъ все только къ утру: все спало крѣпкимъ, неподвижнымъ, передразвѣтнымъ сномъ. Въ воздухъ уже не

такъ сильно пахло, — въ немъ снова какъ-будто разливалась сырость.... Не долги лѣтнія ночи!... Разговоръ мальчиковъ угасалъ вмѣстѣ съ огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я могъ различить, при чуть-брезжащемъ, слабо-лющемся свѣтѣ звѣздъ, тоже лежали, понутивъ головы.... Слабое забытье напало на меня; оно перешло въ дремоту.

Свѣжая струя пробѣжала по моему лицу. Я открылъ глаза: — утро начиналось. Еще нигдѣ не румянилась заря, но уже заблѣлось на востока. Все стало видно, хотя смутно видно, кругомъ. Блѣдно-сѣрое небо свѣтлѣло, холодѣло, синѣло; звѣзды то мигали слабымъ свѣтомъ, то исчезали; отсырѣла земля, запотѣли листья, кой-гдѣ стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкій, ранній вѣтерокъ уже пошелъ бродить и порхать надъ землею. Тѣло мое отвѣтило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно всталъ и пошелъ къ мальчикамъ. Они всѣ спали какъ убитые вокругъ тлѣющаго костра; одинъ Павелъ приподнялся до половины, и пристально поглядѣлъ на меня.

— Я кивнулъ ему головой и пошелъ во свояси, вдоль задымившейся рѣки. Не успѣлъ я отойти двухъ верстъ, какъ уже полились кругомъ меня

по широкому мокрому лугу, и спереди по зазелѣвшимъ холмамъ, отъ лѣсу до лѣсу, и сзади по длинной, пыльной дорогѣ, по сверкающимъ, обограннымъ кустамъ, и по рѣкѣ, стыдливо синѣвшей изъ-подъ рѣдѣющаго тумана — полились сперва алые, потомъ красные, золотые потоки молодого, горячаго свѣта.... Все зашевелилось, проснулось, запѣло, зашумѣло, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зардѣлись крупныя капли росы; мнѣ навстрѣчу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, пронеслись звуки колокола, и вдругъ, мимо меня погоняемый знакомыми мальчижами, промчался отдохнувшій табунъ....

Я, къ сожалѣнію, долженъ прибавить, что въ томъ-же году Павла не стало. Онъ не утонулъ: онъ убился, упавъ съ лошади. Жаль, славный былъ парень!

КАСЬЯНЪ СЪ КРАСИВОЙ МЕЧИ.

Я возвращался съ охоты въ тряской телѣжкѣ и, подавленный душнымъ зноемъ лѣтняго облачнаго дня (извѣстно, что въ такіе дни жара бываетъ иногда еще несноснѣе, чѣмъ въ ясные, особенно, когда нѣтъ вѣтра), дремалъ и покачивался, съ угрюмымъ терпѣніемъ, предавая всего себя на съѣденіе мелкой, бѣлой пыли, безпрестанно поднимавшейся съ выбитой дороги изъ-подъ разсохшихъ и дребезжавшихъ колесъ, — какъ вдругъ вниманіе мое было возбуждено необыкновеннымъ безпокойствомъ и тревожными тѣлодвиженіями моего кучера, до этого мгновенія еще крѣпче дремавшего, чѣмъ я. Онъ задергалъ возжами, завозился на облучкѣ и началъ покрикивать на лошадей, то-и-дѣло поглядывая куда-то въ сторону. Я осмотрѣлся. Мы ѣхали по широкой аспаханной равнинѣ; чрезвычайно пологими,

волнообразными раскатами сбѣгали въ нее невысокіе, тоже распаханые холмы; взоръ обнималъ всего какихъ-нибудь пять верстъ пустыннаго пространства: вдали — небольшія березовыя рощи своими округленно-зубчатыми верхушками однѣ нарушали почти прямую черту небосклона. Узкія тропинки тянулись по полямъ, пропадали въ ложинкахъ, вились по пригоркамъ, и на одной изъ нихъ, которой въ пяти-стахъ шагахъ впереди отъ насъ приходилось пересѣкать нашу дорогу, различилъ я какой-то поѣздъ. На него-то поглядывалъ мой кучеръ.

Это были похороны. Впереди телѣги, запряженной одной лошадкой, шагомъ ѣхалъ священникъ; дьячокъ сидѣлъ возлѣ него и правилъ; за телѣгой четыре мужика, съ обнаженными головами, несли гробъ, покрытый бѣлымъ полотномъ; двѣ бабы шли за гробомъ. Тонкій, жалобный голосокъ одной изъ нихъ вдругъ долетѣлъ до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустыхъ полей этотъ переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напѣвъ. Кучеръ погналъ лошадей: онъ желалъ предупредить этотъ поѣздъ. Встрѣтить на дорогѣ покойника — дурная примѣта. Ему дѣйствительно удалось проскакать по дорогѣ прежде

чѣмъ покойникъ успѣлъ добраться до нея; но мы еще не отъѣхали и ста шаговъ, какъ вдругъ нашу телѣгу сильно толкнуло: она накренилась, чуть не завалилась. Кучеръ остановилъ разбѣжавшихся лошадей, махнулъ рукой и плюнулъ.

— Что тамъ такое? спросилъ я.

Кучеръ мой слѣзъ молча и не торопясь.

— Да что такое?

— Ось сломалась.... перегорѣла, мрачно отвѣчалъ онъ, и съ такимъ негодованіемъ поправилъ вдругъ шлею на пристяжной, что та совсѣмъ покачнулась — было на бокъ, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себѣ зубомъ ниже колѣна передней ноги.

Я слѣзъ и постоялъ нѣкоторое время на дорогѣ, смутно предаваясь чувству непріятнаго недоумѣнія. Правое колесо почти совершенно подвернулось подъ телѣгу и, казалось, съ нѣмымъ отчаяніемъ поднимало кверху свою ступицу.

— Что теперь дѣлать? спросилъ я наконецъ.

— Вонъ кто виноватъ! сказалъ мой кучеръ, указывая кнутомъ на поѣздъ, который успѣлъ уже свернуть на дорогу и приближался къ намъ: — ужъ я всегда это замѣчалъ, продолжалъ онъ: — это примѣта вѣрная — встрѣтить покойника ... Да.

И онъ опять обезпокоилъ пристяжную, которая, видя его нерасположеніе и суровость, рѣшилась остаться неподвижною, и только изрѣдка и скромно помахивала хвостомъ. Я походилъ немного взадъ и впередъ и опять остановился передъ колесомъ.

Между-тѣмъ покойникъ нагналъ насъ. Тихо свернувъ съ дороги на траву, потянулось мимо нашей телѣги печальное шествіе. Мы съ кучеромъ сняли шапки, раскланялись съ священникомъ, переглянулись съ носильщиками. Они выступали съ трудомъ; высоко подымались ихъ широкія груди. Изъ двухъ бабъ, шедшихъ за гробомъ, одна была очень стара и блѣдна; неподвижныя ея черты, жестоко искаженныя горестью, хранили выраженіе строгой, торжественной важности. Она шла молча, изрѣдка поднося худую руку къ тонкимъ, ввалившимся губамъ. У другой бабы, молодой женщины лѣтъ двадцати-пяти, глаза было красны и влажны, и все лицо опухло отъ плача; поровнявшись съ нами, она перестала голосить и закрылась рукавомъ.... Но вотъ покойникъ миновалъ насъ, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ея жалобное, надрывающее душу пѣніе. Безмолвно проводивъ

глазами мѣрно колыхавшійся гробъ, кучеръ мой обратился ко мнѣ.

— Это Мартына плотника хоронять, заговорилъ онъ: — что съ Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабамъ узналъ. Старая-то его мать, а молодая — жена.

— Онъ боленъ былъ, что-ли?

— Да.... горячка.... Третьяго дня за дохтуромъ посылалъ управляющій, да дома дохтура не застали.... А плотникъ былъ хорошій; зашибалъ маненько, а хорошій былъ плотникъ. Вишь баба-то его какъ убивается.... Ну, да, вѣдь, извѣстно: у бабъ слезы-то некупленные. Бабьи слезы таже вода.... Да.

— И онъ нагнулся, пролѣзъ подъ поводомъ пристяжной и ухватился обѣими руками за дугу.

— Однако, замѣтилъ я: — что-жь намъ дѣлать?

Кучеръ мой сперва уперся коленомъ въ плечо коренной, тряхнулъ раза два дугой, поправилъ сѣделку, потомъ опять пролѣзъ подъ поводомъ пристяжной и, толкнувъ ее мимоходомъ въ морду, подошелъ къ колесу — подошелъ и, не спуская съ него взора, медленно досталъ изъ-подъ полы кафтана тавлинку, медленно вытащилъ за реме-

шекъ крышку, медленно всунулъ въ тавлинку своихъ два толстыхъ пальца (и два-то едва въ ней умѣстились), помялъ-помялъ табакъ, пере-косилъ заранѣе носъ, понюхалъ съ разстановкой, сопровождая каждый приѣмъ продолжительнымъ кряхтѣніемъ, и, болѣзненно шурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился въ глубокое раздумье.

— Ну, что? проговорилъ я, наконецъ.

Кучеръ мой бережно вложилъ тавлинку въ карманъ, надвинулъ шляпу себѣ на брови, безъ помощи рукъ, однимъ движеніемъ головы, и задумчиво полѣзъ на облучекъ.

— Куда-же ты? спросилъ я его не безъ изумленія.

— Извольте садиться, спокойно отвѣчалъ онъ и подобралъ возжи.

— Да, какъ-же, мы поѣдемъ?

— Ужь поѣдемъ-съ.

— Да ось....

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась....

— Сломалась-то она, сломалась; ну а до выселокъ доберемся.... шагомъ, то есть. Тутъ вотъ за рощей направо есть выселки: Юдиними прозываются.

— И ты думаешь, мы дойдемъ?

Кучеръ мой не удостоилъ меня отвѣтомъ.

— Я лучше пѣшкомъ пойду, сказалъ я.

— Какъ угодно-съ....

И онъ махнулъ кнутомъ. Лошади тронулись.

Мы дѣйствительно добрались до выселковъ, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертѣлось. На одномъ пригоркѣ оно чуть-чуть не слетѣло; но кучеръ мой закричалъ на него озлобленнымъ голосомъ, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли изъ шести низенькихъ и маленькихъ избушекъ, уже успѣвшихъ скривиться набокъ, хотя ихъ, вѣроятно, поставили недавно; дворы не у всѣхъ были обнесены плетнемъ. Въѣзжая въ эти выселки, мы не встрѣтили ни одной живой души; даже куриць не было видно на улицѣ, даже собакъ; только одна, черная, съ кучымъ хвостомъ, торопливо выскочила при насъ изъ совершенно высохшаго корыта, куда ее должно быть загнала жажда, и тотчасъ, безъ лая, опрометью бросилась подъ ворота. Я зашелъ въ первую избу, отворилъ дверь въ сѣни, окликнулъ хозяевъ, — никто не отвѣчалъ мнѣ. Я кликнулъ еще разъ: голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я тол-

кнулъ ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнувъ во тѣмѣ зелеными глазами. Я всунуль голову въ комнату, посмотрѣль: темно, дымно и пусто. Я отправился на дворъ, и тамъ никого не было.... Въ загородѣ тленокъ промышчалъ; хромой, сѣрый гусь отковылялъ немного въ сторону. Я перешелъ во вторую избу, — и во второй избѣ ни души. Я на дворъ....

По самой серединѣ ярко освѣщеннаго двора, на самомъ, какъ говорится, припѣкѣ, лежалъ, лицомъ къ землѣ и накрывши голову армякомъ, какъ мнѣ показалось, мальчикъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, возлѣ плохой телѣженки, стояла, подѣ соломеннымъ навѣсомъ, худая лошаденка въ оборванной сбруѣ. Солнечный свѣтъ, падая струями сквозь узкія отверстія обветшалаго намета, пестрилъ небольшими свѣтлыми пятнами ея косматую красно-гнѣдую шерсть. Тутъ-же, въ высокой скворешницѣ болтали скворцы, съ спокойнымъ любопытствомъ поглядывая внизъ изъ своего воздушнаго домика. Я подошелъ къ спящему, началъ его будить....

Онъ поднялъ голову, увидалъ меня и тотчасъ вскочилъ на ноги.... „Что? что надо? что такое?“ забормоталъ онъ съ-просонья.

Я не тотчасъ ему отвѣтилъ: до того поразила

меня его наружность. Вообразите себѣ карлика лѣтъ пятидесяти съ маленькимъ, смуглымъ и сморщеннымъ лицомъ, острымъ носикомъ, карими, едва замѣтными, глазками и курчавыми, густыми, черными волосами, которые, какъ шляпка на грибѣ, широко сидѣли на крошечной его головкѣ. Все тѣло его было чрезвычайно щедушно и худо, и рѣшительно нельзя передать словами, до чего былъ необыкновененъ и страненъ его взглядъ.

— Что надо? спросилъ онъ меня опять.

Я объяснилъ ему, въ чемъ было дѣло; онъ слушалъ меня, не спуская съ меня своихъ медленно моргавшихъ глазъ.

— Такъ нельзя-ли намъ новую ось достать? сказалъ я наконецъ: — я-бы съ удовольствіемъ заплатилъ.

— А вы кто такія? охотники, что-ли спросилъ онъ, окинувъ меня взоромъ съ ногъ до головы.

— Охотники.

— Пташекъ небесныхъ стрѣляете, небось?... звѣрей лѣсныхъ?... И не грѣхъ вамъ Божьихъ пташекъ убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичекъ говорилъ очень протяжно. Вѣвукъ его голоса также изумилъ меня. Въ немъ не только не слышалось ничего дряхлаго, — онъ

былъ удивительно сладокъ, молодъ и почти женски нѣженъ.

— Оси у меня нѣтъ, прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія: — эта вотъ не годится (онъ указалъ на свою телѣжку), — у васъ, чай, телѣга большая.

— А въ деревнѣ найти можно?

— Какая тутъ деревня!... Здѣсь ни у кого нѣтъ.... Да и дома нѣтъ никого: всѣ на работѣ. Ступайте, промолвилъ онъ вдругъ, и легъ опять на землю.

Я никакъ не ожидалъ этого заключенія.

— Послушай, старикъ, заговорилъ я, коснувшись до его плеча: — сдѣлай одолженіе, помоги.

— Ступайте съ Богомъ! Я усталъ: въ городъ ѣздить, сказалъ онъ мнѣ, и потащилъ себѣ армякъ на голову.

— Да сдѣлай-же одолженіе, продолжалъ я: — я.... я заплачу.

— Не надо мнѣ твоей платы.

— Да пожалуй-ста, старикъ....

Онъ приподнялся до половины и сѣлъ, скрестивъ свои тонкія ножки.

— Я-бы тебя свелъ, пожалуй, на ссѣчки*).

*) Срубленное мѣсто въ лѣсу.

Тутъ у насъ купцы рощу купили, — Богъ имъ судья, изводятъ рощу-то, и контору выстроили, Богъ имъ судья. Тамъ-бы ты у нихъ ось и заказалъ, или готовую купилъ.

— И прекрасно! радостно воскликнулъ я. Прекрасно!... пойдѣмъ.

— Дубовую ось, хорошую, продолжалъ онъ, не поднимаясь съ мѣста.

— А далеко до тѣхъ ссѣчекъ?

— Три версты.

— Ну что-жъ! мы можемъ на твоей телѣжкѣ доѣхать.

— Да нѣтъ....

— Ну, пойдѣмъ, сказалъ я: — пойдѣмъ, старикъ! Кучеръ насъ на улицѣ дожидается.

Старикъ неохотно всталъ и вышелъ за мной на улицу. Кучеръ мой находился въ раздраженномъ состояніи духа: онъ собрался было попить лошадей, но воды въ колодцѣ оказалось чрезвычайно мало, и вкусъ ея былъ нехорошій, а это, какъ говорятъ кучера, первое дѣло.... Однако, при видѣ старика, онъ ослабился, закивалъ головой и воскликнулъ:

— А, Касьянушка? здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человѣкъ! отвѣчалъ Касьянъ унылымъ голосомъ.

Я тотчасъ сообщилъ кучеру его предложеніе; Ерофей объявилъ свое согласіе и въѣхалъ на дворъ. Пока онъ, съ обдуманной хлопотливостью, отпрягалъ лошадей, старикъ стоялъ, прилоняясь плечомъ къ воротамъ, и невесело посматривалъ то на него, то на меня. Онъ какъ-будто недоумѣвалъ: его, сколько я могъ замѣтить, неслишкомъ радовало наше внезапное посѣщеніе.

— А развѣ и тебя переселили? спросилъ его вдругъ Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Экъ! проговорилъ мой кучеръ сквозь зубы.
— А знаешь, Мартынъ-то плотникъ.... ты, вѣдь, Рябовскаго Мартына знаешь?

— Знаю.

— Ну, онъ умеръ. Мы сейчасъ его гробъ повстрѣчали.

Касьянъ вздрогнулъ.

— Умеръ? проговорилъ онъ и потупился.

— Да, умеръ. Что-жъ ты его не вылѣчилъ, а? Вѣдь, ты, говорятъ, лечишь: ты лѣкарка.

Мой кучеръ видимо потѣшался, глумился надъ старикомъ.

— А это твоя телѣга, что-ли? прибавилъ онъ, указывая на нее плечомъ.

— Моя.

— Ну, телѣга.... телѣга! повторилъ онъ, и, взявъ ее за оглобли, чуть не опрокинулъ верху дномъ.... Телѣга!... А на чемъ-же вы на ссѣчки поѣдете?... Въ эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большія, — а это что такое?

— А не знаю, отвѣчалъ Касьянъ: — на чемъ вы поѣдете: развѣ вотъ на этомъ животикѣ, прибавилъ онъ со вздохомъ.

— На этомъ-то? подхватилъ Ерофей и, подойдя къ Касьяновой кляченкѣ, презрительно ткнулъ ее третьимъ пальцемъ правой руки въ шею. — Ишь, прибавилъ онъ съ укоризной: — заснула ворона!

Я попросилъ Ерофея заложить ее поскорѣй. Мнѣ самому захотѣлось съѣздить съ Касьяномъ на ссѣчки: тамъ часто водятся тетерева. Когда уже телѣжка была совсѣмъ готова, и я кое-какъ вмѣстѣ съ своей собакой уже умѣстился на ея покоробленномъ лубочномъ днѣ, и Касьянъ, сжавшись въ комочекъ и съ прежнимъ унылымъ выраженіемъ на лицѣ, тоже сидѣлъ на передней рядкѣ, — Ерофей подошелъ ко мнѣ и съ таинственнымъ видомъ прошепталъ:

— И хорошо сдѣлали, батюшка, что съ нимъ

поѣхали. Вѣдь, онъ такой; вѣдь онъ юродивецъ, и прозвище-то, ему Блоха. Я не знаю, какъ вы понять-то его могли....

Я хотѣлъ было замѣтить Ерофею, что до сихъ поръ Касьянъ мнѣ казался весьма разсудительнымъ человѣкомъ, но кучеръ мой тотчасъ продолжалъ тѣмъ-же голосомъ:

— Вы только смотрите, того, туда-ли онъ васъ привезетъ. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровѣе ось извольте взять.... А что, Блоха, прибавилъ онъ громко: — что у васъ, хлѣбушкомъ можно разжиться?

— Поищи; можетъ найдется, отвѣчалъ Касьянъ, дернулъ возжами, и мы покатили.

Лошадка его, къ истинному моему удивленію, бѣжала очень недурно. Въ теченіи всей дороги Касьянъ сохранялъ упорное молчаніе и на мои вопросы отвѣчалъ отрывисто и нехотя. Мы скоро доѣхали до ссѣчекъ, а тамъ добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей надъ небольшимъ оврагомъ, на скорую руку перехваченнымъ плотиной и превращеннымъ въ прудъ. Я нашелъ въ этой конторѣ двухъ молодыхъ купеческихъ прикащиковъ, съ бѣлыми какъ снѣгъ зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой рѣчью и сладкоплутоватой улыбочкой, сторговаль

у нихъ ось и отправился на ссѣчки. Я думалъ, что Касьянъ останется при лошади, будетъ дожидаться меня, но онъ вдругъ подошелъ ко мнѣ.

— А что, птишекъ стрѣлять идешь? заговорилъ онъ: — а?

— Да, если найду.

— Я пойду съ тобой.... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленнаго мѣста было всего съ версту. Я, признаюсь, больше глядѣлъ на Касьяна, чѣмъ на свою собаку. Недаромъ его прозвали Блохой. Его черная, ничѣмъ не прикрытая головка (впрочемъ, его волосы могли замѣнить любую шапку) такъ и мелькала въ кустахъ. Онъ ходилъ необыкновенно проворно и словно все подпрыгивалъ на ходу, безпрестанно нагибался, срывалъ какія-то травки, совалъ ихъ за пазуху, бормоталъ себѣ что-то подъ носъ и все поглядывалъ на меня и на мою собаку, да такимъ пытливымъ, страннымъ взглядомъ. Въ низкихъ кустахъ, „въ мелочахъ“, и на ссѣчкахъ часто держатся маленькія сѣрыя птички, которыя то-и-дѣло перемѣщаются съ деревца на деревцо и посвистываютъ, внезапно ныряя на лету. Касьянъ ихъ передразнивалъ, перекликался съ ними;

поршокъ *) полетѣлъ, чиликая, у него изъ-подъ ногъ, — онъ зачиликалъ ему вслѣдъ; жаворонокъ сталъ спускаться надъ нимъ, трепеща крылами и звонко распѣвая — Касьянъ подхватилъ его пѣсенку. Со мной онъ все не заговаривалъ....

Погода была прекрасная, еще прекраснѣй, чѣмъ прежде; но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокія и рѣдкія облака, изжелта-бѣлыя, какъ весенній запоздалый снѣгъ, плоскія и продолговатыя, какъ опустившіеся паруса. Ихъ узорчатые края, пушистые и легкіе, какъ хлопчатая бумага, медленно, но видимо измѣнялись съ каждымъ мгновеніемъ: они таяли, эти облака, и отъ нихъ не падало тѣни. Мы долго бродили съ Касьяномъ по сѣвкамъ. Молодые отпрыски, еще не успѣвшіе вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почернѣвшіе, низкіе пни; круглые губчатые наросты съ сѣрыми каймами, тѣ самые наросты, изъ которыхъ вывариваютъ труть, лѣпились къ этимъ пнямъ; земляника пускала по нимъ свои розовые усики; грибы тутъ-же тѣсно сидѣли семьями. Ноги безпрестанно путались и цѣплялись въ длинной травѣ, пресыщенной го-

*) Молодой перепелъ.

рячимъ солнцемъ; всюду рябило въ глазахъ отъ рѣзкаго металлическаго сверканія молодыхъ, красноватыхъ листьевъ на деревцахъ; всюду пестрѣли голубые гроздья журавлинаго гороху, золотыя чашечки куриной слѣпоты, на половину лиливые, на половину желтые цвѣты ивана-да-марьи; кой-гдѣ, возлѣ заброшенныхъ дорожекъ, на которыхъ слѣды колесъ обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дровъ, тоже потемнѣвшихъ отъ вѣтра и дождя, сложенные саженьями; слабая тѣнь падала отъ нихъ косыми четвероугольниками, — другой тѣни не было нигдѣ. Легкій вѣтерокъ то просыпался, то утихалъ: подуетъ вдругъ прямо въ лицо и какъ-будто разыграется, — все весело зашумитъ, закивается и задвигается кругомъ, граціозно качаются гибкіе концы папортниковъ, — обрадуешься ему.... но вотъ ужъ онъ опять замеръ, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещать, словно озлобленные, — и утомителенъ этотъ непрестанный, кислый и сухой звукъ. Онъ идетъ къ неотступному жару полудня; онъ словно рожденъ имъ, словно вызванъ имъ изъ раскаленной земли.

Не наткнувшись ни на одинъ выводокъ, дошли мы наконецъ до новыхъ ссѣчекъ. Тамъ недавно

срубленные осины печально тянулись по землѣ, придавивъ собою и траву и мелкій кустарникъ; на иныхъ листья, еще зеленые, но уже мертвые, вяло свѣшивались съ неподвижныхъ вѣтокъ; на другихъ они уже засохли и покоробились. Отъ свѣжихъ, золотистобѣлыхъ щепокъ, грудями лежавшихъ около ярко-влажныхъ пней, вѣяло особеннымъ, чрезвычайно пріятнымъ, горькимъ запахомъ. Вдали, ближе къ рощѣ, глухо стучали топоры, и по временамъ, торжественно и тихо, словно кланаясь и разширяя руки, спускалось кудрявое дерево

Долго не находилъ я никакой дичи; наконецъ, изъ широкаго дубоваго куста, насквозь проросшаго полынью, полетѣлъ коростель. Я ударилъ; онъ перевернулся на воздухъ и упалъ. Услышавъ выстрѣлъ, Касьянъ быстро закрылъ глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядилъ ружья и не поднялъ коростеля. Когда-же я отправился далѣе, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ упала убитая птица, нагнулся къ травѣ, на которую брызнуло нѣсколько капель крови, покачалъ головой, пугливо взглянулъ на меня.... Я слышалъ послѣ, какъ онъ шепталъ: „Грѣхъ!... Ахъ, вотъ это грѣхъ!“

Жара заставила насъ наконецъ войти въ

рощу. Я бросился подъ высокій кустъ орѣшника, надъ которымъ молодой, стройный клень красиво раскинулъ свои легкія вѣтки. Касьянъ присѣлъ на толстый конецъ срубленной березы. Я глядѣлъ на него. Листья слабо колебались въ вышинѣ, и ихъ жидко-зеленоватыя тѣни тихо скользили взадъ и впередъ по его щедушному тѣлу, кое-какъ закутанному въ темный армякъ, — по его маленькому лицу. Онъ не поднималъ головы. Наскучивъ его безмолвіемъ, я легъ на спину и началъ любоваться мирной игрой перепутанныхъ листьевъ на далекомъ, свѣтломъ небѣ. Удивительно пріятное занятіе лежать на спинѣ въ лѣсу и глядѣть вверхъ! Вамъ кажется, что вы смотрите въ бездонное море, что оно широко разстилается надъ вами, что деревья не поднимаются отъ земли, но, словно корни огромныхъ растеній, спускаются, отвѣсно падаютъ въ тѣ стеклянно-ясныя волны; листья на деревьяхъ то сквозятъ изумрудами, то сгущаются въ золотистую, почти черную зелень. Гдѣ нибудь, далеко, далеко, оканчивая собою тонкую вѣтку, неподвижно стоитъ отдѣльный листокъ на голубомъ клочкѣ прозрачнаго неба, и рядомъ съ нимъ качается другой, напоминая своимъ движеніемъ игру рыбаго плёса, какъ-будто движеніе то само-

вольное и не производится вѣтромъ. Волшебными подводными островами тихо наплываютъ и тихо проходятъ бѣлыя круглыя облака, — и вотъ, вдругъ все это море, этотъ лучезарный воздухъ, эти вѣтки и листья, обогранные солнцемъ — все заструится, задрожитъ бѣглымъ блескомъ и поднимется свѣжее, трепещущее лепетанье, похожее на безконечный мелкій плескъ внезапно набѣжавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите, и нельзя выразить словами, какъ радостно и тихо и сладко становится на сердцѣ. Вы глядите, — та глубокая, чистая лазурь возбуждаетъ на устахъ вашихъ улыбку, невинную, какъ она сама, какъ облака по небу, и какъ будто вмѣстѣ съ ними медлительной вереницей проходятъ по душѣ счастливыя воспоминанія, и все вамъ кажется, что взоръ вашъ уходитъ дальше и дальше и тянетъ васъ самихъ за собой въ ту спокойную, сіяющую бездну, и невозможно оторваться отъ этой вышины, отъ этой глубины....

— Баринъ, а баринъ! промолвилъ вдругъ Касьянъ своимъ звучнымъ голосомъ.

Я съ удивленіемъ приподнялся: до сихъ поръ онъ едва отвѣчалъ на мои вопросы, а то вдругъ самъ заговорилъ.

— Что тебѣ? спросилъ я.

— Ну для чего ты птишку убилъ? началъ онъ, глядя на него прямо въ лицо.

— Какъ для чего?... Коростель — это дичь: его ѣсть можно.

— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

— Да, вѣдь, ты самъ, небось, гусей или курицъ, напримѣръ, ѣшь?

— Та птица Богомъ опредѣленная для человека, а коростель — птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой, — и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла.... А человѣку пища положена другая, пища ему другая и другое питье: хлѣбъ — Божья благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ.

Я съ удивленіемъ поглядѣлъ на Касьяна. Слова его лились свободно: онъ не искалъ ихъ, онъ говорилъ съ тихимъ одушевленіемъ и кроткою важностію, изрѣдка закрывая глаза.

— Такъ и рыбу по твоему грѣшно убивать? спросилъ я.

— У рыбы кровь холодная, возразилъ онъ съ увѣренностію: — рыба тварь нѣмая. Она не

боится, не веселится: рыба тварь безсловесная. Рыба не чувствуетъ, въ ней и кровь не живая.... Кровь, продолжалъ онъ, помолчавъ — святое дѣло кровь. Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется.... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ.... Охъ, великій!

Онъ вздохнулъ и потупился. Я, признаюсь, съ совершеннымъ изумленіемъ посмотрѣлъ на страннаго старика. Его рѣчь звучала не мужичьей рѣчью: такъ не говорятъ простолюдины, и краснобаи такъ не говорятъ. Этотъ языкъ обдуманно торжественный и странный.... Я не слыхалъ ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьянъ, началъ я, не спуская глазъ съ его слегка раскраснѣвагося лица: — чѣмъ ты промыляешь?

Онъ не тотчасъ отвѣтилъ на мой вопросъ. Его взглядъ безпокойно забѣгалъ на мгновеніе.

— Живу, какъ Господь велитъ, промолвилъ онъ наконецъ: — а чтобы, то есть, промылять — нѣтъ, ничѣмъ не промыляю. Неразумѣнъ я больно, съ малства; работаю пока мочно, — работникъ-то я плохой.... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ и руки глупы. Ну, весной соловьевъ ловлю.

— Соловьевъ ловишь?.... А какъ-же ты гово-

рилъ, что всякую лѣсную и полевою и прочую тамъ тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и такъ свое возьметъ. Вотъ хоть-бы Мартынъ-плотникъ: жилъ Мартынъ-плотникъ, и не долго жилъ и померъ; жена его теперь убивается о мужѣ, о дѣткахъ малыхъ.... Противъ смерти ни чело-вѣку, ни твари не слѣзавить. Смерть и не бѣ-жить, да и отъ нея не убѣжишь, да помогать ей не должно.... А я соловушекъ не убиваю, — сохрани Господи! Я ихъ не на муку ловлю, не на погибель ихъ живота, а для удовольствія чело-вѣческаго, на утѣшеніе и веселье. .

— Ты въ Курскѣ ихъ ловить ходишь?

— Хожу я и въ Курскѣ и подалѣ хожу, какъ случится. Въ болотахъ ночью да въ залѣсьяхъ, въ полѣ ночью одинъ, во глуши: тутъ кулички разсвистятся, тутъ зайцы кричатъ, тутъ селезни стрекочутъ.... По вечерамъ замѣчаю, по утрен-ничкамъ выслушиваю, по зарямъ обсыпаю сѣткой вусты.... Иной соловушко такъ жалостно поетъ, сладко-жалостно даже.

— И продаешь ты ихъ?

— Отдаю добрымъ людямъ. .

— А что-жъ ты еще дѣлаешь?

— Какъ дѣлаю?

— Чѣмъ ты занятъ?

Старикъ помолчалъ.

— Ничѣмъ я эдакъ не занятъ.... Работникъ я плохой. Грамотѣ однако разумѣю.

— Ты грамотный?

— Разумѣю грамотѣ. Помогъ Господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человѣкъ?

— Нѣту-ти, безсемейный.

— Что такъ?... Перемерли, что-ли?

— Нѣтъ, а такъ: задачи въ жизни не вышло. Да это все подъ Богомъ, всѣ мы подъ Богомъ ходимъ; а справедливъ долженъ быть человѣкъ, — вотъ что! Богу угоденъ, то есть.

— И родни у тебя нѣтъ?

— Есть.... да.... такъ....

Старикъ замаялся.

— Скажи, пожалуйста, началъ я: — мнѣ слышалось, мой кучеръ у тебя спрашивалъ, что, дескать, отчего ты не вылечилъ Мартына? Развѣ ты умѣешь лечить?

— Кучеръ твой справедливый человѣкъ, задумчиво отвѣчалъ мнѣ Касьянъ: — а тоже не безъ грѣха. Лекаркой меня называютъ.... Какая я лекарка!... и кто можетъ лечить? Это все отъ Бога. А есть.... есть травы, цвѣты есть:

помогаютъ, точно. Вотъ хоть череда, напимѣрь, трава добрая для человѣка; вотъ подорожникъ тоже; объ нихъ и говорить не зазорно: чистыя травки — Божія. Ну, а другія не такъ: и помогаютъ-то онѣ, а грѣхъ; и говорить о нихъ грѣхъ. Еще съ молитвой, развѣ.... Ну, конечно, есть и слова такія.... А кто вѣруеть — спасется, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Ты ничего Мартыну не давалъ? спросилъ я.

— Поздно узналъ, отвѣчалъ старикъ. — Да что! — кому какъ на роду написано. Не жилецъ былъ плотникъ Мартынъ, не жилецъ на землѣ: ужъ это такъ. Нѣтъ ужъ, какому человѣку не жить на землѣ, того и солнышко не грѣетъ, какъ другаго, и хлѣбушекъ тому не въ прокъ, — словно что его отзываетъ.... Да, упокой Господь его душу!

— Давно васъ переселили къ намъ? спросилъ я, послѣ небольшого молчанія.

Касьянъ встрепенулся.

— Нѣтъ недавно: года четыре. При старомъ баринѣ мы все жили на своихъ прежнихъ мѣстахъ, а вотъ опека переселила. Старый баринъ у насъ былъ кроткая душа, смиренникъ, — царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно ужъ такъ пришлось.

— А вы гдѣ прежде жили?

— Мы съ Красивой Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верстъ сто.

— Чтò-жь, тамъ лучше было?

— Лучше.... лучше. Тамъ мѣста привольныя, рѣчныя, гнѣздо наше; а здѣсь тѣснота, сухмень.... Здѣсь мы осиротѣли. Тамъ у насъ, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холмъ, взойдешь — и Господи, Боже мой, чтò это? а?... И рѣка-то, и луга, и лѣсъ; а тамъ церковь, а тамъ опять пошли луга. Далече видно, далече. Вотъ какъ далеко видно.... смотришь, смотришь, ахъ ты, право! Ну, здѣсь, точно, земля лучше: суглинокъ, хорошій суглинокъ, говорятъ крестьяне, да съ меня хлѣбушка-то всюду вдоволь народится.

— А чтò, старикъ, скажи правду, тебѣ, чай, хочется на родинѣ-то побывать?

— Да, посмотрѣлъ-бы. А впрочемъ, вездѣ хорошо. Человѣкъ я безсемейный, непосѣдъ. Да и чтò! много, что-ли, дома-то высидишь? А вотъ, какъ пойдешь, какъ пойдешь, подхватилъ онъ, возвысивъ голосъ: — и полегчеить право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты видней, и поется-то ладнѣй. Тутъ, смотришь, — трава какая растетъ; ну, замѣтишь — сорвешь. Вода

тутъ бѣжить, напимѣръ, ключевая, родникъ: святая вода; ну, напьешься — замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя.... А то за Курскомъ пойдутъ степи, эдакія степныя мѣста, вотъ удивленіе, вотъ удовольствіе человѣку, вотъ раздолье-то, вотъ Божія-то благодать! И идутъ онѣ, люди сказываютъ, до самыхъ теплыхъ морей, гдѣ живетъ птица Гамаюнъ сладкогласная, и съ деревъ листь ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растутъ золотыя на серебряныхъ вѣткахъ, и живетъ всякъ часовѣкъ въ довольствѣ и справедливости.... И вотъ ужъ я-бы туда пошелъ.... Вѣдь, я мало-ли куда ходилъ! И въ Ромѣнъ ходилъ, и въ Синбирскъ-славный градъ, и въ самую Москву-золотыя маковки: ходилъ на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видалъ, добрыхъ хрестьянъ, и въ городахъ побывалъ честныхъ.... Ну вотъ, пошелъ-бы я туда.... и вотъ.... и ужъ и.... И не одинъ я грѣшный.... много другихъ хрестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ.... да!... А то что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, — вотъ оно что....

Эти послѣднія слова Касьянъ произнесъ скороговоркой, почти невнятно; потомъ онъ еще

что-то сказалъ, чего я даже разслышать не могъ, а лицо его такое странное приняло выраженіе, что мнѣ невольно вспомнилось названіе „юр-дивца“. Онъ потупился, откашлянулся и какъ будто пришелъ въ себя.

— Эко, солнышко! промолвилъ онъ въ пол-голоса: — эка благодать, Господи! эка теплынь въ лѣсу!

Онъ поведъ плечами, помолчалъ, разсѣянно глянулъ и запѣлъ потихоньку. Я не могъ уловить всѣхъ словъ его протяжной пѣсенки; слѣдующія послышались мнѣ:

А зовутъ меня Касьяномъ,
А по прозвищу Блоха....

„Э!“ подумалъ я: — „да онъ сочиняетъ“.... Вдругъ онъ вздрогнулъ и умолкъ, пристально всматриваясь въ чашу лѣса. Я обернулся и увидѣлъ маленькую крестьянскую дѣвочку, лѣтъ осьми, въ синемъ сарафанчикѣ, съ клѣтчатымъ платкомъ на головѣ и плетенымъ кузовкомъ на загорѣлой, голенькой рукѣ. Она, вѣроятно, никакъ не ожидала насъ встрѣтить; какъ говорится, наткнулась на насъ, и стояла неподвижно въ зеленой чащѣ орѣшника, на тѣнистой лужайкѣ, пугливо посматривая на меня своими

черными глазами. Я едва успѣлъ разглядѣть ее: она тотчасъ нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! поди сюда, не бойся, кликнулъ старикъ ласково.

— Боюсь, раздался тонкій голосокъ.

— Не бойся, не бойся, поди ко мнѣ.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругомъ, — ея дѣтскія ножки едва шумѣли по густой травѣ, — и вышла изъ чащи подлѣ самого старика. Это была дѣвушка не осьмилѣтъ, какъ мнѣ показалось сначала, по небольшому ея росту, но тринадцати или четырнадцати. Все ея тѣло была мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно съ лицомъ самого Касьяна, хотя Касьянъ красавцемъ не былъ. Тѣже острые черты, тотъ-же странный взглядъ, лукавый и довѣрчивый, задумчивый и проникательный, и движенія тѣже.... Касьянъ окинулъ ее глазами; она стояла къ нему бокомъ.

— Что, грибы собирала? спросилъ онъ.

— Да, грибы, отвѣчала она съ робкой улыбкой.

— И много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И бѣлые есть?

— Есть и бѣлые.

— Покажь-ка, покажь.... (Она спустила кузовъ съ руки и приподняла до половины широкій листъ лапуха, которымъ грибы были покрыты.) —

Э! сказалъ Касьянъ, нагнувшись надъ кузовомъ: — да какіе славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьянъ, что-ли? спросилъ я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нѣтъ, такъ сродственница, проговорилъ Касьянъ съ притворной небрежностью. — Ну, Аннушка, ступай, прибавилъ онъ тотчасъ: — ступай съ Богомъ. Да смотри....

— Да зачѣмъ-же ей пѣшкомъ идти? прервалъ я его. — Мы-бы ее довели....

Аннушка загорѣлась, какъ маковъ цвѣтъ, ухватила обѣими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядѣла на старика.

— Нѣтъ, дойдетъ, возразилъ онъ тѣмъ же равнодушно лѣнивымъ голосомъ. — Что ей?... Дойдетъ и такъ.... Ступай.

Аннушка проворно ушла въ лѣсъ. Касьянъ поглядѣлъ за нею вслѣдъ, потомъ потупился и усмѣхнулся. Въ этой долгой усмѣшкѣ, въ немногихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннушкѣ, въ самомъ звукѣ его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая, страстная любовь и

нѣжность. Онъ опять поглядѣлъ въ сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себѣ лицо, нѣсколько разъ покачалъ головой.

— Зачѣмъ ты ее такъ скоро отослалъ? спросилъ я его: — я-бы у нея грибы купилъ....

— Да вы тамъ, все равно, дома купите, когда захотите, отвѣчалъ онъ мнѣ, въ первый разъ употребляя слово вы.

— А она у тебя прехорошенькая.

— Нѣтъ.... какое.... такъ.... отвѣтилъ онъ, какъ-бы нехотя, и съ того-же мгновенья впалъ въ прежнюю молчаливость.

Видя, что всѣ мои усилія заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссѣчки. Притомъ-же и жара немного спала; но неудача или, какъ говорятъ у насъ, незадача моя продолжалась, и я съ однимъ коростелемъ и съ новой осью вернулся въ выселки. Уже подъѣзжая ко двору, Касьянъ вдругъ обернулся ко мнѣ.

— Баринъ, а баринъ, заговорилъ онъ: — вѣдь, я виноватъ передъ тобой; вѣдь это я тебѣ дичь-то всю отвелъ.

— Какъ-такъ?

— Да ужь это я знаю. А вотъ и ученый песь у тебя и хорошій, а ничего не смогъ.

Подумаешь, люди что, люди, а? Вотъ и звѣрь, а что изъ него сдѣлали?

Я-бы напрасно сталъ убѣждать Касьяна въ невозможности „заговорить“ дичь, и потому ничего не отвѣчалъ ему. Притомъ-же мы тотчасъ повернули въ ворота.

Въ избѣ Аннушки не было; она уже успѣла прійдти и оставить кузовъ съ грибами. Ерофей приладилъ новую ось, подвергнувъ ее сперва строгой и несправедливой оцѣнкѣ; а черезъ часъ я выѣхалъ, оставивъ Касьяну немного денегъ, которыя онъ сперва было не принялъ, но потомъ, подумавъ и подержавъ ихъ на ладони, положилъ за пазуху. Въ теченіи этого часа онъ не произнесъ почти ни одного слова; онъ по прежнему стоялъ, прислонясь къ воротамъ, не отвѣчалъ на укоризны моего вучера и весьма холодно простился со мной.

Я, какъ только вернулся, успѣлъ замѣтить, что Ерофей мой снова находился въ сумрачномъ расположеніи духа.... И въ самомъ дѣлѣ, ничего съѣстнаго онъ въ деревнѣ не нашелъ, водопой для лошадей былъ плохой. Мы выѣхали. Съ неудовольствіемъ, выразавшимся даже на его затылкѣ, сидѣлъ онъ на козлахъ и страхъ желалъ заговорить со мной, но, въ ожиданіи перваго мо-

его вопроса, ограничивался легкимъ ворчаньемъ въ полголоса и поучительными, а иногда язвительными рѣчами, обращенными къ лошадямъ. — „Деревня!“ бормоталъ онъ: — „а еще деревня! Спросилъ хошь квасу — и квасу нѣтъ.... Ахъ ты, Господи!... А вода — просто, тѣфу! (Онъ плюнулъ вслухъ). Ни огурцовъ, ни квасу — ничего. Ну ты, прибавилъ онъ громко, обращаясь къ правой пристяжной: — я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себѣ потворствовать, небось.... (И онъ ударилъ ее кнутомъ). — Совсѣмъ отлукавилась лошадь, а, вѣдь, какой прежде согласный былъ животъ.... Ну-ну-ну, оглядывайся!...“

— Скажи, пожалуй-ста, Ерофей, заговорилъ я: — что за человѣкъ этотъ Касьянъ?

Ерофей нескоро мнѣ отвѣчалъ: онъ вообще человѣкъ былъ обдумывающій и неторопливый; но я тотчасъ могъ догадаться, что мой вопросъ его развеселилъ и успокоилъ.

— Блоха-то? заговорилъ онъ наконецъ, передернувъ возжами: — чудный человѣкъ: какъ есть, юродивецъ. Такого чуднаго человѣка и нескоро найдешь другого. Вѣдь, напимѣръ, вѣдь, онъ ни дать ни взять нашъ вотъ саврасый: отъ рукъ отбился тоже.... отъ работы, то-есть. Ну, конечно, что онъ за работникъ, — въ чемъ

душа держится, — ну а все таки.... Вѣдь, онъ съ-измальства такъ. Сперва онъ со дядьями со своими въ извозъ ходилъ: они у него были троечные; ну, а потомъ знать наскучило — бросилъ. Сталъ дома жить, да и дома-то не усиживался: такой безпокойный, — ужъ точно блоха. Баринъ ему понался, спасибо, добрый — не принуждалъ. Вотъ онъ такъ съ тѣхъ поръ все и болтается, что овца безпредѣльная. И, вѣдь, такой удивительный, Богъ его знаетъ: то молчить, какъ пень, то вдругъ заговорить, — а что заговорить, Богъ его знаетъ. Развѣ это манеръ? Это не манеръ. Несообразный человѣкъ, какъ есть. Поетъ, однако, хорошо. Эдакъ важно — ничего, ничего.

— А что, онъ лечить, точно?

— Какое лечить!... Ну, гдѣ ему! Таковский онъ человѣкъ! Меня, однако, отъ золотухи вылечилъ.... Гдѣ ему! глухой человѣкъ, какъ есть, прибавилъ онъ помолчавъ.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы имъ по Сычовкѣ сосѣди, на Красивой-то на Мечи.

— А что это, намъ въ лѣсу попалась дѣвушка Аннушка, что она ему родня?

Ерофей посмотрѣлъ на меня черезъ плечо и осклабился во весь ротъ.

— Хе!... да, сродни. Она сирота; матери у ней нѣту, да и неизвѣстно, кто ея мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахиваетъ.... Ну, живетъ у него. Вострая дѣвка, нѣча сказать; хорошая дѣвка, и онъ, старый, въ ней души не чае: дѣвка хорошая. Да, вѣдь, онъ, вы вотъ не повѣрите, а, вѣдь, онъ, пожалуй, Аннушку-то свою грамотѣ учить вздумаетъ. Ей-ей, отъ него это станется: ужъ такой онъ человѣкъ неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмѣрный даже.... Э-э-э! вдругъ перервалъ самого себя мой кучеръ и, остановивъ лошадей, нагнулся на бокъ и принялся нюхать воздухъ. — Никакъ гарью пахнетъ? Такъ и есть! Ужъ эти мнѣ нввыя оси.... А, кажется, на что мазаль.... Пойдти водицы добыть: вотъ кстати и прудикъ.

И Ерофей медлительно слѣзъ съ облучка, отвязалъ ведерку, пошелъ къ пруду и, вернувшись, не безъ удовольствія слушалъ, какъ шипѣла втулка колеса, внезапно охваченная водою... Разъ шесть приходилось ему на какихъ нибудь десяти верстахъ обливать разгоряченную ось, и уже совсѣмъ завечерѣло, когда мы возвратились домой.

БУРМИСТРЪ.

Верстахъ въ пятнадцать отъ моего имѣнья, живетъ одинъ мнѣ знакомый человѣкъ, молодой помѣщикъ, гвардейскій офицеръ въ отставкѣ. Аркадій Павлычъ Пѣночкинъ. Дичи у него въ помѣстьи водится много, домъ построенъ по плану французскаго архитектора, люди одѣты по англійски, обѣды задаетъ онъ отличныя, принимаетъ гостей ласково, а все-таки неохотно къ нему ѣдешь. Онъ человѣкъ разсудительный и положительный, воспитанье получилъ, какъ водится, отличное, служилъ, въ высшемъ обществѣ потерялся, а теперь хозяйствомъ занимается съ большимъ успѣхомъ. Аркадій Павлычъ, говоря собственными его словами, строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ — для ихъ-же блага. „Съ ними надобно обращаться, какъ съ дѣтьми“,

говорить онъ въ такомъ случаѣ: — „невѣжество, mon chër; il faut prendre cela en considération“. Самъ-же, въ случаѣ такъ называемой печальной необходимости, рѣзкихъ и порывистыхъ движеній избѣгаетъ и гóлоса возвышать не любитъ, но болѣе тычетъ рукою прямо, спокойно приговаривая: „вѣдь, я тебя просилъ, любезный мой“, или: что съ тобою, другъ мой, опомнись“; при чемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ. Роста онъ небольшого, сложенъ щеголевато, собою весьма недурень, руки и ногти въ большой опрятности содержать; съ его румяныхъ губъ и щекъ такъ и пышетъ здоровьемъ. Смѣется онъ звучно и беззаботно, привѣтливо щурить свѣтлые, каріе глаза. Одѣвается онъ отлично и со вкусомъ; выписываетъ французскія книги, рисунки и газеты, но до чтенія небольшой охотникъ: „Вѣчнаго жидѣ“ едва осилилъ. Въ карты играетъ мастерски. Вообще Аркадій Павлычъ считается однимъ изъ образованнѣйшихъ дворянъ и завиднѣйшихъ жениховъ нашей губерніи; дамы отъ него безъ ума и въ особенности хвалятъ его манеры. Онъ удивительно хорошо себя держитъ, остороженъ, какъ кошка, и ни въ какую исторію замѣшанъ отъ роду не бывалъ, хотя при случаѣ дать себя знать и

робкаго человѣка озадачить и срѣвать любить. Дурнымъ обществомъ рѣшительно брезгаетъ — скомпрометироваться боится; за то въ веселый часъ объявляетъ себя поклонникомъ Эпикура, хотя вообще о философіи отзывается дурно, называя ее туманной пищей германскихъ умовъ, а иногда и просто чепухой. Музыку онъ тоже любить; за картами поетъ сквозь зубы, но съ чувствомъ; изъ Лючіи и Сомнамбулы тоже иное помнить, но что-то все высоко забираетъ. По зимамъ онъ ѣздитъ въ Петербургъ. Домъ у него въ порядкѣ необыкновенномъ; даже кучера подчинились его вліянію и каждый день не только вытираютъ хомуты и армяки чистятъ, но и самимъ-себѣ лицо моютъ. Дворовые люди Аркадія Павлыча смотриваютъ, правда, что-то изъ подлобья, — но у насъ на Руси угрюмага отъ заспаннаго не отличишь. Аркадій Павлычъ говоритъ голосомъ мягкимъ и пріятнымъ, съ разстановкой и какъ-бы съ удовольствіемъ пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные, усы; такъ-же употребляетъ много Французскихъ выраженій, какъ-то: „Mais c'est imprayable!“ „Mais comment donc!“ и пр. Со всѣмъ тѣмъ, я, по-крайней-мѣрѣ, не слишкомъ охотно его посѣщаю и, если-бы не тетерева и

не куропатки, вѣроятно, совершенно бы съ нимъ раззнакомился. Странное какое-то безпокойство овладѣваетъ вами въ его домѣ; даже комфортъ васъ не радуетъ, и всякій разъ, вечеромъ, когда появится передъ вами завитый каммердинеръ въ голубой ливерѣ съ гербовыми пуговицами и начнетъ подобострастно стягивать съ васъ сапоги, вы чувствуете, что если-бы вмѣсто его блѣдной и сухопарой фигуры внезапно представили передъ вами изумительноширокія скулы и невѣроятно-тупой носъ молодаго дюжаго парня, только-что взятаго бариномъ отъ сохи, но уже успѣвшаго въ десяти мѣстахъ распоротъ по швамъ недавно пожалованный нанковый кафтанъ — вы бы обрадовались несказанно и охотно-бы подверглись опасности лишиться вмѣстѣ съ сапогомъ и собственной вашей ноги вплоть до самаго вертлюга.... Несмотря на мое нерасположеніе къ Аркадію Павлычу, пришлось мнѣ однажды провести у него ночь. На другой день я рано по утру велѣлъ заложить свою коляску, но онъ не хотѣлъ меня отпустить безъ завтрака на англійскій манеръ и повелъ къ себѣ въ кабинетъ. Вмѣстѣ съ чаемъ подали намъ котлеты, яйца въ смятку, масло, медъ, сыръ и пр. Два каммердинера, въ чистыхъ бѣлыхъ перчаткахъ,

быстро и молча предупреждали наши малѣйшія желанія. Мы сидѣли на персидскомъ диванѣ. На Аркадіѣ Павлычѣ были широкіе шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фесъ съ синей кистью и китайскіе желтые туфли безъ задковъ. Онъ пилъ чай, смѣялся, разсматривалъ свои ногти, курилъ, подкладывалъ себѣ подушки подъ бокъ и вообще чувствовалъ себя въ отличномъ расположеніи духа. Позавтракавши плотно и съ видимымъ удовольствіемъ, Аркадій Павлычъ налилъ себѣ рюмку краснаго вина, поднесъ ее къ губамъ и вдругъ нахмурился.

— Отчего вино не нагрѣто? спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

— Вѣдь, я тебя спрашиваю, любезный мой? спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него изъ подлобья.

— Pardon, mon cher, промолвилъ онъ съ

пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова устоялся на камердинера. — Ну, ступай, прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанья, поднялъ брови и позволилъ.

Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черно-волосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплавленными глазами.

На счетъ Федора.... распорядиться, проговорилъ Аркадій Павлычъ въ полголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ толстый и вышелъ.

— Voilà mon cher, les désagréments de la campagne весело замѣтилъ Аркадій Павлычъ. — Да куда-же вы? останьтесь, посидите еще не много.

— Нѣтъ, отвѣчалъ я: — мнѣ пора.

— Все на охоту! Охъ, ужъ эти мнѣ охотники! Да вы куда теперь ѣдете?

— За сорокъ верстъ отсюда, въ Рябово.

— Въ Рябово? Ахъ, Боже мой, да въ такомъ случаѣ я съ вами поѣду. Рябово всего въ пяти верстахъ отъ моей Шишиловки, а я такъ давно въ Шишиловкѣ не бывалъ: все времени улучшить не могъ. Вотъ какъ встати пришлось: вы сегодня въ Рябовѣ поохотитесь, а на

вечеръ ко мнѣ. *Ce sera charmant.* Мы вмѣстѣ поужинаемъ, — мы возьмемъ съ собою повара, — вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно! прибавилъ онъ недождавшись моего отвѣта. *C'est arrangé....* Эй, кто тамъ? Коляску намъ велите заложить, да поскорѣй. Вы въ Шипиловкѣ не бывали? Я-бы посовѣстился предложить вамъ провести ночь въ избѣ моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы, и въ Рябовѣ, въ сѣнномъ-бы сараѣ ночевали.... Ёдемъ, ёдемъ!

И Аркадій Павлычъ запѣлъ какой-то французскій романсъ.

— Вѣдь, вы, можетъ быть, не знаете, продолжалъ онъ, покачиваясь на обѣихъ ногахъ: — у меня тамъ мужики на оброкѣ. Конституція, — что будешь дѣлать? Однако оброкъ мнѣ платятъ исправно. Я-бы ихъ, признаться, давно на барщину ссадилъ, да земли мало; я и такъ удивляюсь, какъ они концы съ концами сводятъ. Впрочемъ, *c'est leur affaire.* Бурмистръ у меня тамъ молодецъ, *une forte tête* государственный человѣкъ! Вы увидите.... Какъ, право, это хорошо пришлось!

Дѣлать было нечего. Вмѣсто девяти часовъ утра мы выѣхали въ два. Охотники поймутъ

мое нетерпѣнье. Аркадій Павлычъ любилъ, какъ онъ выражался, при случаѣ побаловать себя и забралъ съ собою такую бездну бѣлья, припасовъ, платья, духовъ, подушекъ и разныхъ несессеровъ, что иному бережливому и владѣющему собою нѣмцу хватило-бы всей этой благодати на годъ. При каждомъ спускѣ съ горы Аркадій Павлычъ держалъ краткую, но сильную рѣчь кучеру, изъ чего я могъ заключить, что мой знакомецъ порядочный трусъ. Впрочемъ, путешествіе совершилось весьма благополучно; только на одномъ, недавно починенномъ мостикѣ телѣга съ поваромъ завалилась, и заднимъ колесомъ ему придавило желудокъ.

Аркадій Павлычъ, при видѣ паденія доморощенного Карема, испугался не на шутку, и тотчасъ велѣлъ спросить, цѣлы-ли у него руки? Получивъ-же отвѣтъ утвердительный, немедленно успокоился. Со всѣмъ тѣмъ, ѣхали мы довольно долго; я сидѣлъ въ одной коляскѣ съ Аркадіемъ Павлычемъ и подъ конецъ путешествія почувствовалъ тоску смертельную, тѣмъ болѣе, что въ теченіи нѣсколькихъ часовъ мой знакомецъ совершенно выдохся и начиналъ уже либеральничать. Наконецъ, мы пріѣхали, только не въ Рябово, а прямо въ Шипиловку; какъ-то оно

такъ вышло. Въ тотъ день я и безъ того уже поохотиться не могъ и потому, скрѣпя сердце, покорился своей участи.

Поваръ пріѣхалъ нѣсколькими минутами ранѣе насъ и, повидимому, уже успѣлъ распорядиться и предупредить кого слѣдовало, потому что при самомъ вѣздѣ въ околицу встрѣтилъ насъ староста (сынъ бурмистра), дюжій и рыжій мужикъ въ косую сажень ростомъ, верхомъ и безъ шапки, въ новомъ армякѣ на распаху. — „А гдѣ же Софронъ?“ спросилъ его Аркадій Павлычъ. Староста сперва проворно соскочилъ съ лошади, поклонился барину въ поясъ, промолвилъ: „Здравствуйте, батюшка Аркадій Павлычъ“, потомъ приподнялъ голову, встряхнулся и доложилъ, что Софронъ отправился въ Перовъ, но что за нимъ уже послали. — „Ну, ступай за нами“, сказалъ Аркадій Павлычъ. Староста отвелъ изъ приличія лошадь въ сторону, взвалился на нее и пустился рысцей за коляской, держа шапку въ рукѣ. Мы поѣхали по деревнѣ. Нѣсколько мужиковъ въ пустыхъ телѣгахъ попались намъ на-встрѣчу; они ѣхали съ гумна и пѣли пѣсни, подпрыгивая всѣмъ тѣломъ и болтая ногами на воздухѣ; но при видѣ нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои

зимнія шапки (дѣло было лѣтомъ) и приподнялись, какъ-бы ожидая приказаній. Аркадій Павлычъ милостиво имъ поклонился. Тревожное волненіе видимо распространилось по селу. Бабы въ клѣтчатыхъ паневахъ швыряли щепками въ недогадливыхъ или слишеомъ усердныхъ собакъ; хромой старикъ съ бородой, начинавшейся подъ самыми глазами, оторвалъ недопоенную лошадь отъ володезя, ударилъ ее неизвѣстно за что по боку, а тамъ уже поклонился. Мальчишки въ длинныхъ рубашенкахъ съ воплемъ бѣжали въ избы, ложились брюхомъ на высокій порогъ, свѣшивали головы, закидывали ноги къ верху и такимъ образомъ весьма проворно перекидывались за дверь, въ темныя сѣни, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью въ подворотню; одинъ бойкій пѣтухъ съ черной грудью, похожей на атласный жилетъ, и краснымъ хвостомъ, закрученнымъ на самый гребень, остался было на дорогѣ и уже совсѣмъ собрался кричать, да вдругъ сконфузился и тоже побѣжалъ. Изба бурмистра стояла въ сторонѣ отъ другихъ, посреди густаго зеленого конопляника. Мы остановились передъ воротами. Г. Пѣночкинъ всталъ, живописно сбросилъ съ себя плащъ и вышелъ изъ коляски,

привѣтливо озираясь кругомъ. Бурмистрова жена встрѣтила насъ съ низкими поклонами и подошла къ барской ручкѣ. Аркадій Павлычъ далъ ей нацаловаться вволю и взошелъ на крыльцо. Въ сѣняхъ въ темномъ углу стояла старостиха и тоже поклонилась, но къ рукѣ подойти не дерзнула. Въ такъ называемой холодной избѣ — изъ сѣней направо — уже возились двѣ другія бабы; онѣ выносили оттуда всякую дрянъ, пустые жбаны, одеревенѣлые тулупы, масляные горшки, люльку съ кучей тряпокъ и пестрымъ ребенкомъ, подметали банными вѣниками соръ. Аркадій Павлычъ выслалъ ихъ вонъ и помѣстился на лавкѣ подъ образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочія удобства, всячески стараясь умѣрить стукъ своихъ тяжелыхъ сапоговъ.

Между-тѣмъ Аркадій Павлычъ спрашивалъ старосту объ урожаѣ, посѣвѣ и другихъ хозяйственныхъ предметахъ. Староста отвѣчалъ удовлетворительно, но какъ-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтанъ застегивалъ. Онъ стоялъ у дверей и то и дѣло сторожилъ и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Изъ-за его могущественныхъ плечей удалось мнѣ увидѣть, какъ бурмистрова жена въ сѣняхъ въ тихомолку колотила какую-то другую

бабу. Вдругъ застучала телѣга, остановилась передъ крыльцомъ: вошелъ бурмистръ.

Этотъ, по словамъ Аркадія Павлыча, государственный человѣкъ былъ роста небольшого, плечистъ, сѣдъ и плотенъ, съ краснымъ носомъ, маленькими голубыми глазами и бородой въ видѣ вѣера. Замѣтимъ кстати, что съ тѣхъ поръ, какъ Русь стоитъ, не бывало еще на ней примѣра раздобрѣвшаго и разбогатѣвшаго человѣка безъ окладистой бороды; иной весь свой вѣкъ носилъ бородку жидкую, клиномъ, — вдругъ, смотришь, обложился кругомъ словно сіяньемъ, — откуда волосъ берется! Бурмистръ, должно быть, въ Перовѣ подгулялъ, и лицо-то у него отекло порядкомъ, да и виномъ отъ него пахло.

— Ахъ, вы, отцы наши, милостивцы вы наши, заговорилъ онъ на-распѣвъ и съ такимъ умиленьемъ на лицѣ, что вотъ-вотъ казалось, слезы брызнуть: — насилу-то изволили пожаловать!... Ручку, батюшка, ручку, прибавилъ онъ, уже за-года протягивая губы.

Аркадій Павлычъ удовлетворилъ его желаніе. — Ну, что, братъ Софронъ, каково у тебя дѣла идутъ? спросилъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Ахъ вы, отцы наши, воскликнулъ Софронъ: — да какъ-же имъ худо идти, дѣламъ-то! Да,
Записки охотника. I. 16

вѣдь, вы, наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просвѣтитъ изволили приѣздомъ-то своимъ, осчастливили по гробъ дней. Слава тебѣ Господи, Аркадій Павлычъ, слава тебѣ Господи! Благополучно обстоитъ все милостью вашей.

Тутъ Софронъ помолчалъ, поглядѣлъ на барина и, какъ-бы снова увлеченный порывомъ чувства (притомъ-же и хмѣль бралъ свое), въ другой разъ попросилъ руки и заплъ пуще прежняго:

— Ахъ вы, отцы наши милостивцы.... и.... ужь что! Ей-Богу, совсѣмъ дуракомъ отъ радости сталъ.... Ей-Богу, смотрю да не вѣрю.... Ахъ, вы, отцы наши!...

Аркадій Павлычъ глянулъ на меня, усмѣхнулся и спросилъ: „N'est ce pas, que c'est touchant?“

— Да, батюшка Аркадій Павлычъ, продолжалъ неугомонный бурмистръ: — какъ-же вы это? Сокрушаете вы меня совсѣмъ, батюшка: извѣститъ меня не изволили о вашемъ приѣздѣ-то. Гдѣ-же вы ночку-то проведете? Вѣдь, тутъ нечистота, соръ....

— Ничего, Софронъ, ничего, съ улыбкой отвѣчалъ Аркадій Павлычъ: — здѣсь хорошо.

— Да, вѣдь, отцы вы наши — для кого хо-

рошо: для нашего брата мужика хорошо; а, вѣдь, вы.... ахъ, вы, отцы мои милостивцы, ахъ вы, отцы мои!.... Простите меня, дурака, съ ума спятилъ, ей-Богу, одурѣлъ вовсе.

Между-тѣмъ подали ужинъ; Аркадій Павлычъ началъ кушать. Сына своего старикъ прогналъ — дескать, духоты напущаешь.

— Ну, что, размежевался, старина? спросилъ г-нъ Пѣночкинъ, который явно желалъ поддѣлаться подъ мужицкую рѣчь и мнѣ подмигивалъ.

— Размежевались, батюшка: все твоею милостью. Третьяго дня сказку подписали. Хлыновскіе-то сначала поломались.... поломались, отецъ, точно. Требовали.... требовали.... и, Богъ знаетъ чего, требовали; да, вѣдь, дурачье, батюшка, народъ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича удоблѣтворили; все по твоему приказу дѣйствовали, батюшка; какъ ты изволилъ приказать, такъ мы и дѣйствовали, и съ вѣдома Егора Дмитрича все дѣйствовали.

— Егоръ мнѣ докладывалъ, важно замѣтилъ Аркадій Павлычъ.

— Какъ-же, батюшка, Егоръ Дмитричъ, какъ-же.

— Ну, и стало быть вы теперь довольны?

Софронъ только того и ждалъ. Ахъ, вы, отцы наши, милостивцы наши, загълъ онъ опять! да помилуйте вы меня.... да, вѣдь, мы за васъ, отцы наши, денно и ношно Господу Богу молимся.... Земли, конечно, маловато....

Пѣночкинъ перебилъ его. — Ну, хорошо, хорошо, Софронъ, знаю, ты мнѣ усердный слуга.... А что, какъ умолотъ?

Софронъ вздохнулъ.

— Ну, отцы вы наши, умолотъ-то небольшо хорошъ. Да что, батюшка Аркадій Павлычъ, позвольте вамъ доложить, дѣльцо какое вышло. (Тутъ онъ приблизился, разводя руками, къ господину Пѣночкину, нагнулся и прищурилъ одинъ глазъ.) Мертвое тѣло на нашей землѣ оказалось.

— Какъ такъ?

— И самъ ума не приложу, батюшки, отцы вы наши: видно врагъ попуталъ. Да, благо, подлѣ чужой межи оказалось, а только не на нашей землѣ. Я его тотчасъ на чужой-то клинъ и приказалъ стащить, пока можно было, да караулъ приставилъ и своимъ заказалъ: молчать! говорю. А становому на всякой случай объяснилъ: вотъ какіе порядки, говорю; да чайкомъ

его, да благодарность.... Вѣдь, что, батюшка, думаете? Вѣдь, осталось у чужаковъ на шеѣ; а, вѣдь, мертвое тѣло, что двѣсти рублей — какъ калачь.

Г-нъ Пѣночкинъ много смѣялся уловкѣ своего бурмистра и нѣсколько разъ сказалъ мнѣ, указывая на него головой: „*Quel gaillard, а?*“

Между тѣмъ на дворѣ совсѣмъ стемнѣло; Аркадій Павлычъ велѣлъ со стола прибирать и сѣна принести. Каммердинеръ послалъ намъ простыни, разложилъ подушки; мы легли. Софронъ ушелъ къ себѣ, получивъ приказаніе на слѣдующій день. Аркадій Павлычъ, засыпая, еще потолковалъ немного объ отличныхъ качествахъ русскаго мужика и тутъ-же замѣтилъ мнѣ, что, со времени управленія Софрона, за Шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки.... Сторожъ заколотилъ въ доску; ребенокъ, видно еще неуспѣвшій проникнуться чувствомъ должнаго самоотверженія, запищалъ гдѣ-то въ избѣ.... Мы заснули.

На другой день утромъ мы встали довольно рано. Я было собрался ѣхать въ Рябово, но Аркадій Павлычъ желалъ показать мнѣ свое имѣнье и упросилъ меня остаться. Я и самъ былъ непрочъ убѣдиться на дѣлѣ въ отличныхъ

качествахъ государственнаго человѣка — Софрона. Явился бурмистръ. На немъ былъ синій армякъ, подпоясанный краснымъ кушакомъ. Говорилъ онъ гораздо меньше вчерашняго, глядѣлъ зорко и пристально въ глаза барину, отвѣчалъ складно и дѣльно. Мы вмѣстѣ съ нимъ отправились на гумно. Софроновъ сынъ, трехъ-аршинный староста, по всѣмъ признакамъ человѣкъ весьма глупый, такъ-же пошелъ за нами, да еще присоединился къ намъ земскій Ѳедосѣичъ, отставной солдатъ съ огромными усами и престраннымъ выраженіемъ лица: точно онъ весьма давно тому назадъ чему-то необыкновенно удивился, да съ тѣхъ поръ ужъ и не пришелъ въ себя. Мы осмотрѣли гумно, ригу, овины, сарай, вѣтреную мельницу, скотный дворъ, зелена, коноплянники; все было дѣйствительно въ отличномъ порядкѣ: одни унылыя лица мужиковъ приводили меня въ нѣкоторое недоумѣніе. Кроме полезнаго, Софронъ заботился еще о пріятномъ: всѣ канавы обсадилъ ракишникомъ, между скирдами на гумнѣ дорожки провелъ и песочкомъ посыпалъ, на вѣтряной мельницѣ устроилъ флюгеръ въ видѣ медвѣдя съ разинутой пастью и краснымъ языкомъ, къ кирпичному скотному двору прилѣпилъ нѣчто въ родѣ греческаго

фронтонъ и подъ фронтонѣмъ бѣлилами надписаль: „Пастроен вселе Шипилофке втысеча восем Содъ саракавомъ году. Сей скотный дѣфоръ.“ — Аркадій Павлычъ разнѣжился совершенно, пустился излагать мнѣ на французскомъ языкѣ выгоды оброчнаго состояннѣя, при чемъ однако замѣтилъ, что барщина для помѣщиковъ выгоднѣе, — да мало ли чего нѣтъ!... Началъ давать бурмистру совѣты, какъ сажать картофель, какъ для скотины кормъ заготовлять и пр. Софронъ выслушивалъ барскую рѣчь со вниманіемъ, иногда возражалъ, но уже не величалъ Аркадія Павлыча ни отцемъ, ни милостивцемъ и все напиралъ на то, что земли-де у нихъ маловато, прикупить бы не мѣшало. „Чтѣ-жь, купите,“ говорилъ Аркадій Павлычъ: — „на мое имя, я непрочъ.“ — На эти слова Софронъ не отвѣчалъ ничего, только бороду поглаживалъ. — „Однако, теперь-бы не мѣшало съѣздить въ лѣсъ,“ замѣтилъ г. Пѣночкинъ. Тотчасъ привели намъ верховыхъ лошадей; мы поѣхали въ лѣсъ или, какъ у насъ говорится, въ „заказъ.“ Въ этомъ „заказѣ“ нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадій Павлычъ похвалилъ Софрона и потрепалъ его по плечу. Г. Пѣночкинъ придерживался на счетъ лѣсоводства русскихъ понятій и

тутъ-же разсказаль мнѣ презабавный, по его словамъ, случай, какъ одинъ путешникъ-помѣщикъ вразумилъ своего лѣсника, выдравъ у него около половины бороды, въ доказательство того, что отъ подрубки лѣсъ гуще не вырастаетъ.... Впрочемъ, въ другихъ отношеніяхъ и Софронъ, и Аркадій Павлычъ оба не чуждались нововведеній. По возвращеніи въ деревню, бурмистръ повелъ насъ посмотрѣть вѣялку, недавно выпсанную имъ изъ Москвы. Вѣялка точно дѣйствовала хорошо, но еслибы Софронъ зналъ, какая непріятность ожидала и его, и барина на этой послѣдней прогулкѣ, онъ вѣроятно остался-бы съ нами дома.

Вотъ-что случилось. Выходя изъ сарая, увидали мы слѣдующее зрѣлище. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ двери, подлѣ грязной лужи, въ которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: одинъ — старикъ лѣтъ шестидесяти, другой — малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босую ногу и подпоясанные веревками. Земскій Оедосѣвичъ усердно хлопоталъ около нихъ и, вѣроятно, успѣлъ-бы уговорить ихъ удалиться, еслибъ мы замѣшкались въ сараѣ, но, увидѣвъ насъ, онъ вытянулся въ струнку и замеръ на мѣстѣ. Тутъ-

же стоялъ староста съ разинутымъ ртомъ и недоумѣвающими кулаками. Аркадій Павлычъ нахмурился, закусилъ губу и подошелъ къ просителямъ. Оба, молча, поклонились ему въ ноги.

— Что вамъ надобно? о чемъ вы просите? спросилъ онъ строгимъ голосомъ и нѣсколько въ носъ. (Мужики взглянули другъ на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно отъ солнца, да поскорѣй дышать стали.)

— Ну, что-же? продолжалъ Аркадій Павлычъ и тотчасъ-же обратился къ Софрону: — изъ какой семьи?

— Изъ Тоболѣевой семьи, медленно отвѣчалъ бурмистръ.

— Ну, что-же вы? заговорилъ опять г. Пѣночкинъ: — языковъ у васъ нѣтъ, что-ли? Сказывай ты, чего тебѣ надобно? прибавилъ онъ, качнувъ головой на старика. — Да не бойся дуракъ.

Старикъ вытянулъ свою темно-бурую сморщенную шею, криво разинулъ посинѣвшія губы и сильнымъ голосомъ произнесъ: „Заступись, государь!“ и снова стукнулъ лбомъ въ землю. Молодой мужикъ тоже поклонился. Аркадій Павлычъ съ достоинствомъ посмотрѣлъ на ихъ затылки, закинулъ голову и разставилъ немного

ноги. — Чтò такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть.... Замучены совсѣмъ. (Старикъ говорилъ съ трудомъ).

— Кто тебя замучилъ?

— Да Софронъ Яковличъ, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Антипомъ, ботюшка.

— А это кто?

— А сынокъ мой, батюшка.

— Аркадій Павлычъ помолчалъ опять и усамил повелъ.

— Ну, такъ чѣмъ-же онъ тебя замучилъ? заговорилъ онъ, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, раззорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. 'Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свель и хозяйку мою избилъ — вонъ его [милость. (Онъ указалъ на старосту).

— Гмъ! произнесъ Аркадій Павлычъ.

— Не дай въ конецъ раззориться, кормилецъ.

Г. Пѣночкинъ нахмурился. — Чтò-же это

однако значить? спросилъ онъ бурмистра въ полголоса и съ недовольнымъ видомъ.

— Пьяный человѣкъ-съ, отвѣчалъ бурмистръ, въ первый разъ употребляя слово-ерь: — не-работящій. Изъ недоимки не выходитъ вотъ ужъ пятый годъ-съ.

— Софронъ Яковличъ за меня недоимку взнесъ, батюшка, продолжалъ старикъ: — вотъ пятый годочекъ пошолъ, какъ взнесъ, а какъ взнесъ — въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и....

— А отъ чего недоимка за тобой завелась? грозно спросилъ г. Пѣночкинъ. (Старикъ по-нурилъ голову.) — Чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? (Старикъ разинулъ было ротъ.) Знаю я васъ, съ запальчивостью продолжалъ Аркадій Павлычъ: — ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай.

— И грубіяны тоже, ввернулъ бурмистръ въ господскую рѣчь.

— Ну, ужъ это само собою разумѣется. Это всегда такъ бываетъ; это ужъ я не разъ замѣтилъ. Цѣлый годъ распутствуетъ, грабитъ, а теперь въ ножахъ валяется.

— Батюшка, Аркадій Павлычъ, съ отчаяньемъ

заговорилъ старикъ: — помилуй, заступись, — какой я грубиянъ? Какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, не въ моготу приходится. Не-взлюбилъ меня Софронъ Яковличъ, за что не взлюбилъ — Господь ему судья, раззоряетъ въ конецъ, батюшка.... Последняго вотъ сыночка.... и того.... (На желтыхъ и сморщенныхъ глазахъ старика свергнула слезинка). — Помилуй, государь, заступись....

— Да и не насъ однихъ, началъ было молодой мужикъ.

Аркадій Павлычъ вдругъ вспыхнулъ:

— А тебя кто спрашиваетъ, а? Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи.... Это что такое? Молчать, говорятъ тебѣ! молчать!... Ахъ, Боже мой! да это, просто, бунтъ. Нѣтъ, братъ, у меня бунтовать не совѣтую.... у меня.... (Аркадій Павлычъ шагнулъ впередъ, да, вѣроятно, вспомнилъ о моемъ присутствіи, отвернулся и положилъ руки въ карманы).... Je vous demande bien pardon, mon cher, сказалъ онъ съ принужденной улыбкой, значительно понизивъ голосъ. — C'est le mauvais côté de la medaille.... Ну, хорошо, хорошо, продолжалъ онъ, не глядя на мужиковъ: — я прикажу.... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) — Ну, да,

вѣдь, я сказалъ вамъ.... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорятъ вамъ.

Аркадій Павлычъ обернулся къ нимъ спиной. — „Вѣчно неудовольствія“, проговорилъ онъ сквозъ зубы и пошелъ большими шагами домой. Софронъ отправился вслѣдъ за нимъ. Земскій выпучилъ глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнулъ утокъ изъ лужи. Просители постояли еще немного на мѣстѣ, посмотрѣли другъ на друга и поплелись, не оглядываясь, во свояси.

Часа два спустя я уже былъ въ Рябовѣ и вмѣстѣ съ Анпадистомъ, знакомымъ мнѣ мужикомъ, собирался на охоту. До самого моего отъѣзда Пѣночкинъ дулся на Софрона. Заговорилъ я съ Анпадистомъ о Шипиловскихъ крестьянахъ, о г. Пѣночкинѣ, спросилъ его не знаетъ-ли онъ тамошняго бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?... вона!

— А что онъ за человѣкъ?

— Собака, а не человѣкъ: такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да, вѣдь, Шипиловка только-что числится за тѣмъ, какъ бишь его, за Пѣночкинымъ-то; вѣдь, не онъ ей владѣетъ: Софронъ владѣетъ.

— Неужто?

— Какъ своимъ добромъ владѣть. Крестьяне ему кругомъ должны; работаютъ на него словно батраки: кого съ обозомъ посылаетъ, кого куды.... затормошилъ совсѣмъ.

— Земли у нихъ, кажется, немного?

— Немного? Онъ у однихъ Хлыновскихъ восемьдесятъ десятинъ нанимаетъ, да у нашихъ сто двадцать; вотъ-те и цѣлыхъ полтора десятинъ. Да онъ не одной землей промышляетъ: и лошадьми промышляетъ, и скотомъ, и дегтемъ, и масломъ, и пенькой, и чѣмъ-чѣмъ.... Умень, больно умень, и богатъ-же, бестія! Да вотъ чѣмъ плохъ — дерется. Звѣрь — не человекъ; сказано: собака, песъ, какъ есть, песъ.

— Да чтò-жь они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! недоимокъ не бываетъ, такъ ему чтò? Да поди ты, прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія: — пожалуйся-ка. Нѣтъ, онъ тебя.... да, поди-ка.... Нѣтъ ужъ онъ тебя, вотъ какъ того....

Я вспомнилъ про Антипа и рассказалъ ему, чтò видѣлъ.

— Ну, промолвилъ Анпадистъ: заѣсть онъ его теперь; заѣсть человека совсѣмъ. Староста теперь его забьетъ. Экой безталанный, подума-

ешь, бѣдняга! И за что терпѣть.... На сходкѣ съ нимъ повздорилъ, съ бурмистромъ-то, не въ терпежъ знать пришлось.... Велико дѣло! Вотъ онъ его, Антипа-то, клевать и началъ. Теперь дождеть. Вѣдь, онъ такой песъ, собака, прости, Господи, мое прегрѣшенъе, знаетъ, на кого налечь. Стариковъ-то, что побогаче да посемейнѣй, не трогаетъ, лысой чортъ, а тутъ вотъ и раскодился! Вѣдь, онъ Антиповыхъ-то сыновей безъ очереди въ некруты отдалъ, мошенникъ безпардонный, песъ, прости, Господи, мое прегрѣшенъе!

Мы отправились на охоту.

К О Н Т О Р А.

Дѣло было осенью. Уже нѣсколько часовъ бродилъ я съ ружьемъ по полямъ и, вѣроятно, прежде вечера не вернулся-бы въ постоянный дворъ на большой Курской дорогѣ, гдѣ ожидала меня моя тройка еслибъ чрезвычайно мелкій и холодной дождь, который съ самаго утра неугомонно и безжалостно приставалъ ко мнѣ, не заставилъ меня наконецъ искать гдѣ-нибудь по близости хотя временнаго убѣжища. Пока я еще соображалъ въ какую сторону пойти, глазамъ моимъ внезапно представился низкій шалашъ возлѣ поля, засѣяннаго горохомъ. Я подошелъ къ шалашу, заглянулъ подъ соломённый наметъ и у видалъ старика до того дряхлаго, что мнѣ тотчасъ-же вспомнился тотъ умирающій козель, котораго Робинсонъ нашелъ въ одной изъ пещеръ своего острова. Старикъ сидѣлъ на

корточкахъ, жмурилъ свои потемнѣвшіе, маленькіе глаза и торопливо, но осторожно, на подобіе зайца (у бѣдняка не было ни одного зуба), жевалъ сухую и твердую горошину, безпрестанно перекачивая ее со стороны на сторону. Онъ до того погрузился въ свое занятіе, что не замѣтилъ моего прихода.

— Дѣдушка! а, дѣдушка! проговорилъ я.

Онъ пересталъ жевать, высоко поднялъ брови и съ усиліемъ открылъ глаза.

— Чего? прошамшилъ онъ осиплымъ голосомъ.

— Гдѣ тутъ деревня близко? спросилъ я.

Старикъ опять пустился жевать. Онъ меня не разслушалъ. Я повторилъ свой вопросъ громче прежняго.

— Деревня?... да тебѣ что надо?

— А вотъ отъ дождя укрыться.

— Чего?

— Отъ дождя укрыться.

— Да! (Онъ почесалъ свой загорѣлый затылокъ.) Ну, ты, тово, ступай, заговорилъ онъ вдругъ беспорядочно, размахивая руками: — во.... вотъ, какъ мимо лѣска пойдешь — вотъ какъ пойдешь — тутъ-те и будетъ дорога; ты ее-то брось, дорогу-то, да все направо забирай,

все забирай, все забирай, все забирай.... Ну, тамъ-те и будетъ Ананьево. А то и въ Ситовку пройдешь.

Я съ трудомъ понималъ старика. Усы ему мѣшали, да и языкъ плохо повиновался.

— Да ты откуда? спросилъ я его.

— Чего?

— Откуда ты?

— Изъ Ананьева.

— Чтò-жь ты тутъ дѣлаешь?

— Чего?

— Чтò ты дѣлаешь тутъ?

— А сторожемъ сажу.

— Да чтò-жь ты стережешь?

— А горохъ.

Я не могъ не разсмѣяться.

— Да, помилуй, — сколько тебѣ лѣтъ?

— А Богъ знаетъ.

— Чай, ты плохо видишь?

— Чего?

— Видишь плохо, чай?

— Плохо. Бываетъ такъ, что ничего не слышу.

— Такъ гдѣ-жь тебѣ сторожемъ-то быть, помилуй?

— А про то старшіе знаютъ.

„Старшіе!“ подумалъ я и, не безъ сожалѣнія, поглядѣлъ на бѣднаго старика. Онъ ощупался, досталъ изъ-за пазухи кусокъ чорстваго хлѣба и принялся сосать, какъ дитя, съ усиліемъ втягивая и безъ того впалыя щеки.

Я пошелъ въ направленіи лѣска, повернулъ на-право, забиралъ, все забиралъ, какъ мнѣ совѣтовалъ старикъ, и добрался наконецъ до большаго села съ каменной церковью въ новомъ вкусѣ, т. е. съ колоннами, и обширнымъ господскимъ домомъ, тоже съ колоннами. Еще издали, сквозь частую сѣтку дождя, замѣтилъ я избу съ тесовой крышей и двумя трубами, повыше другихъ, по всей вѣроятности жилище старосты, куда я и направилъ шаги свои, въ надеждѣ найти у него самоваръ, чай, сахаръ и несовершенно кислыя сливки. Въ сопровожденіи моей продрогшей собаки взошелъ я на крылечко, въ сѣни, отворилъ дверь, но, вмѣсто обыкновенныхъ принадлежностей избы, увидалъ нѣсколько столовъ, заваленныхъ бумагами, два красныхъ шкафа, забрызганныя чернильницы, оловянные песочницы въ пудъ вѣсу, длиннѣйшія перья и прочее. На одномъ изъ столовъ сидѣлъ малый лѣтъ двадцати съ пухлымъ и болѣзненнымъ лицомъ, крошечными глазками, жирнымъ лбомъ

и безконечными висками. Одѣтъ онъ былъ, какъ слѣдуетъ, въ сѣрый нанковый кафтанъ съ глянцемъ на воротникѣ и на желудѣѣ.

— Чего вамъ надобно? спросилъ онъ меня, дернувъ кверху голову, какъ лошадь, которая не ожидала, что ее возьмутъ за морду.

— Здѣсь прикащикъ живетъ.... или....

— Здѣсь главная господская контора, перебилъ онъ меня. Я вотъ дежурнымъ сижу.... Развѣ вы вывѣску не видали? На то вывѣска прибита.

— А гдѣ-бы тутъ обсушиться? Самоваръ у кого-нибудь на деревнѣ есть?

— Какъ не быть самоваровъ, съ важностью возразилъ малый въ сѣромъ кафтанѣ: — ступайте къ отцу Тимофею, а не то въ дворовую избу, а не то къ Назару Тарасычу, а не то къ Аграфенѣ-птишницѣ.

— Съ кѣмъ ты это говоришь, болванъ ты этакой? спать не даешь, болванъ! раздался голосъ изъ сосѣдней комнаты.

— А вотъ, господинъ какой-то зашелъ, спрашиваетъ, гдѣ-бы обсушиться.

— Какой тамъ господинъ?

— А не знаю. Съ собакой и ружьемъ.

Въ сосѣдней комнатѣ заскрипѣла кровать.

Дверь отворилась, и вошелъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, толстый, низкаго росту, съ бычачьей шеей, глазами на-выкатѣ, необыкновенно круглыми щеками и съ лоскомъ по всему лицу.

— Чего вамъ угодно? спросилъ онъ меня.

— Обсушиться.

— Здѣсь не мѣсто.

— Я не зналъ, что здѣсь контора; а впрочемъ, я готовъ заплатить....

— Оно, пожалуй, можно и здѣсь, возразилъ толстякъ: — вотъ, не угодно-ли сюда. (Онъ повелъ меня въ другую комнату, только не въ ту, изъ которой вышелъ.) Хорошо-ли здѣсь вамъ будетъ?

— Хорошо.... А нельзя-ли чаю со сливками?

— Извольте, сейчасъ. Вы пока извольте раздѣться и отдохнуть, а чай сею минутою будетъ готовъ.

— А чье это имѣнье?

— Госпожи Лосняковой, Елены Николаевны.

Онъ вышелъ. Я оглянулся: вдоль перегородки, отдѣлявшей мою комнату отъ конторы стоялъ огромный кожаный диванъ; два стула, тоже кожаныхъ, съ высочайшими спинками, торчали по обѣимъ сторонамъ единственнаго окна, выходившаго на улицу. На стѣнахъ, оклеен-

ныхъ зелеными обоями съ розовыми разводами, висѣли три огромныя картины, писанныя масляными красками. На одной изображена была лягавая собака съ голубымъ ошейникомъ и надписью: „Вотъ моя отрада“; у ногъ собаки текла рѣка, а на противоположномъ берегу рѣки подъ сосною сидѣлъ заяцъ непомѣрной величины, съ приподнятымъ ухомъ. На другой картинѣ два старика ѣли арбузы; изъ-за арбуза виднѣлся въ отдаленіи греческій портикъ съ надписью: „Храмъ Удовлетворенья“. На третьей картинѣ представлена была женщина въ лежащемъ положеніи, en rassoingé, съ красными колѣбными и очень толстыми пятками. Собака моя, нимало не медля, съ сверхъестественными усиліями залѣзла подъ диванъ и, повидимому, нашла тамъ много пыли, потому-что разчихалась страшно. Я подошелъ къ окну. Черезъ улицу отъ господскаго дома до конторы, въ косвенномъ направленіи лежали доски: предосторожность весьма полезная, потому-что кругомъ, благодаря нашей черноземной почвѣ и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей къ улицѣ задомъ, происходило, что обыкновенно происходитъ около господскихъ усадебъ: дѣвки въ полинялыхъ

ситцевыхъ платьяхъ шныряли взадъ и впередъ; дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятскаго лѣнливо махала хвостомъ и, высоко задравши морду, глодала заборъ; курицы кудахтали; чахоточныя индѣйки безпрестанно перекликивались. На крылечкѣ темнаго и гнилаго строенія, вѣроятно, бани, сидѣлъ дюжій паренъ съ гитарой и не безъ удали напѣвалъ извѣстный романсъ:

„Э — я ѿ пасатыню удаляюсь
Ата прекарасныхъ седѣшонеха мѣстъ“, и проч.

Толстякъ вошелъ ко мнѣ въ комнату.

— Вотъ вамъ чай несутъ, сказалъ онъ мнѣ съ пріятной улыбкой.

Малый въ сѣромъ кафтанѣ, конторскій дежурный, расположилъ на старомъ ломберномъ столѣ самоваръ, чайникъ, стаканъ съ разбитымъ блюдечкомъ, горшокъ сливокъ и связку болховскихъ котѣлокъ, твердыхъ какъ камень. Толстякъ вышелъ.

— Что это, спросилъ я дежурнаго: — приказишь?

— Никакъ нѣтъ-съ: былъ главнымъ кассиромъ-съ, а теперь въ главные конторщики произведенъ.

— Да развѣ у васъ нѣтъ прикащиковъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Есть бурмистеръ, Михайла Викуловъ, а прикащика нѣту.

— Такъ управляющій есть?

— Какъ-же, есть: нѣмецъ, Линдамандоль, Карло Карлычъ, — только онъ не распоряжается.

— Кто-жь у васъ распоряжается?

— Сама барыня.

— Вотъ какъ!... Чтѣ-жь, у васъ въ конторѣ много народу сидитъ?

Малый задумался.

— Шесъ человѣкъ сидитъ.

— Кто да кто? спросилъ я.

— А вотъ кто: сначала будетъ Василій Николаевичъ, главный кассиръ; а то Петръ конторщикъ, Петровъ братъ Иванъ конторщикъ, другой Иванъ конторщикъ, Коскенкинъ Наркизовъ, тоже конторщикъ, я вотъ, — да всѣхъ и не перечесть.

— Чай, у вашей барыни дворни много?

— Нѣтъ, не то, чтобы много....

— Однако, сколько?

— Человѣкъ, пожалуй-что, полтора ста набѣжитъ.

Мы оба помолчали.

— Ну, что-жь, ты хорошо пишешь? началъ я опять.

Малый улыбнулся во весь ротъ, кивнуль головой, сходилъ въ контору и принесъ исписанный листокъ.

— Вотъ мое писанье, промолвилъ онъ, не переставая улыбаться.

Я посмотрѣлъ: на четвертушкѣ сѣровой бумаги красивымъ и крупнымъ почеркомъ былъ написанъ слѣдующій:

П Р И К А З Ъ.

Отъ главной господской домово́й ананьевской конторы бурмистру Михайлѣ Викулову. № 209.

„Приказывается тебѣ немедленно по полученіи сего розыскать: кто въ прошлую ночь, въ пьяномъ видѣ и съ неприличными пѣснями прошелъ по Аглицкому саду, и гувернанку мадамъ Энжени французенку разбудилъ и обезпокоилъ? и чего сторожа глядѣли, и кто сторожемъ въ саду сидѣлъ, и таковыя безпорядки, допустилъ? О всемъ вышепрописанномъ приказывается тебѣ въ подробности развѣдать, и немедленно конторѣ донести.

Главный конторщикъ Николай Хвостовъ.“

Къ приказу была приложена огромная гербовая печать съ надписью: „Печать главной господской ананьевской конторы“, а внизу стояла приписка: „Въ точности исполнить. Елена Лоснякова“.

— Это сама барыня приписала, что-ли? спросилъ я.

— Какъ-же-съ сами: онѣ всегда сами. А то и приказъ дѣйствовать не можетъ.

— Ну, что-жь вы бурмистру пошлете этотъ приказъ?

— Нѣтъ-съ. Самъ прійдетъ, да прочитаетъ. То-есть, ему прочтутъ; онъ, вѣдь, грамотѣ у насъ не знаетъ. (Дежурный опять помолчалъ.) А что-съ, прибавилъ онъ, ухмыляясь: — вѣдь хорошо написано-съ?

— Хорошо.

— Сочинялъ-то, признаться не я. На то Коскенкинъ мастеръ.

— Какъ?... Развѣ у васъ приказы сперва сочиняются?

— А какъ-же-съ? Не прямо-же на бѣло писать.

— А сколько ты жалованья получаешь? спросилъ я.

— Тридцать пять рублей и пять рублей на сапоги?

— И ты доволенъ?

— Извѣстно, доволенъ. Въ контору-то у насъ не всякій попадаетъ. Мнѣ-то, признаться, самъ Богъ велѣлъ: у меня дядюшка дворецкимъ служить.

— И хорошо тебѣ?

— Хорошо-съ. Правду сказать, продолжалъ онъ со вздохомъ: — у купцовъ, на-примѣръ, то-есть, нашему брату лучше. У купцовъ нашему брату очень хорошо. Вотъ къ намъ вчера пріѣхалъ купецъ изъ Венева, — такъ мнѣ его работникъ сказывалъ.... Хорошо, нѣча сказать, хорошо.

— А что, развѣ купцы жалованья больше назначаютъ?

— Сохрани Богъ! Да онъ тебя въ шею прогонитъ, коли ты у него жалованья запросишь. Нѣтъ, ты у купца живи навѣру, да на-страхъ. Онъ тебя и кормитъ, и поитъ, и одѣваетъ, и все. Угодишь ему, — еще больше дастъ.... Что твое жалованье: не надо его совсѣмъ.... И живетъ-то купецъ по простотѣ, по русскому, по нашинскому: поѣдешь съ нимъ въ дорогу, — онъ пьетъ чай, и ты пей чай; что онъ кушаетъ, то и ты кушай. Купецъ.... какъ можно: купецъ не то что баринъ. Купецъ не блажитъ: ну, осерчаетъ

— побьетъ да и дѣло съ концомъ. Не можить, не шпыняетъ.... А съ бариномъ бѣда! Все не по немъ: и то нехорошо, и тѣмъ не угодилъ. Подашь ему стаканъ съ водой или кушанье — „ахъ, вода, воняетъ! ахъ, кушанье воняетъ!“ Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять — „ну вотъ, теперь хорошо, ну вотъ, теперь не воняетъ“. А ужъ барыни, скажу вамъ, а ужъ барыни что!... или вотъ еще барышни!...

— Оедюшка? раздался голосъ толстяка въ конторѣ.

Дежурный проворно вышелъ. Я допилъ стаканъ чаю, легъ на диванъ и заснулъ. Я спалъ часа два.

Проснувшись хотѣлъ было подняться, да лѣнь одолѣла, закрылъ глаза, но не заснулъ опять. За перегородкой въ конторѣ тихонько разговаривали. Я невольно сталъ прислушиваться.

— Тэкъ-съ, тэкъ-съ, Николай Еремѣичъ, говорилъ одинъ голосъ: — тэкъ-съ. Эвтаго нельзя въ расчетъ не принять-съ; нельзя-съ, точно.... Гмъ! (Говорящій кашлянулъ).

— Ужъ повѣрьте мнѣ, Гаврила Антонычъ, возразилъ голосъ толстяка: — ужъ мнѣ-ли не знать здѣшнихъ порядковъ, сами посудите.

— Кому-же и знать, Николай Еремѣичъ: вы здѣсь, можно сказать, первое лицо-сь. Ну, такъ какъ-же-сь? продолжалъ незнакомый мнѣ голосъ: — чѣмъ-же мы порѣшимъ, Николай Еремѣичъ? Позвольте полюбопытствовать.

— Да чѣмъ порѣшимъ, Гаврила Антоничъ? Отъ васъ, такъ сказать, дѣло зависить: вы, кажется, не охотствуете.

— Помилуйте, Николай Еремѣичъ, что вы-сь? Наше дѣло торговое, купецкое; наше дѣло купить. Мы на томъ стоимъ, Николай Еремѣичъ, можно сказать.

— Восемь рублей, проговорилъ съ разстановкою толстякъ.

Послышался вздохъ.

— Николай Еремѣичъ, больно много просить изволите.

— Нельзя, Гаврила Антоничъ, иначе поступить; какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, нельзя.

Наступило молчаніе.

Я тихонько приподнялся и посмотрѣлъ сквозь трещину въ перегородкѣ. Толстякъ сидѣлъ ко мнѣ спиной. Къ нему лицомъ сидѣлъ купецъ, лѣтъ сорока, сухощавый и блѣдный, словно вымазанный постнымъ масломъ. Онъ безпрестанно

шевелилъ у себя въ бородѣ и очень проворно моргалъ глазами и губами подергиваль.

— Удивительныя, можно сказать, зелены въ нынѣшнемъ году-съ, заговорилъ онъ опять: — я все ѣхалъ да любовался. Отъ самаго Воронежа удивительныя пошли, первый сортъ-съ, можно сказать.

— Точно зелены недурны, отвѣчалъ главный конторщикъ: — да, вѣдь, вы знаете, Гаврила Антонычъ, осень всключеть, а какъ весна захочетъ.

— Дѣйствительно такъ, Николай Еремѣичъ: все въ Божьей волѣ; совершенную истину изводили сказать.... А никакъ вашъ гость-то проснулся-съ.

Толстякъ обернулся.... прислушался.

— Нѣтъ, спать. А впрочемъ, можно того.... Онъ подошолъ къ двери.

— Нѣтъ, спать, повторилъ онъ и вернулся на мѣсто.

— Ну, такъ какъ-же, Николай Еремѣичъ? началъ опять купецъ: — надо дѣльце-то покончить.... Такъ ужъ и быть, Николай Еремѣичъ, такъ ужъ и быть, продолжалъ онъ, безпрерывно моргая: — двѣ сѣренъкихъ и бѣленькую вашей милости, а тамъ (онъ кивнулъ головой

на барскій дворъ) шесть съ полтиною. По рукамъ, что-ли?

— Четыре сѣренъкихъ, отвѣчалъ прикащикъ.

— Ну, три!

— Четыре серенькихъ безъ бѣленькой.

— Три, Николай Еремѣичъ.

— Съ половиной три и ужъ ни копѣйки меньше.

— Три, Николай Еремѣичъ.

— И не говорите, Гаврила Антонычъ.

— Экой несговорчивый какой, пробормоталъ купецъ. Эдакъ я лучше самъ съ барыней покончу.

— Какъ хотите, отвѣчалъ толстякъ: — давно-бы такъ. Что, въ самъ дѣлѣ, вамъ беспокоиться?... И гораздо лучше.

— Ну полно, полно, Николай Еремѣичъ. Ужъ сейчасъ и разсердился! Я, вѣдь, эфто такъ сказалъ.

— Нѣтъ, что-жъ въ самомъ дѣлѣ....

— Полно-же, говорятъ.... Говорятъ пошутить. Ну, возьми свои три съ половиной, что съ тобой будешь дѣлать.

— Четыре-бы взять слѣдовало, да я, дуракъ, поторопился, проворчалъ толстякъ.

— Такъ, тамъ, въ домѣ-то, шесть съ поло-

виною-съ, Николай Еремѣичъ — за шесть съ половиной хлѣбъ отдается?

— Шесть съ половиной ужъ сказано.

— Ну, такъ по рукамъ, Николай Еремѣичъ. (Купецъ ударилъ своими растопыренными пальцами по ладони конторщика.) И съ Богомъ! (Купецъ всталъ.) Такъ я, батюшка Николай Еремѣичъ, теперь пойду къ барынѣ-съ и объ себѣ доложить велю-съ, и такъ ужъ я и скажу: Николай Еремѣичъ, дескать, за шесть съ полтиною-съ порѣшили-съ.

— Такъ и скажите, Гаврила Антонычъ.

— А теперь извольте получить.

Купецъ вручилъ прикащику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнулъ головой, взялъ свою шляпу двумя пальчиками, передернулъ плечами, придалъ своему стану волнообразное движеніе и вышелъ, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремѣичъ подошелъ къ стѣнѣ и, сколько я могъ замѣтить, началъ разбирать бумаги, врученныя купцомъ. Изъ двери высунулась рыжая голова съ густыми бакенбардами.

— Ну, что? спросила голова: — все какъ слѣдуетъ?

— Все какъ слѣдуетъ.

— Сколько?

Толстякъ съ досадою махнулъ рукой и указалъ на мою комнату.

— А, хорошо! возразила голова и скрылась.

Толстякъ подошелъ къ столу, сѣлъ, раскрылъ книгу, досталъ счеты и началъ откидывать и прикидывать костьяжки, дѣйствуя не указательнымъ, но третьимъ пальцемъ правой руки: оно приличнѣе.

Вошелъ дежурный.

— Что тебѣ?

— Сидоръ пріѣхалъ изъ Голоплекъ.

— А! ну, позови его. Постой, постой... Поди сперва посмотри, что тотъ, чужой-то баринъ, спитъ все, или проснулся.

Дежурный осторожно вошелъ ко мнѣ въ комнату. Я положилъ голову на ягташъ, замѣнявшій мнѣ подушку, и закрылъ глаза.

— Спитъ, прошепталъ дежурный, вернувшись въ контору.

Толстякъ поворчалъ сквозь зубы.

— Ну, позови Сидора, промолвилъ онъ наконецъ.

Я снова приподнялся. Вошелъ мужикъ огромнаго роста, лѣтъ тридцати, здоровый, краснощекій, съ русыми волосами и небольшою курчавою бородой. Онъ помолился на образъ, поклонился

главному конторщику, взялъ свою шляпу въ обѣ руки и выпрямился.

— Здравствуй, Сидоръ, проговорилъ толстякъ, постукивая щетами.

— Здравствуйте, Николай Еремѣичъ.

— Ну, что, какова дорога?

— Хороша, Николай Еремѣичъ. Грязновата маленько. (Мужикъ говорилъ нескоро и негромко.)

— Жена здорова?

— Что ей дѣется!

Мужикъ вздохнулъ и ногу выставилъ. Николай Еремѣичъ заложилъ перо за ухо и высморкнулся.

— Что-жь, зачѣмъ пріѣхалъ? продолжалъ онъ спрашивать, укладывая клѣтчатый платокъ въ карманъ.

— Да слышь, Николай Еремѣичъ, съ насъ плотниковъ требуютъ.

— Ну что-жь, нѣтъ ихъ у васъ, что-ли?

— Какъ имъ не быть у насъ, Николай Еремѣичъ: дача лѣсная — извѣстно. Да пора-то рабочая, Николай Еремѣичъ.

— Рабочая пора. Тò-то, вы охотники на чужихъ работать, а на свою госпожу работать не любите. Все едино!

— Работа-то все едино, точно Николай Еремѣичъ.... да что....

— Ну?

— Плата больно.... того....

— Мало чего нѣтъ! Вишь, какъ вы избаловались. Поди, ты!

— Да и то сказать, Николай Еремѣичъ, работы-то всего на недѣлю будетъ, а продержатъ мѣсяцъ. То матеріялу не хватитъ, а то и въ садъ пошлютъ дорожки чистить.

— Мало-ли чего нѣтъ! Сама барыня приказать изволила, такъ тутъ намъ съ тобой разсуждать нечего.

Сидоръ замолчалъ и началъ переступать съ ноги на ногу.

Николай Еремѣичъ скрутилъ голову на бокъ и усердно застучалъ костяжками.

— Наши... мужики... Николай Еремѣичъ... заговорилъ наконецъ Сидоръ, запинаясь на каждомъ словѣ: — приказали вашей милости.... вотъ тутъ.... будетъ.... (Онъ запустилъ свою ручищу за пазуху армяка и началъ вытаскивать оттуда свернутое полотенце съ красными разводами.)

— Чтò ты, чтò ты, дуракъ, съ ума сошелъ, что-ли? поспѣшно перебилъ его толстякъ. —

Ступай, ступай ко мнѣ въ избу, продолжалъ онъ, почти выталкивая изумленнаго мужика: — тамъ спроси жену.... она тебѣ чаю дастъ, я сей-часъ приѣду, ступай. Да небось, говорятъ, ступай.

Сидоръ вышелъ вонъ.

— Экой.... медвѣдь! пробормоталъ ему въ слѣдъ главный конторщикъ, покачалъ головой и снова принялся за счеты.

Вдругъ крики: „Купря! Купря! Купрю не сшибешь!“ раздались на улицѣ и на крыльцѣ, и немного спустя вошелъ въ контору человекъ низенькаго роста, чахоточный на видъ, съ необыкновенно-длиннымъ носомъ, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одѣтъ онъ былъ въ старенькій, изорванный сюртукъ цвѣта аделаида или, какъ у насъ говорится, оделлоида, съ плисовымъ воротникомъ и крошечными пуговками. Онъ несъ связку дровъ за плечами. Около него толпилось человекъ пять дворовыхъ людей и всѣ кричали: „Купря! Купрю не сшибешь! Въ истопники Купрю произвели, въ истопники!“ Но человекъ въ сюртукѣ съ плисовымъ воротникомъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на буйство своихъ товарищей и нисколько не измѣнился въ лицѣ. Мѣрными шагами дошелъ онъ до печки, сбро-

силъ свою ношу, приподнялся, досталъ изъ задняго кармана табакерку, вытаращилъ глаза и началъ набивать себѣ въ носъ тертый донникъ, смѣшанный съ золой.

При входѣ шумливой ватаги толстякъ нахмурилъ было брови и поднялся съ мѣста; но, увидавъ въ чемъ дѣло, улыбнулся и только велѣлъ не кричать: въ сосѣдней, дескать, комнатѣ охотникъ спитъ. — Какой охотникъ? спросили человѣка два въ одинъ голосъ.

— Помѣщикъ.

— А!

— Пускай шумятъ, заговорилъ, растопыря руки, человѣкъ съ плисовымъ воротникомъ: — мнѣ что за дѣло! лишь-бы меня не трогали. Въ истопники меня произвели....

— Въ истопники! въ истопники! радостно подхватила толпа.

— Барыня приказала, продолжалъ онъ и пожалъ плечами: — а вы погодите.... васъ еще въ свинопасы производить. А что я портной, и хорошій портной, у первыхъ мастеровъ въ Москвѣ обучался и на енараловъ шилъ.... этого у меня ни кто не отниметъ. А вы чего храбритесь?... чего? вы дармоѣды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти — я съ голоду не умру,

я не пропаду; дай мнѣ пашпортъ — я оброкъ хорошій внесу и господъ удоблетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вотъ и все!

— Вотъ и совралъ, перебилъ его парень рябой и бѣлобрысый, съ краснымъ галстукомъ и разорванными локтями: — ты и по пашпорту ходилъ, да отъ тебя копѣйки оброку господа не видали, и себѣ гроша не заработалъ; насилу ноги домой приволокъ, да съ тѣхъ поръ все въ одномъ кафтаникѣ живешь.

— А что будешь дѣлать, Константинъ Наркизычъ? возразилъ Купріянь: — влюбился человекъ — и пропалъ, и погибъ человекъ. Ты сперва съ-мое поживи, Константинъ Наркизычъ, а тогда уже и осуждай меня.

— И въ кого нашелъ влюбиться? въ урода сущаго!

— Нѣтъ, этого ты не говори, Константинъ Наркизычъ.

— Да кого ты увѣряешь? Вѣдь, я ее видѣлъ; въ прошломъ году, въ Москвѣ, своими глазами видѣлъ.

— Въ прошломъ году она дѣйствительно попортилась маленько, замѣтилъ Купріянь.

— Нѣтъ, господа, что, заговорилъ презри-

тельнымъ и небрежнымъ голосомъ человѣкъ высокаго роста, худощавый съ лицомъ усыяннымъ прыщами, завитый и намащенный, должно быть камердинеръ: — вотъ пускай намъ Купріянь Аеанасъичъ свою пѣсенку споетъ. Нутъ-ка, начните, Купріянь Аеанасъичъ!

— Да, да! подхватили другіе. — Ай, да Александра! подвужьмила Купрю, нѣча сказать... Пой, Купря!... Молодца Александра! (Дворовые люди часто, для большей нѣжности, говоря о мужчинѣ, употребляютъ женскія окончанія) — Пой!

— Здѣсь не мѣсто пѣть, съ твердостію возразилъ Купріянь: — здѣсь господская контора.

— Да тебѣ-то что за дѣло? чай, въ конторщики самъ мѣтишь! съ грубымъ смѣхомъ отвѣчала Константинъ. Должно быть!

— Все въ господской власти состоитъ, замѣтилъ бѣднякъ.

— Вишь, вишь, куда мѣтитъ, вишь, каковъ? у! у! а!

И всѣ расхохотались, иные запрыгали. Громче всѣхъ заливался одинъ мальчишка лѣтъ пятнадцати, вѣроятно, сынъ аристократа между дворней; онъ носилъ жилетъ съ бронзовыми пуговицами, галстухъ лиловаго цвѣта, и брюшко уже успѣлъ отростить.

— А послушай-ка, признайся, Купря, самодовольно заговорилъ Николай Еремѣичъ, видимо распотѣшенный и разнѣженный: — вѣдь, плохо въ истопникахъ-то? Пустое, чай, дѣло вовсе?

— Да что, Николай Еремѣичъ, заговорилъ Купріянь: — вотъ вы теперь главнымъ у насъ конторщикомъ, точно; спору въ томъ, точно, нѣту; а, вѣдь, и вы подъ опалой находились, и въ мужицкой избѣ тоже пожили.

— Ты смотри, у меня однако не забывайся, съ запальчивостью перебилъ его толстякъ: — съ тобой, дуракомъ, шутятъ; тебѣ-бы, дураку, чувствовать слѣдовало и благодарить, что съ тобой, дуракомъ, занимаются.

— Къ слову пришлось, Николай Еремѣичъ, извините....

— То-то-же къ слову.

Дверь растворилась и вбѣжалъ казачокъ.

— Николай Еремѣичъ, барыня васъ къ себѣ требуетъ.

— Кто у барыни? спросилъ онъ казачка.

— Аесинья Никитишна и купецъ изъ Венева.

— Сею минутою явлюся. А вы, братцы, продолжалъ онъ убѣдительнымъ голосомъ: — ступайте-ка лучше отсюда вонъ съ новопожало-

ваннымъ истопникомъ-то : неравно нѣмецъ забѣжитъ, какъ разъ нажалуется.

Толстякъ поправилъ у себя на головѣ волосы, каплянулъ въ руку, почти совершенно закрытую рукавомъ сюртука, застегнулся и отправился къ барынѣ, широко разставляя на ходу ноги. Погода не много и вся ватага поплелась за нимъ вмѣстѣ съ Купрей. Остался одинъ мой старый знакомый, дежурный. Онъ принялся-было чинить перья, да сидя и заснулъ. Нѣсколько мухъ тотчасъ воспользовались счастливымъ случаемъ и облѣпили ему ротъ. Комаръ сѣлъ ему на лобъ, правильно разставитъ свои ножки и медленно погрузилъ въ его мягкое тѣло все свое жало. Превъзвѣдъ рыжая голова съ бакенбардами снова показалась изъ-за двери, поглядѣла, поглядѣла, и вошла въ контору вмѣстѣ съ своимъ довольно некрасивымъ туловищемъ.

— Оедюшка! а, Оедюшка! вѣчно спишь! проговорила голова.

Дежурный открылъ глаза и всталъ со стула.

— Николай Еремѣичъ къ барынѣ пошелъ?

— Къ барынѣ пошелъ, Василиій Николаичъ.

— А! а! подумалъ я : — вотъ онъ — главный кассиръ.

• Главный кассиръ началъ ходить по комнатѣ.

Впрочемъ, онъ болѣе крался, чѣмъ ходилъ, и таки вообще смахивалъ на кошку. На плечахъ его болтался старый, черный фракъ, съ очень узкими фалдами; одну руку онъ держалъ на груди, а другой безпрестанно брался за свой высокій и тѣсный галстухъ изъ конскаго волоса и съ напряженіемъ вертѣлъ головой. Сапоги носилъ онъ козловые безъ скрипу и выступалъ очень мягко.

— Сегодня Ягушкинъ помѣщикъ васъ спрашивалъ, прибавилъ дежурный.

— Гмъ, спрашивалъ? Что-жь онъ такое говорилъ?

— Говорилъ, что, дескать, къ Тютюреву вечеромъ заѣдетъ и васъ будетъ ждать. Нужно, дескать, мнѣ съ Васильемъ Николаичемъ объ одномъ дѣлѣ переговорить, а о какомъ дѣлѣ — не сказывалъ: ужъ Василій Николаичъ, говорить, знаетъ.

— Гмъ! возразилъ главный кассиръ и подошелъ къ окну.

— Что, Николай Еремѣевъ въ конторѣ? раздался въ сѣняхъ громкій голосъ, и человекъ высокаго роста, видимо разсерженный, съ лицомъ неправильнымъ, но выразительнымъ и смѣлымъ, довольно опрятно одѣтый, шагнулъ черезъ порогъ.

— Нѣтъ его здѣсь? спросилъ онъ, быстро глянувъ кругомъ.

— Николай Еремѣичъ у барыни, отвѣчалъ кассиръ. — Чтò вамъ надобно, скажите мнѣ, Павелъ Андреичъ: вы мнѣ можете сказать.... Вы чего хотите?

— Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу? (Кассиръ болѣзненно кивнулъ головой.)

— Проучить я его хочу, брюхача негоднаго, наушника подлаго.... Я ему дамъ наушничать!

Павелъ бросился на стулъ.

— Чтò вы, чтò вы, Павелъ Андреичъ? Успокойтесь.... Какъ вамъ не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павелъ Андреичъ! залепеталъ кассиръ.

— Про кого? А мнѣ чтò за дѣло, что его въ главные конторщика пожаловали! Вотъ, нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вотъ ужъ точно, можно сказать, пустили козла въ огородъ!

— Полноте, полноте, Павелъ Андреичъ, полноте! бросьте это.... чтò за пустяки такіе?

— Ну, Лиса Патрикѣвна, пошла хвостомъ вилить!... Я его дождусь, съ сердцемъ проговорись Павелъ и ударилъ рукой по столу. — А, да вотъ онъ и жалуется, прибавилъ онъ, взгля-

нувъ въ окошко: — легокъ на поминѣ. Милости просимъ! (Онъ всталъ).

Николай Еремѣвъ вошелъ въ контору. Лицо его сіяло удовольствіемъ, но при видѣ Павла онъ нѣсколько смутился.

— Здравствуйте, Николай Еремѣичъ, значительно проговорилъ Павелъ, медленно подвигаясь къ нему на-встрѣчу: — здравствуйте.

Главный конторщикъ не отвѣчалъ ничего. Въ дверяхъ показалось лицо купца.

— Чтѣ-жъ вы мнѣ не изволите отвѣчать? продолжалъ Павелъ. — Впрочемъ, нѣтъ.... нѣтъ, прибавилъ онъ: — эдакъ не дѣло; крикомъ да бранью ничего не возмешь. Нѣтъ, вы мнѣ лучше добромъ скажите, Николай Еремѣичъ, за чтѣ вы меня преслѣдуете? за чтѣ вы меня погубить хотите? Ну, говорите-же, говорите.

— Здѣсь не мѣсто съ вами объясняться, не безъ волненія возвразилъ главный конторщикъ: — да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь: съ чего вы взяли, что я васъ погубить желаю, или преслѣдую? Да и какъ, наконецъ, могу я васъ преслѣдовать? Вы не у меня въ конторѣ состоите.

— Еще-бы, отвѣчалъ Павелъ: — этого-бы только недоставало. Но зачѣмъ-же бы притво-

ряетесь, Николай Еремѣичъ?... Вѣдь, вы меня понимаете?

— Нѣтъ, не понимаю.

— Нѣтъ, понимаете.

— Нѣтъ, ей-Богу, не понимаю.

— Еще божитесь! Да ужь коли на то пошло, скажите: ну, не боитесь вы Бога? Ну за что вы бѣдной дѣвкѣ жить не даете? Что вамъ надобно отъ нея?

— Вы о комъ говорите, Павелъ Андреичъ? съ притворнымъ изумленіемъ спросилъ толстякъ.

Эка! не знаетъ, небось! я объ Татьянѣ говорю. Побойтесь Бога, — за что мстите? Стыдитесь: вы человѣкъ женатый, дѣти у васъ съ меня уже ростомъ, а я не что другое.... я жениться хочу: по чести поступаю.

— Чѣмъ-же я тутъ виноватъ, Павелъ Андреичъ? Барыня вамъ жениться не позволяетъ; ея господская воля! Я-то тутъ что?

— Вы что? а вы съ этой старой вѣдьмой, съ ключницей, не стакнулись небось? Небось не наушничаєте, а? Скажите, не взводите на беззащитную дѣву всякую небылицу? Небось не по вашей милости ее изъ прачекъ въ судомойки произвели? И бьютъ-то ее, и въ затрапезѣ держать не по вашей милости?... Стыди-

тесъ, старый вы человекъ! Вѣдь, васъ параличъ, того и гляди, разобьетъ.... Богу отвѣчать придется.

— Ругайтесь, Павелъ Андреичъ, ругайтесь.... Долго-ли вамъ придется ругаться-то!

Павелъ вспыхнулъ.

— Чтò? грозить мнѣ вздумалъ? съ сердцемъ заговорилъ онъ. — Ты думаешь, я тебя боюсь? Нѣтъ, братъ, не на того наткнулся! чего мнѣ бояться?... Я вездѣ себѣ хлѣбъ сыщу. Вотъ ты другое дѣло. Тебѣ только здѣсь и жить, да наущничать, да воровать....

— Вѣдь, вотъ какъ зазнался, перебилъ его конторщикъ, который тоже начиналъ терять терпѣніе: — фершелъ, просто фершелъ, лекаришка пустой; а послушай-ка его, — фу, ты, какая важная особа.

— Да, фершелъ, а безъ этого фершела, ваша милость теперь бы на кладбищѣ гнила.... И дернула-же меня нелегкая его вылечить, прибавилъ онъ севозъ зуби.

— Ты меня вылечилъ?.... Нѣтъ, ты меня отравить хотѣлъ; ты меня сабуромъ опоилъ, — подхватилъ конторщикъ.

— Чтò-жь, коли на тебя, кромѣ сабура, ничего дѣйствовать не могло?

— Сабуръ върачебной управой запрещенъ, продолжалъ Николай: — я еще на тебя пожалуюсь.... Ты уморить меня хотѣлъ — вотъ, что! Да Господь не попустилъ.

— Полно вамъ, полно, господа, началъ было кассиръ.

— Отстань! крикнулъ конторщикъ. — Онъ меня отравить хотѣлъ! Понимаешь ты эфто?

— Очень нужно мнѣ.... Слушай, Николай Еремѣевъ, заговорилъ Павелъ съ отчаяніемъ: — въ послѣдній разъ тебя прошу.... вынудилъ ты меня — не въ терпежъ мнѣ становится. Оставь насъ въ покоѣ, понимаешь? а то, ей-Богу, не одобровать кому-нибудь изъ насъ, я тебѣ говорю.

Толстякъ расходился.

— Я тебя не боюсь, закричалъ онъ: — слышишь-ли ты, молокососъ! Я и съ отцомъ твоимъ справился, я и ему рога сломилъ, — тебѣ примѣръ, смотри!

— Не напоминай мнѣ про отца, Николай Еремѣевъ, не напоминай!

— Вона! ты что мнѣ за уставщикъ?

— Говорятъ тебѣ, не напоминай!

— А тебѣ говорятъ, не забывайся.... Какъ ты тамъ барынѣ по твоему ни нуженъ, а коли

изъ насъ двухъ ей прійдется выбирать, — не удержишься ты, голубчикъ! Бунтовать никому не позволяется, смотри! (Павелъ дрожалъ отъ бѣшенства). А дѣвѣ Татьянѣ по дѣломъ.... Погоди, не то ей еще будетъ.

Павелъ кинулся впередъ съ поднятыми руками и конторщикъ тяжело покотился на полъ.

— Въ кандалы его, въ кандалы, застоналъ Николай Еремѣевъ....

Конца этой сцены я не берусь описывать; я и такъ боюсь, не оскорбилъ-ли я чувства читателя.

Въ тотъ-же день я вернулся домой. Недѣлю спустя, я узналъ, что госпожа Лоснякова оставила и Павла, и Николая у себя въ услуженіи, а дѣвку Татьяну сослала: видно, не понадобилась.

Б И Р Ю К Ъ.

Я ѣхалъ съ охоты вечеромъ одинъ, на бѣговыхъ дрожжахъ. До дому еще было верстъ восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бѣжала по пыльной дорогѣ, изрѣдка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шагъ не отставала отъ заднихъ колесъ. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась изъ-за лѣса; надо мною и мнѣ на-встрѣчу неслись длинныя, сѣрыя облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жаръ внезапно смѣнился влажнымъ холодомъ; тѣни быстро густѣли. Я ударилъ возжей по лошади, спустился въ оврагъ, перебрался черезъ сухой ручей, весь заросшій лозниками, поднялся въ гору и въѣхалъ въ лѣсъ. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орѣшника, уже залитыми мракомъ; я подвигался

впередъ съ трудомъ. Дрожки прыгали по твердымъ корнямъ столѣтнихъ дубовъ и липъ, безпрестанно пересѣкавшимъ глубокія продольныя рытвины — слѣды телѣжныхъ колесъ; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный вѣтеръ внезапно загудѣлъ въ вышинѣ, деревья забушевали, крупныя капли дождя рѣзко застучали, зашлепали по листьямъ, сверкнула молнія и гроза разразилась. Дождь полилъ ручьями. Я поѣхалъ шагомъ и скоро принужденъ былъ остановиться: лошадь моя вязла, я не видѣлъ ни зги. Кое-какъ пріютился я къ широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидалъ я терпѣливо конца ненастья, какъ вдругъ, при блескѣ молніи, на дорогѣ почудилась мнѣ высокая фигура. Я сталъ пристально глядѣть въ ту сторону, — таже фигура словно выросла изъ земли подлѣ моихъ дрожекъ.

— Кто это? спросилъ звучный голосъ.

— А ты кто самъ?

— Я здѣшній лѣсникъ.

Я назвалъ себя.

— А, знаю! вы домой ѣдете?

— Домой. Да видишь, какая гроза....

— Да, гроза, отвѣчалъ голосъ.

Бѣлая молнія озарила лѣсника съ головы до

ногъ; трескуцій и короткій ударъ грома раздался тотчасъ вслѣдъ за нею. Дожидеъ хлынулъ съ удвоенной силой.

— Не скоро пройдетъ, продолжалъ лѣсникъ.

— Чтò дѣлать!

— Я васъ, пожалуй, въ свою избу проведу, отрывисто проговорилъ онъ.

— Слѣдай одолженіе.

— Извольте сидѣть.

Онъ подошелъ къ головѣ лошади, взялъ ее за узду и сдернулъ съ мѣста. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожекъ, которая колыхалась, „какъ въ морѣ челнокъ“, и кликалъ собаку. Бѣдная моя кобыла тяжело шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лѣсникъ покачивался передъ оглоблями направо и налево, словно привидѣнье. Мы ѣхали довольно долго; наконецъ мой проводникъ остановился. — „Вотъ мы и дома, баринъ“, примолвилъ онъ спокойнымъ голосомъ. — Калитка заскрипѣла, нѣсколько щенковъ дружно залаяли. Я поднялъ голову и, при свѣтѣ молніи, увидалъ небольшую избушку посреди обширнаго двора, обнесеннаго плетнемъ. Изъ одного окошечка тускло свѣтилъ огонекъ. Лѣсникъ довелъ лошадь до крыльца и застучалъ въ дверь. — „Сичасъ, сичасъ!“ раздался тонень-

кій голосокъ, слышался топотъ босыхъ ногъ, засовъ заскрыпѣлъ, и дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, въ рубашонкѣ, подпоясанная покромкой, съ фонаремъ въ рукѣ, показалась на порогѣ.

— Посвѣти барину, сказалъ онъ ей: — а я ваши дрожки подъ навѣсъ поставлю.

Дѣвочка глянула на меня и пошла въ избу. Я отправился вслѣдъ за ней.

Изба лѣсника состояла изъ одной комнаты, закоптѣлой, низкой и пустой, безъ палатей и перегородокъ. Изорванный тулупъ висѣлъ на стѣнѣ. На лавкѣ лежало одноствольное ружье, въ углу валялась груда тряпокъ; два большихъ горшка стояли возлѣ печки. Лучина горѣла на столѣ, печально вспыхивая и погасая. На самой серединѣ избы висѣла люлька, привязанная къ концу длиннаго шеста. Дѣвочка погасила фонарь, присѣла на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, лѣвой поправлять лучину. Я посмотрѣлъ кругомъ, — сердце во мнѣ заняло: не весело войти ночью въ мужицкую избу. Ребенокъ въ люлкѣ дышалъ тяжело и скоро.

— Ты развѣ одна здѣсь? спросилъ я дѣвочку.

— Одна, произнесла она едва внятно.

— Ты лѣсникова дочь?

— Лѣсникова, прошептала она.

Дверь заскрыпѣла, и лѣсникъ шагнувъ, нагнувъ голову, черезъ порогъ. Онъ поднявъ фонарь съ полу, подошелъ къ столу и зажегъ свѣтильню.

— Чай, не привыкли къ лучинѣ? проговорилъ онъ и тряхнулъ кудрями.

Я посмотрѣлъ на него. Рѣдко мнѣ случилось видѣть такого молодца. Онъ былъ высокаго роста, плечистъ и сложенъ на славу. Изъ-подъ мокрой замашной рубашки выпукло выступали его могучія мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; изъ-подъ сросшихся широкихъ бровей смѣло глядѣли небольшіе каріе глаза. Онъ слегка уперся руками въ бока и остановился передо мною.

Я поблагодарилъ его и спросилъ его имя.

— Меня зовутъ Ѳомой, отвѣчалъ онъ: — а по прозвищу Бирюкъ*).

— А, ты Бирюкъ?

Я съ удвоеннымъ любопытствомъ посмотрѣлъ на него. Отъ моего Ермолая и отъ другихъ я

*) Бирюкомъ называется въ Орловской губерніи человекъ одинокій и угрюмый.

часто слышалъ рассказы о лѣсникѣ Бирюкѣ, котораго всѣ окрестные мужики боялись, какъ огня. По ихъ словамъ, не бывало еще на свѣтѣ такого мастера своего дѣла: „Вязанки хворосту не дасть утащить; въ какую-бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ, какъ снѣгъ на голову, и ты не думай сопротивляться, — силенъ, дескать, и ловокъ какъ бѣсъ.... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ. Ужъ не разъ добрые люди его сжить со свѣту собирались, да нѣтъ — не дается.“

Вотъ какъ отзывались сосѣдніе мужики о Бирюкѣ.

— Такъ ты Бирюкъ, повторилъ я: — я, братъ, слыхалъ про тебя. Говорять, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю, отвѣчалъ онъ угрюмо: — даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится.

Онъ досталъ изъ-за пояса топоръ, присѣлъ на полъ и началъ колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нѣтъ? спросилъ я его.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ и сильно махнулъ топоромъ.

— Умерла, знать?

— Нѣтъ.... да.... умерла, прибавилъ онъ и отвернулся.

Я замолчалъ; онъ поднялъ глаза и посмотрѣлъ на меня.

— Съ прохожимъ мѣщаниномъ сбѣжала, произнесъ онъ съ жесткой улыбкой. Дѣвочка потупилась; ребенокъ проснулся и закричалъ: дѣвочка подошла къ люлькѣ. — На, дай ему, проговорилъ Бирюкъ, сунувъ ей въ руку запачканный рожокъ. — Вотъ, и его бросила, продолжалъ онъ въ полголоса, указывая на ребенка. Онъ подошелъ къ двери, остановился и обернулся.

— Вы, чай, баринъ, началъ онъ: — нашего хлѣба ѣсть не станете, а у меня окромя хлѣба....

— Я не голоденъ.

— Ну, какъ знаете. Самоваръ-бы я вамъ поставилъ, да чаю у меня нѣту.... Пойду, посмотрю, что ваша лошадь....

Онъ вышелъ и хлопнулъ дверью. Я въ другой разъ осмотрѣлся. Изба показалась мнѣ еще печальнѣе прежняго. Горькій запахъ остывшаго дыма непріятно стѣснялъ мнѣ дыханіе. Дѣвочка не трогалась съ мѣста и не поднимала глазъ; изрѣдка поталкивала она люльку, робко наво-

дила на плечо спускавшуюся рубашку; ея голыя ноги висѣли, не шевелясь.

— Какъ тебя зовутъ? спросилъ я.

— Улитой, проговорила она, еще болѣе понутивъ свое печальное личико.

Лѣсникъ вошелъ и сѣлъ на лавку.

— Гроза проходить, замѣтилъ онъ, послѣ небольшого молчанья: — коли прикажете, я васъ изъ лѣсу провожу.

Я всталъ. Бирюкъ взялъ ружье и осмотрѣлъ полку.

— Это зачѣмъ? спросилъ я.

— А въ лѣсу шалить.... У Кобыльяго Верху*) дерево рубать, прибавилъ онъ въ отвѣтъ на мой вопрошающій взоръ.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вмѣстѣ. Дождикъ пересталъ. Въ отдаленіи еще толпились тяжелыя громады тучъ, изрѣдка вспыхивали длинныя молніи; но надъ нашими головами уже виднѣлось кое-гдѣ темносинее небо, звѣздочки мерцали сквозь жидкія, быстро летѣвшія облака. Очерки деревьевъ, обрызганныхъ дождемъ и взволнованныхъ вѣ-

*) „Верхомъ“ называется въ Орловской губерніи оврагъ.

тромъ, начинали выступать изъ мрака. Мы стали прислушиваться. Лѣсникъ снялъ шапку и потушился. — „Во.... вотъ, проговорилъ онъ вдругъ и протянулъ руку: вишь какую ночку выбралъ“. — Я ничего не слышалъ, кромѣ шума листьевъ. Бирюкъ вывелъ лошадь изъ-подъ навѣса. „А эдакъ я, пожалуй, прибавилъ онъ вслухъ: — и прозѣваю его“. — „Я съ тобой пойду... хочешь?“ — „Ладно, отвѣчалъ онъ и попятилъ лошадь назадъ: — мы его духомъ поймаемъ, а тамъ я васъ провожу. Пойдемте“.

Мы пошли: Бирюкъ впереди, я за нимъ. Богъ его знаетъ, какъ онъ узнавалъ дорогу, но онъ останавливался только изрѣдка, и то для того, чтобы прислушиваться къ стуку топора. — „Вишь, бормоталъ онъ сквозь зубы: слышите?“ — „Да гдѣ?“ — Бирюкъ пожималъ плечами. Мы спустились въ оврагъ, вѣтеръ затихъ на мгновенье — мѣрные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюкъ глянулъ на меня и качнулъ головой. Мы пошли далѣе по мокрому папоротнику и крапивѣ. Глухой и продолжительный гулъ раздался....

— Повалилъ.... пробормоталъ Бирюкъ.

Между тѣмъ небо продолжало расчищаться; въ лѣсу чуть-чуть свѣтлѣло. Мы выбрались на-

конецъ изъ оврага. — „Подождите здѣсь“, шепнулъ мнѣ лѣсникъ, нагнулся и, поднявъ ружье къ верху, исчезъ между кустами. Я сталъ прислушиваться съ напряженіемъ. Сквозь постоянный шумъ вѣтра чудились мнѣ невдалекѣ слабые звуки: топоръ осторожно стучалъ по сучьямъ, колеса скрипѣли, лошадь фыркала.... „Куда? стой!“ загремѣлъ вдругъ желѣзный голосъ Бирюка. — Другой голосъ закричалъ жалобно, по заячьи.... Началась борьба. „Вре-ешь, вре-ешь, твердилъ, задыхаясь, Бирюкъ: — не уйдешь“.... Я бросился въ направленіи шума и прибѣжалъ, спотыкаясь на каждомъ шагу, на мѣсто битвы. У срубленнаго дерева, на землѣ копошился лѣсникъ; онъ держалъ подъ собою вора и закручивалъ ему кушакомъ руки на спину. Я подошелъ. Бирюкъ поднялся и поставилъ его на ноги. Я увидалъ мужика мокраго, въ лохмотьяхъ, съ длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тутъ-же вмѣстѣ съ телѣжнымъ ходомъ. Лѣсникъ не говорилъ ни слова; мужикъ тоже молчалъ и только головой потрачивалъ.

— Отпусти его, шепнулъ я на ухо Бирюку: — я заплачу за дерево.

Бирюкъ, молча взялъ лошадь за холку лѣвой рукой: правой онъ держалъ вора за поясъ. „Ну, поворачивайся, ворона!“ примолвилъ онъ сурово. — „Топорикъ-то, вонъ возьмите“, пробормоталъ мужикъ. — „Зачѣмъ ему пропадать?“ сказалъ лѣсникъ и поднялъ топоръ. Мы отправились. Я шелъ позади.... Дождикъ началъ опять на-крапывать и скоро полилъ ручьями. Съ трудомъ добрались мы до избы. Бирюкъ бросилъ пойманную лошаденку посреди двора, ввелъ мужика въ комнату, ослабилъ узелъ кушака и посадилъ его въ уголь. Дѣвочка, которая заснула было возлѣ печки, вскочила и съ молчаливымъ испугомъ стала глядѣть на насъ. Я сѣлъ на лавку.

— Экъ его, какой полилъ, замѣтилъ лѣсникъ: — переждать прійдется. Не хотите-ли прилечь?

— Спасибо.

— Я-бы его, для вашей милости, въ чуланчикъ заперъ, продолжалъ онъ, указывая на мужика: — да, вишь, засовъ....

— Оставь его тутъ, не трогай, перебилъ я Бирюка.

Мужикъ глянулъ на меня изъ подлобья. Я внутренно далъ себѣ слово, во что бы то ни стало, освободить бѣдняка. Онъ сидѣлъ неподвижно на лавкѣ. При свѣтѣ фонаря я могъ

разглядѣть его испитое, морщинистое лицо, нависшія желтыя брови, безпокойные глаза, худые члены.... Дѣвочка улеглась на полу у самыхъ его ногъ и опять заснула. Бирюкъ сидѣлъ возлѣ стола, опершись головою на руки. Кузнечикъ кричалъ въ углу.... дождикъ стучалъ по крышѣ и скользилъ по окнамъ; мы всѣ молчали.

— Оома Кузьмичъ, заговорилъ вдругъ мужикъ голосомъ глухимъ и разбитымъ: — а, Оома Кузьмичъ?

— Чего тебѣ?

— Отпусти.

Бирюкъ не отвѣчалъ.

— Отпусти.... съ голодухи.... отпусти!

— Знаю я васъ, угрюмо возразилъ лѣсникъ:

— ваша вся слобода такая — воръ на ворѣ.

— Отпусти, твердилъ мужикъ: — прикащикъ.... раззорены, во-какъ.... отпусти!

— Раззорены!... Воровать никому не слѣдъ...

— Отпусти, Оома Кузьмичъ.... не погуби. Вашъ-то, самъ знаешь, заѣстъ, во-какъ.

Бирюкъ отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Онъ встряхивалъ головой и дышалъ неровно.

— Отпусти, повторилъ онъ съ унылымъ

отчаяньемъ: — отпусти, ей-Богу, отпусти! я заплачу, во-какъ, ей-Богу. Ей-Богу, съ голодухи.... дѣтки пищать, самъ знаешь. Круто, во-какъ, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку, продолжалъ мужикъ: — лошаденку-то, хоть ее-то.... одинъ животъ и есть.... отпусти!

— Говорять, нельзя. Я тоже человѣкъ подневольный: съ меня взыщутъ. Васъ баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Оома Кузьмичъ, нужда, какъ есть того.... отпусти!

— Знаю я васъ!

— Да отпусти!

— Э, да чтò съ тобой толковать, сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, чтò-ли, барина?

Бѣднякъ потупился.... Бирюкъ зѣвнулъ и положилъ голову на столъ. Дождикъ все не переставалъ. Я жладъ, чтò будетъ.

Мужикъ внезапно выпрямился. Глаза у него загорѣлись и на лицѣ выступила краска. „Ну, нà, ѣшь, нà, подавись, нà,“ началъ онъ, прищуривъ глаза и опустивъ углы губъ: — „нà,

душегубецъ окаянный: пей христіанскую кровь, пей....“

Лѣсникъ обернулся.

— Тебѣ говорю, тебѣ, азіать, кровопійца, тебѣ!

— Пьянъ ты, что-ли, что ругаться вздумалъ? заговорилъ съ изумленіемъ лѣсникъ. — съ ума сошелъ, что-ли?

— Пьянъ.... не на твои-ли деньги, душегубецъ окаянный, звѣрь, звѣрь, звѣрь!

— Ахъ, ты.... да я тебя!...

— А мнѣ что? Все едино — пропадать: куда я безъ лошади пойду? Пришиби — одинъ конецъ; что съ голоду, что такъ — все едино. Пропадай все: жена, дѣти, — околѣвай все.... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюкъ приподнялся.

— Бей, бей, подхватилъ мужикъ свирѣпымъ голосомъ: — бей, нѣ, нѣ, бей.... (Дѣвочка торопливо вскочила съ полу и уставилась на него). Бей! бей!...

— Молчать! загремѣлъ лѣсникъ и шагнулъ два раза.

— Полно, полно, Гома, закричалъ я: — оставь его.... Богъ съ нимъ.

— Не стану я молчать, продолжалъ несчастный. Все едино — околѣвать-то. Душегубецъ ты, звѣрь, погибели на тебя нѣту.... Да стой, не догло тебѣ чваниться: затянуть тебѣ глотку, стой.

Бирюкъ схватилъ его за плечо.... Я бросился на помощь мужику....

— Не троньте, баринъ! крикнулъ на меня лѣсникъ.

Я-бы не побоялся его угрозы и уже протянулъ было руку; но, къ крайнему моему изумленію, онъ однимъ поворотомъ сдернулъ съ локтей мужика кушакъ, схватилъ его за шиворотъ, нахлобучилъ ему шапку на глаза, растворилъ дверь и вытолкнулъ его вонъ.

— Убирайся къ чорту съ своею лошадыю! закричалъ онъ ему вслѣдъ: — да смотри, въ другой разъ у меня....

Онъ вернулся въ избу и сталъ копаться въ углу.

— Ну, Бирюкъ, примолвилъ я наконецъ: — удивилъ ты меня: ты я вижу, славный малый.

— Э, полноте, баринъ, перебилъ онъ меня съ досадой: — не извольте только сказывать. Да ужъ я лучше васъ провожу, прибавилъ онъ: — знать дождика-то вамъ не переждать....

На дворѣ застучали колеса мужицкой телѣги.
— Вишь, поплелся! пробормоталъ онъ: —
да я его!...

Черезъ полчаса онъ простился со мной на
опушкѣ лѣса.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА.



ЗАПИСКИ ОХОТНИКА.

СОЧ.

И. С. ТУРГЕНЕВА.

Часть вторая.



ЛЕЙПЦИГЪ,	LEIPZIG,
Вольфгангъ Гергардъ.	Wolfgang Gerhard.
Центральный книжный магазинъ для славянскихъ странъ.	
1876.	

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 12.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office of National Statistics 1999).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people in the community. The Department of Health (1999) has published a strategy for older people, which sets out the government's commitment to improve the lives of older people. The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need.

The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need. The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need.

The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need. The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need.

The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need. The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need.

The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need. The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need.

The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need. The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need.

The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need. The strategy is based on the following principles: older people should be able to live independently, safely and comfortably; older people should be able to participate in the community; and older people should be able to access the services and support they need.

ДВА ПОМѢЩИКА.

Я уже имѣлъ честь представить вамъ, благосклонные читатели, нѣкоторыхъ моихъ господъ сосѣдей; позвольте-же мнѣ теперь, кстати (для нашего брата писателя все кстати), познакомить васъ еще съ двумя помѣщиками, у которыхъ я часто охотился, съ людьми весьма почтенными, благонамѣренными и пользующимися всеобщимъ уваженіемъ нѣсколькихъ уѣздовъ.

Сперва опишу вамъ отставнаго генераль-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынскаго. Представьте себѣ человѣка высокаго и когда-то стройнаго, теперь-же нѣсколько обрюзглаго, но вовсе не дряхлаго, даже не устарѣлаго, человѣка въ зрѣломъ возрастѣ, въ самой, какъ говорится, порѣ. Правда, нѣкогда правильныя и теперь еще пріятныя черты лица его немного измѣнились, щеки повисли, частыя морщины лучеобразно

расположились около глазъ, иныхъ зубовъ уже нѣтъ, какъ сказалъ Саади, по увѣренію Пушкина; русые волосы, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которые остались въ цѣлости, превратились въ лиловые, благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмаркѣ у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеславъ Илларионовичъ выступаетъ бойко, смѣется звонко, позвякиваетъ шпорами, крутитъ усы, наконецъ, называетъ себя старымъ кавалеристомъ, между-тѣмъ-какъ извѣстно, что настоящіе старики сами никогда себя не называютъ стариками. Носитъ онъ обыкновенно сюртукъ застегнутый до верху, высокій галстукъ съ накрахмаленными воротничками и панталоны сѣрые съ искрой, военного покроя; шляпу-же надѣваетъ прямо на лобъ, оставляя весь затылокъ наружи. Человѣкъ онъ очень добрый, но съ понятіями и привычками довольно странными, на примѣръ: онъ никакъ не можетъ обращаться съ дворянами небогатыми или нечиновными, какъ съ равными себѣ людьми. Разговаривая съ ними, онъ обыкновенно глядитъ на нихъ съ боку, сильно опираясь щекою въ твердый и бѣлый воротникъ, или вдругъ возьметъ да озаритъ ихъ яснымъ и неподвижнымъ взоромъ, помолчитъ и двинетъ всею кожей подъ волосами

на головѣ; даже слова иначе произносить и не говорить, напимѣръ: „благодарю, Павелъ Васильичъ“, или: „пожалуйте сюда, Михайло Ивановичъ“, а: „боллдарю, Палл' Асильичъ“, или: „паажалте сюда, Михал' Ванычъ.“ Съ людьми-же, стоящими на низшихъ ступеняхъ общества, онъ обходится еще страннѣе: вовсе на нихъ не глядитъ и прежде чѣмъ объяснить имъ свое желаніе, или отдастъ приказъ, нѣсколько разъ сряду, съ озабоченнымъ и мечтательнымъ видомъ, повторить: „какъ тебя зовутъ?... какъ тебя зовутъ?“ ударяя необыкновенно рѣзко на первомъ словѣ „какъ“, а остальные произнося очень быстро, что придаетъ всей поговоркѣ довольно близкое сходство съ крикомъ самца-перепела. Хлопотунъ онъ и жила страшный, а хозяинъ плохой: взялъ къ себѣ въ управители отставнаго вахмистра, малоросса, необыкновенно глупаго человѣка. Впрочемъ, въ дѣлѣ хозяйничества, никто у насъ еще не перещеголялъ одного петербургскаго важнаго чиновника, который, усмотрѣвъ изъ донесеній своего прикащика, что овины у него въ имѣньи часто подвергаются пожарамъ, отчего много хлѣба пропадаетъ, — отдалъ строжайшій приказъ: впередъ до тѣхъ поръ не сажать сноповъ въ овинъ, пока огонь совершенно

не погаснетъ. Тотъ-же самый сановникъ вздумалъ было засѣять всѣ свои поля макомъ, вслѣдствіе весьма, по видимому, простаго расчета: макъ, дескать, дороже ржи, слѣдовательно сѣять макъ выгоднѣе. Онъ-же приказалъ своимъ крѣпостнымъ бабамъ носить кокошники по высланному изъ Петербурга образцу; и дѣйствительно, до сихъ поръ въ имѣніяхъ его бабы носятъ кокошники.... только сверху кичекъ.... Но возвратимся къ Вячеславу Илларионовичу. Вячеславъ Илларионовичъ ужасный охотникъ до прекраснаго пола и, какъ только увидитъ у себя въ уѣздномъ городѣ на бульварѣ хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслѣдъ, но тотчасъ же и захромаетъ, — вотъ что замѣчательное обстоятельство. Въ карты играть онъ любитъ, но только съ людьми званія низшаго; они-то ему: „Ваше Превосходительство“, а онъ-то ихъ пушитъ и распекаетъ, сколько душъ его угодно. Когда-жъ ему случится играть съ губернаторомъ, или съ какимъ нибудь чиновнымъ лицомъ, — удивительная происходитъ въ немъ перемѣна: и улыбается-то онъ, и головой киваетъ, и въ глаза-то имъ глядитъ — медомъ такъ отъ него и несетъ.... Даже проигрываетъ и не жалуется. Читаетъ Вячеславъ Илларионычъ мало,

и при чтеніи безпрестанно поводитъ усами и бровями, словно волну снизу вверхъ по лицу пускаетъ. Особенно замѣчательно это волнообразное движеніе на лицѣ Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостяхъ, разумѣется) пробѣгать столбцы „Journal des Débats.“ На выборахъ играетъ онъ роль довольно значительную; но отъ почетнаго званія предводителя, по скупости, отказывается. „Господа, говоритъ онъ обыкновенно приступающимъ къ нему дворянамъ, и говоритъ голосомъ, исполненнымъ покровительства и самостоятельности: — много благодаренъ за честь; но я рѣшился посвятить свой досугъ уединенію“. И сказавши эти слова, поведетъ головой нѣсколько разъ направо и налево, а потомъ съ достоинствомъ наляжетъ подбородкомъ и щеками на галстухъ. Состоялъ онъ въ молодые годы адъютантомъ у какого-то значительнаго лица, котораго иначе и не называетъ какъ по имени и по отчеству; говорятъ, будто бы онъ принималъ на себя не однѣ адъютантскія обязанности, — да не всякому слуху можно вѣрить. Впрочемъ, и самъ Хвалынский о своемъ служебномъ поприщѣ не любитъ говорить, что вообще довольно странно; на войнѣ онъ тоже, кажется, не бывалъ. Живетъ генераль Хвалын-

скій въ небольшомъ домикѣ, одинъ; супружескаго счастья онъ въ своей жизни не испыталъ и потому до сихъ поръ еще считается женихомъ, и даже выгоднымъ женихомъ. За то ключница у него, женщина лѣтъ тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свѣжая и съ усами, по буднишнимъ днямъ ходитъ въ накрахмалинныхъ платьяхъ, а по воскресеньямъ и кисейные рукава надѣваетъ. Хорошъ бываетъ Вячеславъ Илларионычъ на большихъ званныхъ обѣдахъ, даваемыхъ помѣщиками въ честь губернаторовъ и другихъ властей: тутъ онъ, можно сказать, совершенно въ своей тарелкѣ. Сидитъ онъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ, если не по правую руку губернатора, то и не въ далекомъ отъ него разстояніи: въ началѣ обѣда болѣе придерживается чувства собственнаго достоинства и, закинувшись назадъ, но не оборачивая головы, сбоку пускаетъ взоръ внизъ по круглымъ затылкамъ и стоячимъ воротникамъ гостей; за то къ концу стола развеселяется, начинаетъ улыбаться во всѣ стороны (въ направленіи губернатора онъ съ начала обѣда улыбался), а иногда даже предлагаетъ тостъ въ честь прекраснаго пола, украшенія нашей планеты, по его словамъ. Также не дуренъ генералъ Хвалынскій на всѣхъ тор-

жественныхъ и публичныхъ актахъ, экзаменахъ, собраньяхъ и выставкахъ. На разъѣздахъ, переправахъ и въ другихъ тому подобныхъ мѣстахъ, люди Вячеслава Илларионыча не шумятъ и не кричатъ; напротивъ, раздвигая народъ или вызывая карету, говорятъ пріятнымъ горловымъ баритономъ: „позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти“, или: „генерала Хвалынскаго экипажъ“.... Экипажъ, правда, у Хвалынскаго формы довольно старинной; на лакеяхъ ливрея довольно потертая (о томъ, что она сѣрая съ красными выпушками, кажется, едва-ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожилы и послужили на своемъ вѣѣ, но на щегольство Вячеславъ Илларионычъ притязаній не имѣетъ и не считаетъ даже званію своему приличнымъ пускать пыль въ глаза. Особеннымъ даромъ слова Хвалынскій не владѣетъ, или, можетъ быть, не имѣетъ случая высказать свое креснорѣчіе, потому что не только спора, но вообще возраженія не терпитъ и всякихъ длинныхъ разговоровъ, особенно съ молодыми людьми, тщательно избѣгаетъ. Оно дѣйствительно вѣрнѣе; а то съ нынѣшнимъ народомъ бѣда: какъ разъ изъ повиновенія выйдетъ и уваженіе потеряетъ. Передъ лицами высшими Хвалынскій

большей частью безмолствуетъ; а къ лицамъ нисшимъ, которыхъ, по видимому, презираетъ, но съ которыми только и знаетъ, держать рѣчи отрывистыя и рѣзкія, безпрестанно употребляя выраженья, подобныя слѣдующимъ: „это, однако, вы пус-тя-ки говорите“, или: „я наконецъ вынужденнымъ нахожусь, милостивый сдаръ мой, вамъ поставить на видъ“, или: „наконецъ, вы должны однако-же знать, съ кѣмъ имѣете дѣло“ и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непремѣнные засѣдатели и станціонные смотрители. Дома онъ у себя никого не принимаетъ и живетъ, какъ слышно, скрягой. Совсѣмъ тѣмъ онъ прекрасный помѣщикъ. „Старый служака, человѣкъ безкорыстный, съ правилами, vieux grognard“, говорятъ про него сосѣди. Одинъ прокуроръ губернской позволяетъ себѣ улыбаться, когда при немъ упоминаютъ объ отличныхъ и солидныхъ качествахъ Хвалынскаго, — да чего не дѣлаетъ зависть!...

А, впрочемъ, перейдемъ теперь къ другому помѣщику.

Мардарій Аполлонычъ Стегуновъ ни въ чемъ не походилъ на Хвалынскаго; онъ едва-ли гдѣ нибудь служилъ и никогда красавцемъ не почитался. Мардарій Аполлонычъ старичокъ низень-

кій, пухленькій, лысый, съ двойнымъ подбородкомъ, мягкими ручками и порядочнымъ брюшкомъ. Онъ большой хлѣбосоль и балагуръ; живетъ, какъ говорится, въ свое удовольствіе; зиму и лѣто ходитъ въ полосатомъ шлафроку на ватѣ. Въ одномъ онъ только сошелся съ генераломъ Хвалынскимъ: онъ тоже холостякъ. У него пятьсотъ душъ. Мардарій Аполлонычъ занимается своимъ имѣньемъ довольно поверхностно; купилъ, чтобы не отстать отъ вѣка, лѣтъ десять тому назадъ, у Бутенова въ Москвѣ молотильную машину, заперъ ее въ сарай, да и успокоился. Развѣ въ хорошій лѣтній день велитъ заложить бѣговья дрожжи и съѣздитъ въ поле на хлѣба посмотреть, да васильковъ нарвать. Живетъ Мардарій Аполлонычъ совершенно на старый ладъ. И домъ у него старинной постройки: въ передней, какъ слѣдуетъ, пахнетъ квасомъ, салными свѣчами и кожей; тутъ-же направо буфетъ съ трубками и утиральниками; въ столовой фамилные портреты, мухи, большой горшокъ ерани и кисляя фортопьяны; въ гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сильные часы съ почернѣвшей эмалью и бронзовыми, рѣзными стрѣлками; въ кабинетѣ столъ съ бумагами, ширмы синеватаго цвѣта съ накле-

енными картинками, вырѣзанными изъ разныхъ сочиненій прошедшаго столѣтїя, шкапы съ вонючими книгами, науками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно, да наглухо заколоченная дверь въ садъ.... Словомъ, все, какъ водится. Людей у Мардарья Аполлоныча множество и всѣ одѣты по старинному: въ длинные синіе кафтаны съ высокими воротниками, панталоны мутнаго колорита и коротенькіе, желтоватые жилетцы. Гостямъ они говорятъ: „батюшка“. Хозяйствомъ у него завѣдываетъ бурмистръ изъ мужиковъ, съ бородой во весь тулупъ; домою — старуха, повязанная картиннымъ платкомъ, сморщенная и скупая. На конюшнѣ у Мардарья Аполлоныча стоитъ тридцать разнокалиберныхъ лошадей; выѣзжаетъ онъ въ дома-дѣланной коляскѣ въ полтора пудъ. Гостей принимаетъ онъ очень радушно и угощаетъ на славу, то есть: благодаря одуряющимъ свойствамъ русской кухни, лишаетъ ихъ вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чѣмъ-нибудь, кромѣ преферанса. Самъ-же никогда ничѣмъ не занимается и даже „Сонникъ“ пересталъ читать. Но такихъ помѣщиковъ у насъ на Руси еще довольно много. Спрашивается: съ какой стати я заговорилъ о немъ и

зачѣмъ?... А вотъ, позвольте вмѣсто отвѣта рассказать вамъ одно изъ моихъ посѣщеній у Мардарія Аполлоныча.

Пріѣхалъ я къ нему лѣтомъ, часовъ въ семь вечера. У него только-что отошла всенощная, и священникъ, молодой человѣкъ, по видимому, весьма робкій и недавно вышедшій изъ семинаріи, сидѣлъ въ гостинной возлѣ двери, на самомъ краешкѣ стула. Мардарій Аполлонычъ, по-обыкновенію, чрезвычайно ласково меня принялъ: онъ непритворно радовался каждому гостю; да и человѣкъ онъ былъ вообще предобрый. Священникъ всталъ и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка, заговорилъ Мардарій Аполлонычъ, не выпуская моей руки: — не уходи.... Я велѣлъ тебѣ водки принести.

— Я не пью-съ, съ замѣшательствомъ пробормоталъ священникъ и покраснѣлъ до ушей.

— Чтò за пустяки! отвѣчалъ Мардарій Аполлонычъ: — Мишка! Юшко! водки батюшеѣ!

Юшка, высокій и худощавый старикъ лѣтъ осьмидесяти, вошелъ съ рюмкой водки на темномъ крашеномъ подносѣ, испещренномъ пятнами тѣлеснаго цвѣта.

Священникъ началъ отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, не.... хорошо замѣтилъ помѣщикъ съ укоризной.

Бѣдный молодой человѣкъ повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священникъ началъ кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай.... Прекрасный человѣкъ, продолжалъ Мардарій Аполлонычъ, глядя ему вслѣдъ: — очень я имъ доволенъ; одно молодъ еще. Но вы-то какъ, мой батюшка?... Что вы, какъ вы? Пойдемте-ка на балконъ — вишь, вечеръ какой славный.

Мы вышли на балконъ, сѣли и начали разговаривать. Мардарій Аполлонычъ взглянулъ внизъ и вдругъ пришелъ въ ужасное волненіе.

— Чьи это куры? чьи это куры? закричалъ онъ: — чьи это куры по саду ходятъ?... Юшка! Юшка! поди узнай сейчасъ, чьи это куры? Сколько разъ я запрещалъ, сколько разъ говорилъ!

Юшка побѣжалъ.

— Что за безпорядки! твердилъ Мардарій Аполлонычъ: — это ужасъ!

Несчастныя куры, какъ теперь помню, двѣ крапчатая и одна бѣлая съ хохломъ, преспокойно продолжали ходить подъ яблонями, изрѣдка выражая свои чувства продолжительнымъ крехта-

нѣмъ, — какъ вдругъ Юшка, безъ шапки, съ палкой въ рукѣ, и трое другихъ совершеннолѣтнихъ дворовыхъ, всѣ вмѣстѣ дружно ринулись на нихъ. Пошла потѣха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудхтали; дворовые люди бѣгали, спотыкались, падали; баринъ съ балкона кричалъ, какъ изступленный: „лови, лови, лови! лови, лови, лови!... Чьи это куры, чьи это куры?“ — Наконецъ, одному дворовому человѣку удалось поймать хохлатую курицу, придавивъ ее грудью къ землѣ, и въ тоже — самое время черезъ плетень сада, съ улицы, перескочила дѣвочка лѣтъ одиннадцати, вся растрепанная и съ хворостиной въ рукѣ.

— А, вотъ чьи куры! съ торжествомъ воскликнулъ помѣщикъ: — Ермила кучера куры! вонъ онъ свою Наталку загнать ихъ выслалъ.... Небось Параша не выслалъ, присовокупилъ помѣщикъ въ полголоса, и значительно ухмыльнулся. — Эй, Юшка! брось куриць-то: поймай-ка мнѣ Наталку.

Но прежде чѣмъ запыхавшійся Юшка успѣлъ добѣжать до перепуганной дѣвчонки, — откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и нѣсколько разъ шлепнула бѣдняжку по спинѣ....

— Вотъ тѣкъ, э, вотъ тѣкъ, подхватилъ по-мѣщикъ: — те, те, те! те, те, те!... А куръ-то отбири, Авдотья, прибавилъ онъ громкимъ голосомъ, и съ свѣтлымъ лицомъ обратился ко мнѣ: — какова, батюшка, травля была, ась? Вспотѣлъ даже, посмотрите.

И Мардарій Аполлонычъ расхохотался.

Мы остались на балконѣ. Вечеръ былъ, дѣйствительно, необыкновенно хорошъ.

Намъ подали чай.

— Скажите-ка, началъ я: — Мардарій Аполлонычъ, ваши это дворы выселены, вонъ тамъ на дорогѣ, за оврагомъ?

— Мон.... а что?

— Какъ-же это вы, Мардарій Аполлонычъ? Вѣдь, это грѣшно. Избенки отведены мужикамъ скверныя, тѣсныя; деревца кругомъ не увидишь; сажалки даже нѣту; колодезь одинъ, да и тотъ никуда не годится. Неужели вы другого мѣста найти не могли?... И, говорятъ, вы у нихъ даже старыя коноплянники отняли?

— А что будешь дѣлать съ размежеваньемъ? отвѣчалъ мнѣ Мардарій Аполлонычъ. У меня это размежеваніе, вотъ гдѣ сидитъ. (Онъ указалъ на свой затылокъ.) И никакой пользы я отъ этого размежеванія не предвижу. А что я

коноплянники у нихъ отнялъ и сажалки, что-ли, тамъ у нихъ не выкопаль, — ужъ про это, батюшка, я самъ знаю. Я человѣкъ простой, — по старому поступаю. По моему: коли баринъ — такъ баринъ, а коли мужикъ — такъ мужикъ.... Вотъ что.

На такой ясный и убѣдительный доводъ отвѣчать, разумѣется, было нечего.

— Да притомъ, продолжалъ онъ: — и мужики-то плохіе, опальные. Особенно тамъ двѣ семьи; еще батюшка покойный, дай Богъ ему царство небесное, ихъ не жаловаль, больно не жаловаль. А у меня, скажу вамъ, такая примѣта: коли отецъ воръ, то и сынъ воръ; ужъ тамъ какъ хотите.... О, кровь, кровь великое дѣло!

Между тѣмъ воздухъ затихъ совершенно. Лишь изрѣдка вѣтеръ набѣгалъ струями и, въ послѣдній разъ, замирая около дома, донесъ до нашего слуха звукъ мѣрныхъ и частыхъ ударовъ, раздававшихся въ направленіи конюшни. Мардарій Аполлонычъ только что донесъ къ губамъ налитое блюдечко и уже разширилъ было ноздри, безъ чего, какъ извѣстно, ни одинъ коренной русакъ не втягиваетъ въ себя чая, — но остановился, прислушался, кивнулъ головой, хлебнулъ

и, ставя блюдечко на столъ, произнесъ съ добръйшей улыбкой и какъ-бы невольно вторя ударамъ: „Чюки-чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ!“

— Это что такое? спросилъ я съ изумленіемъ.

— А тамъ, по моему приказу, шалунишку наказываютъ Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вотъ, что намеренъ за обѣдомъ намъ служить. Еще съ такими большими бакенбардами ходитъ.

Самое лютое негодованіе не устояло-бы противъ яснаго и кроткаго взора Мардарія Аполлоныча.

— Что вы, молодой человѣкъ, что вы? заговорилъ онъ, качая головой. Что я злодѣй, что ли, что вы на меня такъ уставились? Любай, да наказуетъ: вы сами знаете.

Черезъ четверть часа я простился съ Мардаріемъ Аполлонычемъ. Проѣзжая черезъ деревню, увидѣлъ я буфетчика Васю. Онъ шелъ по улицѣ и грызъ орѣхи. Я велѣлъ кучеру остановить лошадей и подозвалъ его.

— Что, братъ, тебя сегодня наказали? спросилъ я его.

— А вы почему знаете? отвѣчалъ Вася.

— Мнѣ твой баринъ сказывалъ.

— Самъ баринъ?

— За что-жь онъ тебя велѣлъ наказать?

— А по дѣломъ, батюшка, по дѣломъ. У насъ по пусыкамъ не наказываютъ; такого заведенья у насъ нѣту — ни, ни. У насъ баринъ не такой; у насъ баринъ.... такого барина въ цѣлой губерніи не сыщешь.

— Пошелъ! сказалъ я кучеру. Вотъ она, старая-то Русь! думалъ я на возвратномъ пути.

ЛЕБЕДЯНЬ.

Одна изъ главныхъ выгодъ охоты, любезные мои читатели, состоитъ въ томъ, что она заставляетъ васъ безпрестанно переѣзжать съ мѣста на мѣсто, что для человѣка незанятаго весьма пріятно. Правда, иногда (особенно въ дождливое время) не слишкомъ весело скитаться по проселочнымъ дорогамъ, брать „цѣликомъ“, останавливать всякаго встрѣчнаго мужика вопросомъ: „эй, любезный! какъ-бы намъ проѣхать въ Мордовку?“ а въ Мордовкѣ выпытывать у тупоумной бабы (работники-то всѣ въ полѣ): далеко-ли до постоянныхъ двориковъ на большой дорогѣ, и какъ до нихъ добраться, — и, проѣхавъ верстъ десять, вмѣсто постоянныхъ двориковъ очутиться въ помѣщицкѣмъ, сильно раззоренномъ сельцѣ Худобубновѣ, къ крайнему изумленію цѣлаго стада свиней, погруженныхъ

по уши въ темную грязь на самой серединѣ улицы и нисколько не ожидавшихъ, что ихъ обезпокоятъ. Не весело также переправляться черезъ животрепещущіе мостики, спускаться въ овраги, перебираться въ бродъ черезъ болотистые ручьи; не весело ѣхать, цѣлыя сутки ѣхать по зеленоватому морю большихъ дорогъ, или, чего Боже сохрани, загрязнута на нѣскольکو часовъ передъ пестрымъ верстовымъ столбомъ съ цифрами: 22 на одной сторонѣ и 23 на другой; не весело по недѣлямъ питаться яицами, молокомъ и хваленымъ ржанымъ хлѣбомъ.... Но всѣ эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствіями. Впрочемъ, приступимъ къ самому разсказу.

Вслѣдствіе всего вышесказаннаго, мнѣ не для чего толковать читателю, какимъ образомъ, лѣтъ пять тому назадъ, я попалъ въ Лебедянь въ самый развалъ ярмарки. Нашъ братъ охотникъ можетъ въ одно прекрасное утро выѣхать изъ своего болѣе или менѣе родового помѣстья съ намѣреніемъ вернуться на другой-же день вечеромъ, и по-немногу, по-немногу, не переставая стрѣлять по бекасамъ, достигнуть наконецъ благословенныхъ береговъ Печоры; притомъ, всякій охотникъ до ружья и до собаки — страстный

почитатель благороднѣйшаго животнаго въ мірѣ : лошади. И такъ, я прибылъ въ Лебедянь, остановился въ гостинницѣ, переодѣлся и отправился на ярмарку. (Половой, длинный и сухопарый, малый лѣтъ двадцати, со сладкимъ носовымъ теноромъ, уже успѣлъ мнѣ сообщить, что ихъ сіятельство, князь Н., ремонтёръ ***го полка, остановился у нихъ въ трактирѣ, что много другихъ господъ наѣхало, что по вечерамъ цыгане поютъ, и пана Твердовскаго дають на театрѣ, что кони, дескать, въ цѣнѣ, — а, впрочемъ, хорошіе приведены кони.)

На ярмарочной площади безконечными рядами тянулись телѣги, а за телѣгами лошади всѣхъ возможныхъ родовъ: рысистыя, заводскія, битюки, возовыя, ямскія и простыя крестьянскія. Иныя, сытыя и гладкія, подобранныя по мастямъ, покрытыя разноцвѣтными попонами, коротко привязанныя къ высокимъ кряквамъ, боязливо косились назадъ, на слишкомъ знакомые имъ кнуты своихъ владѣльцевъ - барышниковъ; помѣщичьи кони, высланные степными дворянами за сто, за двѣсти верстъ, подъ надзоромъ какого нибудь дряхлаго кучера и двухъ или трехъ крѣпкоголовыхъ конюховъ, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы; савра-

сыя вятки плотно прижимались другъ къ дружкѣ; въ величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки съ волнистыми хвостами и косматыми лапами, сѣрые въ яблокахъ, воронные, гнѣдые. Знатоки почтительно останавливались передъ ними. Въ улицахъ, образованныхъ телѣгами, толпились люди всякаго званія, возраста и вида: барышники, въ синихъ кафтанахъ и высокихъ шапкахъ, лукаво высматривали и выжидали покупателей; лупоглазые, кудрявые цыганы метались взадъ и впередъ, какъ угорѣлые, глядѣли лошадямъ въ зубы, подымали имъ ноги и хвосты, кричали, бранились, служили посредниками, метали жребій или увивались около какого нибудь ремонтера въ фуражкѣ и военной шинели съ бобромъ. Дужій казакъ торчалъ верхомъ на тощемъ меринѣ съ оленьей шеей и продавалъ его „совсимъ“, т. е., съ сѣдломъ и уздечкой. Мужики, въ изорванныхъ подъ мышками тулупахъ, отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телѣгу, запряженную лошадью, которую слѣдовало „спробовать“, или, гдѣ-нибудь въ сторонѣ, при помощи увертливаго цыгана, торговались до изнеможенія, сто разъ сряду хлопали другъ друга по рукамъ, настаивая каждый на своей цѣнѣ, между тѣмъ какъ пред-

метъ ихъ спора, дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только-что глазами помаргивала, какъ будто дѣло шло не о ней.... И въ самомъ дѣлѣ, не все-ли ей равно, кто ее бить будетъ! Широколобые помѣщики съ крашеными усами и выражніемъ достоинства на лицѣ, въ конфедераткахъ и камлотовыхъ чуйкахъ, надѣтыхъ на одинъ рукавъ, снисходительно заговаривали съ пузатыми купцами въ пуховыхъ шляпахъ и зеленыхъ перчаткахъ. Офицеры различныхъ полковъ толкались тутъ же; необыкновенно длинный кирасиръ, нѣмецкаго происхожденія, хладнокровно спрашивалъ у хромого барышника: „сколько онъ желаетъ получить за сію рыжую лошадь?“ Бѣлокурый гусарчикъ, лѣтъ девятнадцати, подбиралъ пристяжную къ поджарому иноходцу; ямщикъ, въ низкой шляпѣ, обвитой павлиньимъ перомъ, въ буромъ армякѣ и съ кожаными рукавицами, засунутыми за узкій зелененькій кушакъ, искалъ коренника. Кучера заплетали лошадямъ своимъ хвосты, мочили гривы и давали почтительные совѣты господамъ. Окончившіе сдѣлку спѣшали въ трактиръ или въ кабакъ, смотря по состоянію.... И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бранилось и смѣялось, въ грязи по колѣни.

Мнѣ хотѣлось купить тройку сносныхъ лошадей для своей брычки: мои начинали отказываться. Я нашелъ двухъ, а третью не успѣлъ подобрать. Послѣ обѣда, котораго описывать я не берусь (уже Эней зналъ, какъ непріятно припоминать минувшее горе), отправился я въ такъ-называемую кофейную, куда каждый вечеръ собирались ремонтеры, заводчики и другіе пріѣзжіе. Въ бильярдной комнатѣ, затопленной свинцовыми волнами табачнаго дыма, находилось человѣкъ двадцать. Тутъ были развязные молодые помѣщички въ венгеркахъ и сѣрыхъ панталонахъ, съ длинными висками и намасленными усами, благородно и смѣло взиравшіе кругомъ; другіе дворяне въ казакинахъ, съ необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками, тутъ же мучительно сопѣли; купчики сидѣли въ сторонѣ, какъ говорится, „на чуку“; офицеры свободно разговаривали другъ съ другомъ. На бильярдѣ игралъ князь Н., молодой человѣкъ лѣтъ двадцати двухъ, съ веселымъ и нѣсколько презрительнымъ лицомъ, въ сюртукѣ на распашку, красной шелковой рубахѣ и широкихъ бархатныхъ шароварахъ; игралъ онъ съ отставнымъ поручикомъ Викторомъ Хлопаковымъ.

Отставной поручикъ Викторъ Хлопаковъ,

маленькій, смугленькій и худенькій человекъ, лѣтъ тридцати, съ черными волосиками, карими глазами и тупымъ вздернутымъ носомъ, прилежно посѣщаетъ выборы и ярмарки. Онъ подпрыгиваетъ на-ходу, ухорски разводитъ округленными руками, шалку носить на-бекрень и заворачиваетъ рукава своего военного скюртука, подбитаго сизымъ еаленкоромъ. Господинъ Хлопаковъ обладаетъ умѣньемъ поддѣлываться къ богатымъ петербургскимъ шалунамъ, курить, пьетъ и въ карты играетъ съ ними, говоритъ имъ „ты“. За что они его жалуютъ, понять довольно мудрено. Онъ не уменъ, онъ даже не смѣшонъ; въ шуты онъ тоже не годится. Правда, съ нимъ обращаются дружески-небрежно, какъ съ добрымъ, но пустымъ малымъ; явшаются съ нимъ въ теченіи двухъ-трехъ недѣль, а потомъ вдругъ и не кланяются съ нимъ, и онъ самъ ужъ не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоитъ въ томъ, что онъ въ продолженіе года, иногда двухъ, употребляетъ постоянно одно и тоже выраженіе, кстати и не кстати, выраженіе нисколько не забавное, но которое, Богъ знаетъ почему, всѣхъ смѣшитъ. Лѣтъ восемь тому назадъ, онъ на каждомъ шагу говорилъ: „мое вамъ почитаніе, покорнѣйше благодарствую“,

и тогдашніе его покровители всякій разъ поми-
рали со смѣху и заставляли его повторять „мое
почитаніе“; потомъ онъ сталъ употреблять до-
вольно сложное выраженіе: „нѣтъ, ужь это вы
того, кескесэ, — это вышло выходить“, и съ
тѣмъ-же блистательнымъ успѣхомъ; года два
спустя придумалъ новую прибаутку: „не ву го-
раче па, человекъ Божій, обшить бараньей ко-
жей“ и т. д. И что-же! эти, какъ видите, вовсе
не затѣйливыя словечки его кормятъ, поятъ и
одѣваютъ. (Имѣнне онъ свое давнымъ-давно
промоталъ и живетъ единственно на счетъ прія-
телей.) Замѣьте, что рѣшительно никакихъ
другихъ любезностей за нимъ не водится; правда,
онъ выкуриваетъ сто трубокъ Жукова въ день,
а, играя на бильярдѣ, поднимаетъ правую ногу
выше головы и, прицѣливаясь, неистово ёрзаетъ
кіемъ по рукѣ, — ну да, вѣдь, до такихъ до-
стоинствъ не всякій охотникъ. Пьетъ онъ тоже
хорошо.... да на Руси этимъ отличиться мудре-
но. Словомъ, успѣхъ его — совершенная для
меня загадка.... Одно развѣ: остороженъ онъ,
сору изъ избы не выносить, ни о комъ дурнаго
словечка не скажетъ....

„Ну, подумалъ я при видѣ Хлопакова: —
какая-то его нынѣшняя поговорка?“

Князь сдѣлалъ бѣлаго.

— Тридцать и никого, возопилъ чахоточный маркеръ съ темнымъ лицомъ и свинцомъ подъ глазами.

Князь съ трескомъ положилъ желтаго въ крайнюю лузу.

— Экъ! одобрительно крякнулъ всѣмъ животомъ толстеный купецъ, сидѣвшій въ уголкѣ за шаткимъ столикомъ на одной ножкѣ, крякнулъ и оробѣлъ. Но къ счастью никто его не замѣтилъ. Онъ отдохнулъ и погладилъ бородку.

— Тридцать шесть и очень мало! заркричалъ маркеръ въ носъ.

— Что, каково, братъ? спросилъ князь Хлопакова.

— Что-жь? извѣстно, рррракаліооонъ, какъ есть рррракаліооонъ.

Князь прыснулъ со смѣху.

— Какъ, какъ? повтори!

— Рррракаліооонъ! самодовольно повторилъ отставной поручикъ.

„Вотъ оно, слово-то“! подумалъ я.

Князь положилъ краснаго въ лузу.

— Эхъ! не такъ, князь, не такъ залепеталъ вдругъ бѣлокурый офицерикъ съ повраснѣвшими глазами, крошечнымъ носикомъ и младенчески

заспаннымъ лицомъ. — Не такъ играете.... надо было.... не такъ!

— Какъ-же? спросилъ его князь черезъ плечо.

— Надо было.... того.... триплетомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? пробормоталъ князь сквозь зубы.

— А что, князь, сегодня вечеромъ къ цыганамъ? поспѣшно подхватилъ сконфуженный молодой человѣкъ. — Стешка пѣть будетъ.... Ильюшка....

Князь и не отвѣчалъ ему.

— Рррракаліоонъ, братецъ, проговорилъ Хлопаковъ, лукаво прищуривъ лѣвый глазъ.

И князь расхохотался.

— Тридцать девять и никоно, провозгласилъ маркеръ.

— Никого.... посмотри-ка, какъ я вотъ этого желтаго....

Хлопаковъ заёрзалъ кіемъ по рулѣ, прицѣлился и скинсовалъ.

— Э, рракаліоонъ, закричалъ онъ съ досадой.

Князь опять разсмѣялся.

— Какъ, какъ, какъ?

Но Хлопаковъ своего слова повторить не отѣлъ: надо-жъ пококетничать.

— Стиксъ извоили дать, замѣтилъ маркеръ.

— Позвольте помѣлить сорокъ и очень мало!

— Да, господа, заговорилъ князь, обращаясь ко всему собранію и не глядя, впрочемъ, ни на кого въ особенности: — вы знаете, сегодня въ театрѣ Вержембицкую вызывать.

— Какъ-же, какъ-же, непременно, воскликнуло на-перерывъ нѣсколько господъ, удивительно польщенныхъ возможностью отвѣчать на княжескую рѣчь: — Вержембицкую

— Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сопняковой, пропищалъ изъ угла плюгавенькій человѣкъ съ усиками и въ очкахъ. Несчастный! онъ втайнѣ сильно вздыхалъ по Сопняковой, а князь не удостоилъ его даже взглядомъ.

— Че-о-экъ, э, трубку! произнесъ въ галстухъ какой-то господинъ высокаго роста, съ правильнымъ лицомъ и благороднѣйшей осанкой, — по всѣмъ признакамъ шулеръ.

Человѣкъ побѣждалъ за трубкой и, вернувшись, доложилъ его сіятельству, что, дескать, ямщики Баклага ихъ спрашиваютъ-съ.

— А! ну, вели ему подождать, да водки ему поднеси.

— Слушаю-съ.

Баклагой, какъ мнѣ потомъ сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщикъ; князь его любилъ, дарилъ ему лошадей, гонялся съ нимъ, проводилъ съ нимъ цѣлыя ночи.... Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали.... Какъ онъ раздушонъ, зятанутъ, гордъ! Какъ занятъ службой, — а, главное, какъ разсудителенъ!

Однако табачный дымъ начиналъ выѣдать мнѣ глаза. Въ послѣдній разъ выслушавъ восклицаніе Хлопакова и хохотъ князя, я отправился въ свой номеръ, гдѣ на волосяномъ, узкомъ и продавленномъ диванѣ, съ высокой выгнутой, спинкой, мой человѣкъ уже послалъ мнѣ постель.

На другой день пошелъ я смотрѣть лошадей по дворамъ и началъ съ извѣстнаго барышника Ситникова. Черезъ калитку вошелъ я на дворъ, посыпанный песочкомъ. Передъ настежь раскрытою дверью конюшни стоялъ самъ хозяинъ, человѣкъ уже не молодой, высокій и толстый, въ заячемъ тулупчикѣ, съ поднятымъ и подвернутымъ воротникомъ. Увидавъ меня, онъ медленно двинулся ко мнѣ на встрѣчу, подержалъ обѣими руками шапку надъ головой и на — распѣвъ произнесъ:

— А, наше вамъ почтеніе. Чай, лошадокъ угодно посмотрѣть?

— Да, пришелъ лошадокъ посмотрѣть.

— А какихъ именно, смѣю спросить?

— Покажите, что у васъ есть.

— Съ нашимъ удовольствіемъ.

Мы вошли въ конюшню. Нѣсколько бѣлыхъ павокъ поднялось съ сѣна и подбѣжало къ намъ, виляя хвостами; длиннородый старый козелъ съ неудовольствіемъ отошелъ въ сторону; три конюха, въ крѣпкихъ, но засаленныхъ тулупахъ, молча намъ поклонились. Направо и налево, въ искусственно-возвышенныхъ стойлахъ, стояло около тридцати лошадей, выхоленныхъ и вычищенныхъ на славу. По перекладинамъ перелезали и ворковали голуби.

— Вамъ, то-есть, для чего требуется лошадка: для ѣзды или для завода? спросилъ меня Ситниковъ.

— И для ѣзды, и для завода.

— Понимаемъ-съ, понимаемъ-съ, понимаемъ-съ, съ разстановкою произнесъ барышникъ. — Петя, покажи господину Горностая.

Мы вышли на дворъ.

— Да не прикажите-ли лавочку изъ избы вынести?... Не требуется?... Какъ угодно.

Копыта загремѣли по доскамъ, щелкнувъ кнутъ, и Петя, малый лѣтъ сорока, рябой и смуглый, выскочилъ изъ конюшни вмѣстѣ съ сѣрымъ, довольно статнымъ жеребцомъ, далъ ему подняться на дыбы, пробѣжалъ съ нимъ раза два кругомъ двора и ловко осадилъ его на показномъ мѣстѣ. Горностаѣ вытянулся, со свистомъ фыркнулъ, закинулъ хвостъ, повелъ мордой и покосился на насъ.

„Ученая птица!“ подумалъ я.

— Дай волю, дай волю, проговорилъ Ситниковъ и уставился на меня.

— Какъ по вашему будетъ-съ? спросилъ онъ наконецъ.

— Лошадь не дурна, — переднія ноги не совсѣмъ надежны.

— Ноги отличныя, съ убѣжденіемъ возразилъ Ситниковъ: — а задъ-то.... изволите посмотреть.... печь печью, хоть выспись.

— Бабки длинны.

— Чтò за длинны — помилосердуйте! Пробѣги-ка, Петя, пробѣги, да рысью, рысью, рысью.... не давай скакать.

Петя опять пробѣжалъ по двору съ Горностаемъ. Мы всѣ помолчали.

— Ну, поставь его на мѣсто, проговорилъ Ситниковъ: — да Сокола намъ подай.

Соколы, вороной, какъ жуки, жеребецъ голландской породы со свислымъ задомъ и поджарый, оказался немного лучше Горностаея. Онъ принадлежалъ къ числу лошадей, о которыхъ говорятъ охотники, что „онѣ сбѣгутъ и рубятъ и въ полонъ берутъ“, т. е. на ходу вывертываютъ и выкидываютъ передними ногами направо и налево, а впередъ мало подвигаются. Купцы среднихъ лѣтъ подлюбливаютъ такихъ лошадей: побѣжка ихъ напоминаетъ ухорскую походеку бойкаго полового; онѣ хороши въ одиночку, для гулянья послѣ обѣда; выступая фертомъ и скрутивъ шею, усердно везутъ онѣ аляповатыя дрожки, нагруженныя наѣвшимъ до онѣмѣнья кучеромъ, придавленнымъ купцомъ, страдающимъ изжогой, и рыхлой купчихой въ голубомъ шелковомъ салопѣ и лиловомъ платкѣ на головѣ. Я отказался и отъ Сокола. Ситниковъ показалъ мнѣ еще нѣсколько лошадей.... Одна, наконецъ, сѣрый въ яблокахъ жеребецъ воейковской породы, мнѣ понравилась. Я не могъ удержаться и съ удовольствіемъ потрепалъ ее по холкѣ. Ситниковъ тотчасъ прикинулся равнодушнымъ.

— А что онъ ѣдетъ хорошо? спросилъ я.
(О рысакѣ не говорятъ: бѣжить.)

— Ёдетъ, спокойно отвѣтилъ барышникъ.

— Нельзя-ли посмотрѣть?...

— Отчего-же, можно-съ. Эй, Кузя, Догоняя въ дрожки заложить.

Кузя, наѣздникъ, мастеръ своего дѣла, проѣхалъ раза три мимо насъ по улицѣ. Хорошо бѣжить лошадь, не сбивается, задомъ не подбрасываетъ, ногу выносить свободно, хвостъ отдѣляетъ и „держитъ“ рѣдкомахъ.

— А что вы за него просите?

Ситниковъ заломилъ цѣну небывалую. Мы начали торговаться тутъ-же на улицѣ, какъ вдругъ изъ-за угла съ громомъ вылетѣла мастерски-подобранная ямская тройка и лихо остановилась передъ воротами Ситникова дома. На охотницкой, щегольской телѣжкѣ сидѣлъ князь Н.; возлѣ него торчалъ Хлопакъ. Бахлага правилъ лошадьми.... и какъ правилъ! сквозь сережку-бы проѣхалъ, разбойникъ! Гнѣдые пристяжныя, маленькія, живыя, черноглазыя, черноногія, такъ и горятъ, такъ и поджимаются; свисни только — пропали! Караковая коренная стоитъ себѣ, закинувъ шею, словно лебедь, грудь впередъ, ноги какъ стрѣлы, знай головой пома-

хиваетъ, да гордо шурится.... Хорошо, хоть-бы кому въ свѣтлый праздникъ прокатиться?

— Ваше сіятельство! милости просимъ! закричалъ Ситниковъ.

Князь соскочилъ съ тѣлѣги. Хлопаковъ медленно слѣзъ съ другой стороны.

— Здравствуй, братъ.... Есть лошади?

— Какъ не быть для вашего сіятельства! Пожалуйте, войдите.... Петя, Павлина подай! да Похвальнаго чтобъ готовили. А съ вами, батюшка, продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — мы въ другое время покончимъ.... Оумка, лавку его сіятельству.

Изъ особенной, мною сперва не замѣченной, конюшни вывели Павлина. Могучій, темно-гнѣдой конь такъ и взвился всѣми ногами на воздухъ. Ситниковъ даже голову отвернулъ и зажмурился.

— У, пракаціонъ! провозгласилъ Хлопаковъ. Жэмса!

Князь засмѣялся.

Павлина остановили не безъ труда; онъ таки повозилъ конюха по двору; наконецъ, его прижали къ стѣнѣ. Онъ храпѣлъ, вздрагивалъ и поджимался, а Ситниковъ еще дразнилъ его, замахиваясь на него кнутомъ.

— Куда глядишь? вотъ я-те! у! говорилъ барышникъ съ ласковой угрозой, самъ невольно любуясь своимъ конемъ.

— Сколько? спросилъ князь.

— Для вашего сіятельства пять тысячъ.

— Три.

— Нельзя-я-съ, ваше сіятельство, помилуйте....

— Говорять, три, пракаціонъ, подхватилъ Хлопаковъ.

Я не дождался конца сдѣлки и ушелъ. У крайняго угла улицы замѣтилъ я на воротахъ сѣроватаго домика приклеенный большой листъ бумаги. На верху былъ нарисованъ перомъ конь съ хвостомъ въ видѣ трубы и нескончаемой шеей, а подъ копытами коня стояли слѣдующія слова, написанныя стариннымъ почеркомъ:

„Здѣсь продаются разныхъ мастей лошади, „приведенныя на Лебедянскую ярмарку съ извѣстнаго степнаго завода Анастася Иваныча „Чернобая, Тамбовскаго помѣщика. Лошади сіи „отличныхъ статей, выѣзжены въ совершенствѣ „и кроткаго нрава. Господа покупатели благо- „волятъ спросить самаго Анастася Иваныча; „буде-же Анастатей Иванычъ въ отсутствіи, то „спросить вучера Назара Кубышкина. Господа

„покупатели, милости просимъ почтить старичка!“

Я остановился. Дай, думаю, посмотрю лошадей извѣстнаго степнаго заводчика г-на Чернобая.

Я хотѣлъ было войти въ калитку, но, противъ обыкновенія, нашелъ ее запертой. Я постучался.

— Кто тамъ?... Покупатель? пропещалъ женскій голосъ.

— Покупатель.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ.

Калитка растворилась. Я увидалъ бабу лѣтъ пятидесяти, простоволосую, въ сапогахъ и въ тулупѣ на-распашку.

— Извольте, кормилецъ, войти, а я сейчасъ пойду Анастасею Иванычу доложу.... Назаръ, а, Назаръ!

— Чего? прошамшилъ изъ конюшни голосъ семидесятилѣтняго старца.

— Лошадокъ приготовь: покупатель пришелъ.

Старуха побѣжала въ домъ.

— Покупатель, покупатель, проворчалъ ей въ отвѣтъ Назаръ. Я имъ еще не всѣмъ хвосты подмылъ.

„О, Аркадія!“ подумалъ я.

— Здравствуй, батюшка, милости просимъ, медленно раздался за моей спиной сочный и пріятный голосъ. Я оглянулся: передо мною, въ синей долгополой шинели, стоялъ старикъ средняго роста, съ бѣлыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными голубыми глазами.

— Лошадокъ тебѣ? Изволь, батюшка изволь.... Да не хочешь-ли ко мнѣ сперва чайку зайдти напиться?

Я отказался и поблагодарилъ.

— Ну, какъ тебѣ угодно. Ты меня, батюшка, извини: вѣдь, я по старинѣ. (Г-нъ Чернобай говорилъ, не спѣша, и на о). — У меня все по простотѣ, знаешь.... Назаръ, а Назаръ, прибавилъ онъ протяжно и не возвышая голоса.

Назаръ, сморщенный старичишка, съ ястребинымъ носикомъ и клиновидной бородкой, показался на порогѣ конюшни.

— Какихъ тебѣ, батюшка, лошадей требуется? продолжалъ г-нъ Чернобай.

— Не слишкомъ дорогихъ, ѣзжалыхъ, въ кибитку.

— Изволь.... и такія есть, изволь.... Назаръ, Назаръ, покажи барину сѣренькаго меренка, знаешь, что съ краю-то стоить, да гнѣ-

дую съ лысиной, а не то — другую, что отъ Красотки, знаешь?

Назаръ вернулся въ конюшню.

— Да ты на недоуздвахъ такъ ихъ и выведи, закричалъ ему вслѣдъ г-нъ Чернобай. — У меня, батюшка, продолжалъ онъ, ясно и вѣрно глядя мнѣ въ лицо: — не то, что у барышниковъ, — чтобъ имъ пусто было! У нихъ тамъ имбири разные пойдутъ, соль, барда*), Богъ съ ними совсѣмъ!... А у меня, изволишь видѣть, все на ладони, безъ хитростей.

Вывели лошадей. Не понравились онѣ мнѣ.

— Ну, поставь ихъ съ Богомъ на мѣсто, проговорилъ Анастасей Ивановичъ. — Другихъ намъ покажи.

Показали другихъ, Я наконецъ выбралъ одну, подешевле. Начали мы торговаться. Г-нъ Чернобай не горячился, говорилъ такъ разсудительно, съ такою важностью, что я не могъ не „почтить старичка:“ далъ задатокъ.

— Ну, теперь, примолвилъ Анастасей Ивановичъ: — позволь мнѣ, по старому обычаю, тебѣ лошадку изъ полы въ полу передать.... Будешь за нее меня благодарить.... вѣдь, свѣженькая!

*) Отъ барды и соли лошадь скоро тучнѣетъ.

словно орѣшекъ.... нетронутая.... степнячокъ! Во всякую упряжь ходить.

Онъ перекрестился, положилъ полу своей шинели себѣ на руку, взялъ недоуздокъ и передалъ мнѣ лошадь.

— Владѣй съ Богомъ теперь.... А чайку все же хочешь?

— Нѣтъ, покорно васъ благодарю: мнѣ домой пора.

— Какъ угодно.... А мой бучерокъ теперь за тобой лошадку поведетъ.

— Да, теперь, если позволите.

— Изволь, голубчикъ, изволь.... Василій, а Василій, ступай съ бариномъ; лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, съ Богомъ.

— Прощайте, Анастасей Иванычъ.

Привели мнѣ коня на домъ. На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумалъ я было ее заложить: пятакъ моя лошадь назадъ, а ударить ее кнутомъ — зартачится, побрыкается, да и ляжетъ. Я тотчасъ отправился къ г-ну Чернобаю. Спрашиваю:

— Дома?

— Дома.

— Что-жь это вы, говорю: — вѣдь, вы мнѣ запаленную лошадь продали.

— Запаленную?... Сохрани Богъ!

— Да она еще и хромая притомъ и съ норовомъ.

— Хромая? Не знаю; видно твой кучерокъ ее какъ-нибудь попортилъ.... а я, какъ передъ Богомъ....

— Вы, по-настоящему, Анастасей Ивановичъ, ее назадъ взять должны.

— Нѣтъ, батюшка, не прогнѣвайся: ужь коли со двора долой, — кончено. Прежде-бы изволилъ смотрѣть.

Я понялъ въ чемъ дѣло, покорился своей участи, разсмѣялся и ушелъ. Къ счастью, я за урокъ не слишкомъ дорого заплатилъ.

Дня черезъ два я уѣхалъ, а черезъ недѣлю опять завернулъ въ Лебедянь на возвратномъ пути. Въ кофейной я нашелъ почти тѣ-же лица и опять засталъ князя Н. за билльярдомъ. Но въ судьбѣ господина Хлопакова уже успѣла произойти обычная перемѣна. Бѣлокурый офицерчикъ смѣнилъ его въ милостяхъ князя. Бѣдный отставной поручикъ попытался еще разъ при мнѣ пустить въ ходъ свое словечко, — авось,

дескать, понравится по прежнему, — но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожалъ плечомъ. Господинъ Хлопаковъ потушилъ, съёжился, пробрался въ уголокъ и началъ въ тихомолочку набивать себѣ трубочку....

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА И ЕЯ ПЛЕМЯННИКЪ.

Дайте мнѣ руку, любезный читатель, и поѣдемте вмѣстѣ со мной. Погода прекрасная; кротко синѣетъ майское небо; гладкіе молодые листья ракитъ блестятъ, словно вымытые; широкая, ровная дорога вся покрыта той мелкой травой съ красноватымъ стебелькомъ, которую такъ охотно щиплютъ овцы; направо и налѣво, по длиннымъ скатамъ пологихъ холмовъ, тихо зыблется зеленая рожь; жидкими пятнами скользятъ по ней тѣни небольшихъ тучекъ. Въ отдаленіи темнѣютъ лѣса, сверкаютъ пруды, желтѣютъ деревни; жаворонки сотнями поднимаются, поютъ, падаютъ стремглавъ, вытянувъ шейки, торчатъ на глыбочкахъ; грачи на дорогѣ останавливаются, глядятъ на васъ, приникаютъ къ землѣ, даютъ вамъ проѣхать и тяжело отлетаютъ въ сторону; на горѣ за оврагомъ мужикъ пашетъ;

пѣгой жеребенокъ, съ кучымъ хвостикомъ и взъерошенной гривкой, бѣжитъ на невѣрныхъ ножкахъ вслѣдъ за матерью, слышится его тонкое ржанье. Мы въѣзжаемъ въ березовую рощу: крѣпкій, свѣжій запахъ пріятно стѣсняетъ дыханіе. Вотъ околица. Кучеръ слѣзаетъ, лошади фыркаютъ, пристяжны оглядываются, коренная помахиваетъ хвостомъ и прислоняетъ голову къ дугѣ.... со скрынномъ отворяется воротиче. Кучеръ садится.... Трогай! передъ нами деревня. Миновавъ дворовъ пять, мы сворачиваемъ вправо, спускаемся въ лощинку, въѣзжаемъ на плотину. За небольшимъ прудомъ, изъ-за круглыхъ вершинъ яблонь и сиреней виднѣется тесовая крыша, нѣкогда красная, съ двумя трубами; кучеръ беретъ вдоль забора на лѣво и при визгливомъ и сишломъ лаѣ трехъ престарѣлыхъ шавокъ, въѣзжаетъ въ настежь раскрытые ворота, лихо мчится кругомъ по широкому двору мимо конюшни и сарая, молодецки кланяется старухѣ ключницѣ, шагнувшей бокомъ черезъ высокой порогъ въ раскрытую дверь кладовой, и останавливается наконецъ передъ крылечкомъ темнаго домика съ свѣтлыми окнами.... Мы у Татьяны Борисовны. Да вотъ и она сама отво-

ряетъ форточку и киваетъ намъ головой....
Здравствуйте, матушка!

Татьяна Борисовна женщина лѣтъ пятидесяти, съ большими сѣрыми глазами на выкатѣ, нѣсколько тупымъ носомъ, румяными щеками и двойнымъ подбородкомъ. Лицо ее дышитъ привѣтомъ и лаской. Она когда-то была за-мужемъ, но скоро овдовѣла. Татьяна Борисовна весьма замѣчательная женщина. Живетъ она безвыѣздно въ своемъ маленькомъ помѣстьи, съ сосѣдями мало знаетъ, принимаетъ и любитъ однихъ молодыхъ людей. Родилась она отъ весьма бѣдныхъ помѣщиковъ и не получила никакого воспитанія, т. е. не говоритъ по-французски; въ Москвѣ даже никогда не бывала, — и, не смотря на всѣ эти недостатки, такъ просто и хорошо себя держитъ, такъ свободно чувствуетъ и мыслить, такъ мало заражена обыкновенными недугами мелкопомѣстной барыни, что, по-истинѣ, невозможно ей не удивляться.... И въ самомъ дѣлѣ; женщина круглый годъ живетъ въ деревнѣ, въ глуши — и не сплетничаетъ, не пищитъ, не присѣдаетъ, не волнуется, не давится, не дрожитъ отъ любопытства.... чудеса! Ходитъ она обыкновенно въ сѣромъ тафтяномъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ съ висячими

лиловыми лентами; любить покушать, но безъ излишества; варенье, сушенъе и соленъе предоставляетъ клюшницѣ. Чѣмъ же она занимается цѣлый день? спросите вы.... Читаетъ? — Нѣтъ, не читаетъ; да и правду сказать, книги не для нея печатаются.... Если нѣтъ у ней гостя, сидитъ-себѣ моя Татьяна Борисовна подъ окномъ и чулокъ вяжетъ — зимой; лѣтомъ въ садъ ходитъ, цвѣты сажаетъ и поливаетъ, съ котятками играетъ по цѣлымъ часамъ, голубей кормитъ.... Хозяйствомъ она мало занимается. Но если зайдетъ къ ней гость, молодой какой-нибудь сосѣдъ, котораго она жалуется — Татьяна Борисовна вся оживится; усадитъ его, напоятъ чаемъ, слушаетъ его рассказы, смѣется, изрѣдка его по щекамъ потреплетъ, но сама говорить мало; въ бѣдѣ, въ горѣ утѣшить, добрый совѣтъ подастъ, и сколько людей повѣрили ей свои домашнія, задушевные тайны, плакали у ней на рукахъ! Бывало, садеть она противъ гостя, обопрется тихонько на локоть и съ такимъ участіемъ смотритъ ему въ глаза, такъ дружелюбно улыбается, что гостю невольно въ голову придетъ мысль: какая-же ты славная жевщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебѣ расскажу, что у меня на сердцѣ. Въ ея неболь-

шихъ, уютныхъ комнаткахъ хорошо, тепло человеку; у ней всегда въ домѣ прекрасная погода, если можно такъ выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется: ея здравый смыслъ, твердость и свобода, горячее участіе въ чужихъ бѣдахъ и радостяхъ, словомъ, всѣ ея достоинства точно родились въ ней, никакихъ трудовъ и хлопотъ ей не стоили... Ее иначе и вообразить невозможно, стало быть и не за что ее благодарить. Особенно любить она глядѣть на игры и шалости молодежи; сложить руки подъ грудь, закинетъ голову, прищурить глаза и сидитъ, улыбаясь, да вдругъ вздохнетъ и скажетъ: ахъ, вы, дѣтки мои, дѣтки!... Такъ, бывало, и хочется подойти къ ней, взять ее за руку и сказать: послушайте, Татьяна Борисовна, вы себя цѣны не знаете, вѣдь, вы при всей вашей простотѣ и неучености необыкновенное существо! Одно имя ея звучитъ чѣмъ-то знакомымъ, привѣтнымъ, охотно произносится, возбуждаетъ дружелюбную улыбку. Сколько разъ мнѣ, напримѣръ, случалось спросить у встрѣчнаго мужа: какъ, братецъ, проѣхать, положимъ, въ Грачевку? — „А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а оттолѣ на Татьяну Борисовну,

а отъ Татьяны Борисовны всякъ вамъ укажетъ.“ И при имени Татьяны Борисовны всякъ вамъ укажетъ“. И при имени Татьяны Борисовны мужикъ какъ-то особенно головой тряхнетъ. Прислугу она держитъ небольшую, по состоянью. Домомъ, прачешной, кладовой и кухней завѣдываетъ у нея ключница Агаѣя, бывшая ея няня, добрѣйшее, слезливое и беззубое существо; двѣ здоровыя дѣвки, съ крѣпкими сизыми щеками, въ родѣ антоновскихъ яблокъ, состоятъ подъ ея начальствомъ. Должность камердинера, дворецкаго и буфетчика занимаетъ семидесятилѣтній слуга Поликарпъ, чудакъ необыкновенный, человѣкъ начитанный, отставной скрипачъ и поклонникъ Віотти, личный врагъ Наполеона или, какъ онъ говоритъ, Бонапартишки, и страстный охотникъ до соловьевъ. Онъ ихъ всегда держитъ пять или шесть у себя въ комнатѣ; ранней весной по цѣлымъ днямъ сидитъ возлѣ кѣтокъ, выжидая перваго „рокотанья,“ и, дождавшись, закроетъ лицо руками и застонетъ: „охъ жалко, жалко!“ — и въ три-ручья зарыдаетъ. Къ Поликарпу на подмогу приставленъ его-же внукъ, Вася, мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликарпъ, любитъ его безъ памяти и ворчитъ на него съ утра до

вечера. Онъ-же занимается и его воспитаніемъ. — „Вася“, говоритъ, „скажи: Бонапартишка разбойникъ“. — А что дашь, тятя? — „Что дамъ?... ничего я тебѣ не дамъ... Вѣдь ты кто? Русскій ты?“ — Я амчанинъ, тятя: въ Амченскѣ*) родился. — „О, глупая голова! да Амченскъ-то гдѣ?“ — А я почему знаю? — „Въ Россіи Амченскъ, глупый.“ — Такъ что-жь, что въ Россіи? — „Какъ что? Бонапартишку-то его свѣтлѣйшество покойный князь Михайло Илларионовичъ Голенищевъ-Кутузовъ Смоленскій съ Божіею помощію, изъ Россійскихъ предѣловъ выгнать изволилъ. По этому случаю и пѣсня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерялъ свои подвизки... Понимаешь, отечество освободилъ твое.“ — А мнѣ что за дѣло? — „Ахъ, ты глупый мальчикъ, глупый! Вѣдь, если-бы свѣтлѣйшій князь Михайло Илларионовичъ не выгналъ Бонапартишки, вѣдь, тебя-бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковкѣ колотилъ. Подошелъ-бы, этакъ, къ тебѣ, сказалъ-бы: команъ ву порте ву? — да и стукъ, стукъ.“ — А я-бы его въ пузо кулакомъ. —

*) Въ простонародьи городъ Мценскъ называется Амченскомъ, а жители Амчанами. Амчане ребята бойкіе; недаромъ у насъ недругу сулятъ, „Амчанина на дворъ“.

„А онъ-бы тебѣ: бонжуръ, бонжуръ, вене иси, — да за хохоль, за хохоль.“ — А я-бы его по ногамъ, по ногамъ, по цыбулястымъ-то. — „Оно точно, ноги у нихъ цыбулястыя... Ну, а какъ онъ-бы руки тебѣ сталъ вязать?“ — А я-бы не дался; Михея кучера на помощь-бы позвалъ. — „А чтò, Вася, вѣдь, французу съ Михеємъ не сладить! Михей-то во-какъ здоровъ. — — „Ну, и чтò-жь-бы его?“ — Мы-бы его по спинѣ, да по спинѣ. — „А онъ-бы пардонъ закричалъ: пардонъ, пардонъ, севуплей“. — А мы-бы ему: нѣтъ тебѣ севуплея, французъ ты этакой!... — „Молодецъ, Вася!... Ну, такъ кричи-же: разбойникъ Бонапартишка!“ — А ты мнѣ сахару дай! — „Экой!“...

Съ помѣщицами Татьяна Борисовна мало водится; онѣ неохотно къ ней ѣздить, и она неумѣетъ ихъ занимать, засыпаетъ подъ шумокъ ихъ рѣчей, вздрагиваетъ, силится раскрыть глаза и снова засыпаетъ. Татьяна Борисовна вообще не любитъ женщинъ. У одного изъ ея пріятелей, хорошаго и смирнаго молодаго человѣка, была сестра, старая дѣвица лѣтъ тридцати восьми съ половиной, существо добрейшее, но исковерканное, натянутое и восторженное. Братъ ей часто рассказывалъ о своей сосѣдкѣ.

Въ одно прекрасное утро, моя старая дѣвица, не говоря худаго слова, велѣла осѣдлатъ себѣ лошадь и отправилась къ Татьянѣ Борисовнѣ. Въ длинномъ своемъ платьѣ, со шляпой на головѣ, зеленымъ вуалемъ и распущенными кудрями вошла она въ переднюю и, минуя оторопѣлаго Васю, принявшаго ее за русалку, вбѣжала въ гостиную. Татьяна Борисовна испугалась, хотѣла было приподняться, да ноги подеосились. — „Татьяна Борисовна“, заговорила умоляющимъ голосомъ гостя: — „извините мою смѣлость; я сестра вашего пріятеля Алексѣя Николаевича К***, и столько наслышалась отъ него объ васъ, что рѣшилась познакомиться съ вами“. — „Много чести“, пробормотала изумленная хозяйка. Гостя сбросила съ себя шляпу, тряхнула кудрями, усѣлась подлѣ Татьяны Борисовны, взяла ее за руку... — „Итакъ, вотъ она“, начала она голосомъ задумчивымъ и тронутымъ: — „вотъ это доброе, ясное, благородное, святое существо! Вотъ она, эта простая и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокая женщина! Какъ я рада, какъ я рада! Какъ мы будемъ любить другъ друга! Я отдохну наконецъ... Я ее себѣ именно такую воображала“, прибавила она шопотомъ, упираясь глазами въ глаза Татьяны Борисовны. — „Не

правда-ли, вы не сердитесь на меня, добрая моя, хорошая моя?" — „помилуйте, я очень рада... Не хотите-ли вы чаю?" — Гостья снисходительно улыбнулась, — „Wie wahr, wie unreflectirt“, прошептала она, словно про себя. „Позвольте обнять васъ, моя милая!“

Старая дѣвица высидѣла у Татьяны Борисовны три часа, не умолкая ни на мгновенье. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ея значенье. Тотчасъ послѣ ухода нежданной гостьи, бѣдная помѣщица отправилась въ баню, напилась липоваго чаю и легла въ постель. Но на другой-же день старая дѣвица вернулась, просидѣла четыре часа и удалилась съ обѣщаньемъ посѣщать Татьяну Борисовну ежедневно. Она, изволите видѣть, вздумала окончательно развить, довоспитать такую, какъ она выражалась, богатую природу, и, вѣроятно, уходила-бы ее наконецъ совершенно, если-бы, во-первыхъ, недѣли черезъ двѣ не разочаровалась „вполнѣ“ на счетъ пріятельницы своего брата; а во-вторыхъ, если-бы не влюбилась въ молодого проѣзжаго студента, съ которымъ тотчасъ-же вступила въ дѣятельную и жаркую переписку; въ посланіяхъ своихъ она, какъ водится, благословляла его на святую и

прекрасную жизнь, приносила „всю себя“ въ жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась въ описанія природы, упоминала о Гёте, Шиллерѣ, Беттинѣ и нѣмецкой философіи, — и довела наконецъ бѣднаго юношу до мрачнаго отчаянія. Но молодость взяла свое: въ одно прекрасное утро проснулся онъ съ такой остревѣлой ненавистью къ своей „сестрѣ и лучшему другу,“ что едва, сгоряча, не прибилъ своего камердинера и долгое время потомъ чуть не кусался при малѣйшемъ намекѣ на возвышенную и безкорыстную любовь... Но съ тѣхъ поръ Татьяна Борисовна стала еще болѣе прежняго избѣгать сближенія съ своими сосѣдками.

Увы! ни что не прочно на землѣ. Все, что я вамъ разсказалъ о житѣ бытѣ моей доброй помѣщицы — дѣло прошедшее; тишина, господствовавшая въ ея домѣ, нарушена на вѣки. У ней теперь, вотъ ужъ болѣе года, живетъ племянникъ, художникъ изъ Петербурга. Вотъ какъ это случилось.

Лѣтъ восемь тому назадъ, проживалъ у Татьяны Борисовны мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, круглый сирота, сынъ ея покойнаго брата, Андрюша. У Андрюши были большіе, свѣтлые, влажные глаза, маленькій ротикъ, правильный носъ и

прекрасный возвышенный лобъ. Онъ говорилъ тихимъ и сладкимъ голосомъ, держалъ себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался къ гостямъ, съ сиротливой чувствительностію цаловалъ ручку у тетушки. Бывало не успѣете вы показаться, — глядь, ужъ онъ несетъ вамъ кресла. Шалостей за нимъ не водилось никакихъ: не стукнетъ, бывало; сидитъ себѣ въ уголку за книжечкой, и такъ скромно, и смиренно, даже къ спинѣ стула не прислоняется. Гость войдетъ, — мой Андрюша приподнимается, прилично улыбнется и покраснѣетъ; гость выйдетъ, — онъ сядетъ опять, достанетъ изъ кармашика щеточку съ зеркальцемъ и волосики себѣ причешетъ. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ почувствовалъ онъ охоту къ рисованью. Попадался-ли ему клочекъ бумаги, онъ тотчасъ выпрашивалъ у Агаѣи ключницы ножницы, тщательно выкраивалъ изъ бумажки правильный четвероугольникъ, проводилъ кругомъ каемочку и принимался за работу: нарисуетъ глазъ съ огромнымъ зрачкомъ, или греческій носъ, или домъ съ трубой и дымомъ въ видѣ винта, собаку „en face“, похожую на скамью, деревцо съ двумя голубками и подпишетъ: „рисовалъ Андрей Бѣловзоровъ, такого-то числа, такого-то года, село Малыя Брыки.“

Съ особеннымъ усердіемъ трудился онъ недѣли за двѣ до именинъ Татьяны Борисовны; являлся первый съ поздравленіемъ и подносилъ свитокъ, повязанный розовой ленточкой. Татьяна Борисовна цаловала племянника въ лобъ и распутывала узелокъ: свитокъ раскрывался и представлялъ любопытному взору зрителя круглый, бойко оттушованный храмъ съ колоннами и алтаремъ по срединѣ; на алтарѣ пылало сердце и лежалъ вѣнокъ, а вверху, на извилистой бандеролѣ, четкими буквами стояло: „Тетушѣ и благодѣтельницѣ Татьянѣ Борисовнѣ Богдановой отъ почтительнаго и любящаго племянника, въ знакъ глубочайшей привязанности.“ Татьяна Борисовна снова его цаловала и дарила ему цѣлковый. Большой однако привязанности она къ нему не чувствовала: подобострастіе Андрюши ей не совсѣмъ нравилось. Между тѣмъ, Андрюша подрастала; Татьяна Борисовна начинала безновокиться о его будущности. Неожиданный случай вывелъ ее изъ затрудненія...

А именно: однажды, лѣтъ восемь тому назадъ, заѣхалъ къ ней нѣкто г. Беноволенскій Петръ Михайлычъ, коллежскій совѣтникъ и кавалеръ. Г. Беноволенскій нѣкогда состоялъ на службѣ въ ближайшемъ уѣздномъ городѣ и

прилежно посѣщаль Татьяну Борисовну; потомъ переѣхаль въ Петербургъ, вступилъ въ министерство, достигъ довольно важнаго мѣста, и въ одну изъ частыхъ своихъ поѣздоеъ по казенной надобности, вспомнилъ о своей старинной знакомой и завернулъ къ ней, съ намѣреніемъ отдохнуть дня два отъ заботъ служебныхъ „на лонѣ сельской тишины“. Татьяна Борисовна приняла его съ обыкновеннымъ своимъ радушіемъ, и г. Беневоленскій... Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ продолженію разсказа, позвольте, любезный читатель, познакомить васъ съ этимъ новымъ лицомъ.

Г. Беневоленскій былъ человѣкъ толстоватый, средняго роста, мягкій на видъ, съ коротенькими ножками и пухленькими ручками; носилъ онъ просторный и чрезвычайно опрятный фракъ, высокій и широкій галстухъ, бѣлое, какъ снѣгъ, бѣлье, золотую цѣпочку на шелковомъ жилетѣ, перстень съ камнемъ на указательномъ пальцѣ и бѣлокурый парикъ; говорилъ убѣдительно и кротко, выступалъ безъ шума, пріятно улыбался, пріятно погружалъ подбородокъ въ галстухъ: вообще, пріятный былъ человѣкъ. Сердцемъ его тоже Господь надѣлилъ добрейшимъ: плакалъ онъ и восторгался легко; сверхъ того, пылалъ

безкорыстной страстью къ искусству, и ужь по-
длинно безкорыстной, потому что именно въ
искусствѣ г. Беневоленскій, коли правду сказать,
рѣшительно ничего не смыслилъ. Даже удиви-
тельно, откуда, въ силу какихъ таинственныхъ
и непонятныхъ законовъ, взялась у него эта
страсть? Кажется, человѣкъ онъ былъ положи-
тельный, даже дюжинный... впрочемъ, у насъ
на Руси такихъ людей довольно много.

Любовь къ художеству и художникамъ при-
даетъ этимъ людямъ приторность неизъяснимую;
знаться съ ними, съ ними разговаривать — му-
чительно: настоящія дубины, вымазанныя медомъ.
Они, на-примѣръ, никогда не называютъ Рафаэля
— Рафаэлемъ, Корреджіо — Корреджіемъ: „божест-
венный Санціо, неподражаемый де Аллегрись“,
говорятъ они, и говорятъ непремѣнно на о. Вся-
кій доморощенный, самолюбивый, перехитренный
и посредственный талантъ величаютъ геніемъ
или, правильнѣе, хэніемъ; синее небо Италиі,
южный лимонъ, душистые пары береговъ Бренты
не сходятъ у нихъ съ языка. „Эхъ, Ваня, Ваня“,
или: „эхъ, Саша, Саша“, съ чувствомъ говорятъ
они другъ другу, „на югъ-бы намъ, на югъ...
вѣдь, мы съ тобою греки душою, древніе греки!“
Наблюдать ихъ можно на выставкахъ, передъ

иными произведеніями иныхъ россійскихъ живописцевъ. (Должно замѣтить, что по большой части всѣ эти господа патріоты страшные). То отступать они шага на два и закинуть голову, то снова придвинутся къ картинѣ; глазки ихъ покрываются маслянистою влагой... „Фу, ты, Боже мой“, говорятъ они наконецъ разбитымъ отъ волненія голосомъ: „души-то, души-то что! эка, сердца-то, сердца! эка души-то напустилъ! тьма души!... А задумано-то какъ! мастерски задумано!“ — А что у нихъ самихъ въ гостиныхъ за картины! Что за художники ходятъ къ нимъ по вечерамъ, пьютъ у нихъ чай, слушаютъ ихъ разговоры! Какіе они имъ подносятъ перспективные виды собственныхъ комнатъ съ щеткой на правомъ планѣ, грядкой сору на выложенномъ полу, желтымъ самоваромъ на столѣ возлѣ окна и самимъ хозяиномъ въ халатѣ и ермолеѣ, съ яркимъ бликомъ свѣта на щекѣ! Что за длинноволосые питомцы музъ, съ лихорадочно-презрительной улыбкой, ихъ посѣщаютъ! Что за блѣдно-зеленые барышни взвизгиваютъ у нихъ за фортепьянами! Ибо у насъ уже такъ на Руси заведено: одному искусству человѣкъ предаваться не можетъ — подавай ему всѣ. И потому нисколько не удивительно, что эти гос-

пода-любители также оказывают сильное покровительство русской литературѣ, особенно драматической... „Джакобы Санназары“ писаны для нихъ: тысячи разъ изображенная борьба не признаннаго таланта съ людьми, съ цѣлымъ міромъ потрясаетъ ихъ до дна души...

На другой-же день послѣ грѣзда г. Беневоленскаго, Татьяна Борисовна, за чаемъ, велѣла племяннику показать гостю свои рисунки. „А онъ у васъ рисуется?“ не безъ удивленія произнесъ г. Беневоленскій и съ участіемъ обратился къ Андрюшѣ. „Какъ-же, рисуется“, сказала Татьяна Борисовна. „Такой охотникъ! и, вѣдь, одинъ, безъ учителя“. — „Ахъ, покажите, покажите,“ подхватилъ г. Беневоленскій. Андрюша, краснѣя и улыбаясь, поднесъ гостю свою тетрадку. Г. Беневоленскій началъ, съ видомъ знатока, ее перелистывать. „Хорошо, молодой человѣкъ,“ промолвилъ онъ наконецъ: „хорошо, очень хорошо.“ И онъ погладилъ Андрюшу по головкѣ. Андрюша на лету поцаловалъ его руку. „Скажите, какой талантъ! Поздравляю васъ, Татьяна Борисовна, поздравляю“. — „Да что, Петръ Михайлычъ, здѣсь учителя не могу ему сыскать. Изъ города — дорогъ; у сосѣдей у Артамоновыхъ есть живописецъ и, говорятъ, отличный,

да барыня ему запрещаетъ чужимъ людямъ уроки давать. Говорить, вкусъ себѣ испортить.“ „Гмъ,“ произнесъ г. Беневоленскій, задумался и поглядѣлъ изъ подлобья на Андрюшу. „Ну, мы объ этомъ потолкуемъ“, прибавилъ онъ вдругъ и потеръ себѣ руки. Въ тотъ-же день онъ попросилъ у Татьяны Борисовны позволенія поговорить съ ней наединѣ. Они заперлись: Черезъ полчаса кликнули Андрюшу. Андрюша вошелъ. Г. Беневоленскій стоялъ у окна съ легкой краской на лицѣ и сіяющими глазами. Татьяна Борисовна сидѣла въ углу и утирала слезы. „Ну, Андрюша“ заговорила она наконецъ: — „благодари Петра Михайлыча: онъ беретъ тебя на свое попеченіе, увозитъ тебя въ Петербургъ.“ Андрюша такъ и замеръ на мѣстѣ. „Вы мнѣ скажите откровенно,“ началъ г. Беневоленскій голосомъ, исполненнымъ достоинства и снисходительности: — „желаете-ли вы быть художникомъ, молодой человѣкъ? Чувствуете-ли вы, такъ сказать, призваніе къ искусству?“ — „Я желаю быть художникомъ, Петръ Михайлычъ“, трепетно подтвердилъ Андрюша. — „Въ такомъ случаѣ я очень радъ. Вамъ конечно,“ продолжалъ г. Беневоленскій: — „тяжко будетъ разстаться съ вашей почтенной тетуськой, вы

должны чувствовать къ ней живѣйшую благодарность.“ — „Я обожаю мою тетушку,“ прервалъ его Андрюша и моргалъ глазами. „Конечно, конечно, это весьма понятно и дѣлаетъ вамъ много чести; но за-то, вообразите, какую радость современемъ.... ваши успѣхи“.... „Обними меня, Андрюша,“ пробормотала добрая помѣщица. Андрюша бросился ей на шею. „Ну, а теперь поблагодари своего благодѣтеля“... Андрюша обнялъ животъ г. Беневоленскаго, поднялся на цыпочки и досталъ-таки его руку, которую благодѣтель, правда, принималъ, но не слишкомъ спѣшилъ принять.... Надо-жь потѣшить, удовлетворить ребенка, ну, и себя немножко побаловать. Дня черезъ два г. Беневоленскій уѣхалъ и увезъ своего новаго питомца.

Въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ разлуки Андрюша писалъ довольно часто, прилагалъ иногда къ письмамъ рисунки. Г. Беневоленскій изрѣдка прибавлялъ также нѣсколько словъ отъ себя, большей частью одобрительныхъ; потомъ письма рѣже стали, рѣже, наконецъ совсѣмъ прекратились. Цѣлый годъ безмолвствовалъ племянникъ; Татьяна Борисовна начинала уже беспокоиться, какъ вдругъ получила записочку слѣдующаго содержанія:

„Любезная тетушка!

„Четвертаго дня, Петра Михайловича, моего повровителя, не стало. Жестокій ударъ паралича лишилъ меня сей послѣдней опоры. Конечно, мнѣ уже теперь двадцатый годъ пошелъ; въ теченіи семи лѣтъ я сдѣлалъ значительные успѣхи; я сильно надѣюсь на свой талантъ и могу посредствомъ его жить; я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мнѣ, на первый случай, 250 рублей ассигнаціями. Цалую ваши ручки и остаюсь и т. д.“

Татьяна Борисовна отправила къ племяннику 250 рублей. Черезъ два мѣсяца онъ потребовалъ еще; она собрала послѣднее и выслала еще. Не прошло шести недѣль послѣ вторичной присылки, онъ попросилъ въ третій разъ, будто на краски для портрета, заказаннаго ему княгиней Тертерешеновой. Татьяна Борисовна отказала. Въ такомъ случаѣ, написалъ онъ ей, я намѣренъ пріѣхать къ вамъ въ деревню для поправленія моего здоровья. И дѣйствительно, въ маѣ мѣсяцѣ того-же года, Андрюша вернулся въ Малыя Брыки.

Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его, она ждала человѣка болѣзненнаго и худаго, а увидѣла малаго плечистаго,

толстаго, съ лицомъ широкимъ и краснымъ, съ курчавыми и жирными волосами. Тоненькій и блѣдненькій Андрюша превратился въ дюжлага Андрея Ивановича Бѣловзорова. Не одна наружность въ немъ измѣнилась. Щепетильную застѣнчивость, осторожность и опрятность прежнихъ лѣтъ замѣнило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; онъ на-ходу качался вправо и влево, бросался въ кресла, обрушался на столъ, разваливался, зѣвалъ во все горло; съ теткой, съ людьми обращался дерзко. Я, дескать, художникъ, вольный казакъ! Знай нашихъ! Бывало, по цѣлымъ днямъ кисти въ руки не беретъ; найдетъ на него такъ называемое вдохновеніе — ломается, словно съ похмѣлья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловѣли; пустится толковать о своемъ талантѣ, о своихъ успѣхахъ, о томъ, какъ онъ развивается, идетъ впередъ.... На дѣлѣ же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невѣжда онъ былъ круглый, ничего ни читалъ, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзія — вотъ его стихіи. Знай потряхивай кудрями да заливайся соловьемъ, да затягивайся Жуковымъ въ засосъ! Хороша русская

удаль, да немногимъ она къ лицу; а бездарные Полежаевы второй руки невыносимы. Зажился нашъ Андрей Ивановичъ у тетюшки: даровой хлѣбъ видно по вкусу пришелся. На гостей нагонялъ онъ тоску смертельную. Сядетъ, бывало, за фортопьяны (у Татьяны Борисовны и фортопьяны водились) и начнетъ однимъ пальцемъ отыскивать „Тройку удалую;“ аккорды беретъ, стучить по клавишамъ; по цѣлымъ часамъ мучительно завываетъ романсы Варламова: „Уединенная сосна“, или: „Нѣтъ, докторъ, нѣтъ, не приходи,“ а у самого глаза заплыли жиромъ и щеки лоснятся, какъ барабанъ.... А то вдругъ грянетъ: „Уймись, волненія страсти“.... Татьяна Борисовна такъ и вздрогнетъ.

— Удивительное дѣло, замѣтила она мнѣ однажды: — какія нынче все пѣсни сочиняютъ, отчаянныя какія-то; въ мое время иначе сочиняли: и печальныя пѣсни были, а все пріятно было слушать.... На-примѣръ:

Прійди, прійди ко мнѣ на лугъ,
Гдѣ жду тебя напрасно;
Прійди, прійди ко мнѣ на лугъ,
Гдѣ слезы лью всечасно....
Увы, прійдешь ко мнѣ на лугъ,
Но будетъ поздно, милый другъ!

Татьяна Борисовна лукаво улыбнулась.

— „Я стра-ажду, я стра-ажду,“ завылъ въ сосѣдней комнатѣ племянникъ.

— Полно тебѣ, Андрюша.

— „Душа изнываетъ въ разлу-уеѣ,“ продолжалъ неугомонный пѣвецъ.

Татьяна Борисовна покачала головой.

— Охъ, ужъ эти мнѣ художники!...

Съ того времени прошелъ годъ, Бѣловзоровъ до сихъ поръ живетъ у тетушки и все собирается въ Петербургъ. Онъ въ деревнѣ сталъ поперегъ себя толще. Тетка — это-бы могъ это подумать — въ немъ души не чаеъ, а окрестныя дѣвицы въ него влюбляются....

Много прежнихъ знакомыхъ перестало ѣздить къ Татьянѣ Борисовнѣ.

С М Е Р Т Ь.

У меня есть сосѣдъ, молодой хозяинъ и молодой охотникъ. Въ одно прекрасное іюльское утро, заѣхалъ я къ нему верхомъ съ предложеніемъ отправиться вмѣстѣ на тетеревовъ. Онъ согласился. „Только“, говорить, „поѣдемте по моимъ мелочамъ, къ Зушѣ; я кстати посмотрю Чаплыгино; вы знаете, мой дубовый лѣсъ? у меня его рубятъ“. — „Поѣдемте“. Онъ велѣлъ осѣдлать лошадь, надѣлъ зеленый сюртучекъ съ бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусомъ ягташъ, серебряную флягу, накинулъ на плечо новенькое французское ружье, не безъ удовольствія повертѣлся передъ зеркаломъ и кликнулъ свою собаку Эсперансъ, подаренную ему кузиной, старой дѣвицей съ отличнымъ сердцемъ, но безъ волосъ. Мы отправились. Мой сосѣдъ взялъ съ собою

десятскаго Архипа, толстаго и приземистаго мужика съ четвероугольнымъ лицомъ и допотопно-развитыми скулами, да недавно нанятаго управителя изъ остъ-зейскихъ губерній, юношу лѣтъ девятнадцати, худаго, бѣлокураго, подслѣповатаго, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готлиба фонъ-деръ-Кока. Мой сосѣдъ самъ недавно вступилъ во владѣніе имѣніемъ. Оно досталось ему въ наслѣдство отъ тетки, статской совѣтницы Кардонъ-Катаевой, необыкновенно-толстой женщины, которая, даже лежа въ постели, продолжительно и жалобно кряхтѣла. Мы вѣхали въ „мелоча“. — „Вы меня здѣсь подождите на полянкѣ“, примолвилъ Ардаліонъ Михайлычъ (мой сосѣдъ), обратившись къ своимъ спутникамъ. Нѣмецъ поклонился, слѣзъ съ лошади, досталъ изъ кармана книжку, кажется романъ Іоганны Шопенгауеръ, и присѣлъ подъ кустикъ; Архипъ остался на солнцѣ и въ теченіи часа не певельнулся. Мы покружили по кустамъ и не нашли ни одного выводка. Ардаліонъ Михайлычъ объявилъ, что онъ намѣренъ отправиться въ лѣсъ. Мнѣ самому въ тотъ день что-то не вѣрилось въ успѣхъ охоты: я тоже пошелъ вслѣдъ за нимъ. Мы вернулись на полянку. Нѣмецъ замѣтилъ страницу, всталъ

положилъ книгу въ карманъ и сѣлъ, не безъ труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала отъ малѣйшаго прикосновенія; Архипъ встрепенулся, задержалъ разомъ обоими поводьями, заболталъ ногами и сдвинулъ наконецъ съ мѣста свою ошеломленную и придавленную лошаденку. Мы поѣхали.

Лѣсъ Ардаліона Михайлыча съ дѣтства былъ мнѣ знакомъ. Въстѣ съ моимъ французскимъ гувернеромъ *mr. Désiré Fleury*, добрѣйшимъ человѣкомъ (который, впрочемъ, чуть было навсегда не испортилъ моего здоровья, заставляя меня по вечерамъ пить лекарство Леруа), часто хаживалъ я въ Чаплытино. Весь этотъ лѣсъ состоялъ изъ какихъ нибудь двухъ или трехъ сотъ огромныхъ дубовъ и ясеней. Ихъ статные могучіе стволы великолѣпно чернѣли на золотисто-прозрачной зелени орѣшниковъ и рябинъ; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и тамъ уже раскидывали шатромъ свои широкіе, узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистомъ носились подъ неподвижными верхушками; пестрые дятлы крѣпко стучали по толстой корѣ; звучный напѣвъ черного дрозда внезапно раздавался въ густой листьѣ

вслѣдъ за переливчатымъ крикомъ иволги; внизу, въ кустахъ, чирикали и пѣли малиновки, чижи и пѣночки; зяблики проворно бѣгали по дорожкамъ; бѣлякъ прокрадывался вдоль опушки, осторожно „костыляя;“ краснобуря бѣлка рѣзво прыгала отъ дерева къ дереву и вдругъ садилась, поднявши хвостъ надъ головой. Въ травѣ, около высокихъ муравейниковъ, подъ легкой тѣнью вырѣзныхъ, красивыхъ листьевъ папоротника, цвѣли фіалки и ландыши, росли сыроѣшки, волынки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайкахъ, между широкими кустами алѣла земляника.... А что въ лѣсу за тѣнь! Въ самый жаръ, въ полдень — ночь настоящая: тишина, запахъ, свѣжесть.... Весело проводилъ я время въ Чаплыгинѣ, и отъ того, признаюсь, не безъ грустнаго чувства въѣхалъ я теперь въ слишкомъ знакомый мнѣ лѣсъ. Губительная, безснѣжная зима 40-года не пощадила старыхъ моихъ друзей — дубовъ и ясеней; засохшіе, обнаженные, коигдѣ покрытые чахоточной зеленью, печально высились они надъ молодой рощей, которая „смѣнила ихъ не замѣнивъ“*). Иные, еще

*) Въ 40-мъ году, при жесточайшихъ морозахъ, до самаго конца декабря не выпало снѣгу; зѣленя всѣ вымерзли, и много прекрасныхъ дубовыхъ лѣсовъ погубила

обросшіе листьями внизу, словно съ упрекомъ и отчаяніемъ поднимали кверху свои безжизненные, обломанныя вѣтви; у другихъ изъ листвы, еще довольно густой, хотя необильной, неизбыточной, по прежнему, торчали толстые, сухіе, мертвые сучья; съ иныхъ уже кора долой спадала; иные наконецъ вовсе повалились и гнили, словно трупы, на землѣ. Кто-бы могъ это предвидѣть — тѣни, въ Чаплыгинѣ тѣни нигдѣ нельзя было найти! Чтò, думалъ я, глядя на умирающія деревья: чай, стыдно и горько вамъ?... Вспомнился мнѣ Кольцовъ:

Гдѣ-жъ дѣвалась
Рѣчь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Гдѣ-жъ теперь твоя
Мочь зеленая?...

— Какъ-же это, Ардаліонъ Михайлычъ, началъ я: — отчего-жъ эти деревья на другой-же годъ не срубили? Вѣдь, за нихъ теперь противъ прежняго десятой доли не дадутъ.

Онъ только плечами пожалъ.

эта безжалостная зима. Замѣнить ихъ трудно; производительная сила земли видимо скудѣетъ; на „заказанныхъ“ (съ образами обойденныхъ) пустыряхъ вмѣсто прежнихъ благородныхъ деревьевъ, сами-собою вырастаютъ березы да осины; а иначе разводить рощи у насъ не умѣютъ.

— Спросили-бы тетушку, — а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

— Mein Gott! Mein Gott! восклицалъ на каждомъ шагу фонъ-деръ-Кокъ: — Што са шалость! што са шалость!

— Какая шалость? съ улыбкой замѣтилъ мой сосѣдъ.

— То истъ, какъ шалко, я скасать хотѣллъ. (Извѣстно, что всѣ нѣмцы, одолѣвшіе наконецъ нашу букву „люди“, удивительно на нее напирають.)

Особенно возбуждали его сожалѣніе лежавшіе на землѣ дубы, — и дѣйствительно: иной-бы мельникъ дорого за нихъ заплатилъ. За то десятскій Архипъ сохранялъ спокойствіе невозмутимое и не горевалъ нисколько; напротивъ, онъ даже не безъ удовольствія черезъ нихъ перескакивалъ и кнутикомъ по нимъ постегивалъ.

Мы пробирались на мѣсто порубки, какъ вдругъ, въ слѣдъ за шумомъ упавшаго дерева, раздался крикъ и говоръ, и черезъ нѣсколько мгновеній на-встрѣчу изъ чащи выскочилъ молодой мужикъ, блѣдный и растрепанный.

— Чтò такое? куда ты бѣжишь? спросилъ его Ардаліонъ Михайлычъ.

Онъ тотчасъ остановился.

— Ахъ, батюшка, Ардаліонъ Михайлычъ, бѣда!

— Чтò такое?

— Максима, батюшка, деревомъ пришибло.

— Какимъ это образомъ?... Подрядчика Максима?

— Подрядчика, батюшка. Стали мы ясень рубить, а онъ стоитъ да смотреть.... Стоялъ, стоялъ, да и пойдѣ за водой къ колодцу: слышь, пить захотѣлось. Какъ вдругъ ясень затрепещитъ, да прямо на него. Мы кричимъ ему: бѣги, бѣги бѣги.... Ему-бы въ сторону броситься, а онъ возьми да прямо и побѣги.... заробѣлъ знатъ. Ясень-то его верхними сучьями и накрылъ. И отчего такъ скоро повалился, — Господь его знаетъ.... Развѣ сердцевинка гнила была.

— Ну, и убило Максима?

— Убило, батюшка.

— До смерти?

— Нѣтъ, батюшка, еще живъ, — да чтò: ноги и руки ему перешибло. Я вотъ за Селиверстычемъ бѣжалъ, за лекаремъ.

Ардаліонъ Михайлычъ приказалъ десятскому скакать въ деревню за Селиверстычемъ, а самъ крупной рысью поѣхалъ впередъ, на сѣчки.... Я за нимъ.

Мы нашли бѣднаго Максима на землѣ. Человѣкъ десять мужиковъ стояло около него. Мы слѣзли съ лошадей. Онъ почти не стоналъ, изрѣдка раскрывалъ и расширялъ глаза, словно съ удивленіемъ глядѣлъ кругомъ и покусывалъ посинѣвшія губы.... Подбородокъ у него дрожалъ, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: онъ умиралъ. Легкая тѣнь молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись къ нему. Онъ узналъ Ардалиона Михайлыча.

— Батюшка, заговорилъ онъ едва внятно: — за попомъ.... послать.... прикажите.... Господь.... меня наказалъ.... ноги, руки, все перебито.... сегодня.... воскресенье.... а я.... а я.... вотъ.... ребятъ-то не распустилъ.

Онъ молчалъ. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои.... женѣ.... женѣ дайте.... за вычетомъ.... вотъ Онисимъ знаетъ.... кому я.... что долженъ....

— Мы за лекаремъ послали, Максимъ, заговорилъ мой сосѣдъ: — можетъ быть ты еще и не умрешь.

Онъ раскрылъ было глаза и съ усиліемъ поднималъ брови и вѣки.

— Нѣтъ, умру. Вотъ.... вотъ подступаетъ,

вотъ она, вотъ.... Простите мнѣ, ребята, коли въ чемъ....

— Богъ тебя проститъ, Максимъ Андреичъ, глухо заговорили мужики въ одинъ голосъ и шапки сняли: — прости ты насъ.

Онъ вдругъ отчаянно потрясъ головой, то-скливо выпятилъ грудь и опустилсѣ опять.

— Нельзя-же ему однако тутъ умирать, воскликнулъ Ардаліонъ Михайлычъ: — ребята давайте-ка вонъ съ телѣги рогожку, снесемте его въ больницу.

Человѣка два бросились къ телѣгѣ.

— Я у Ефима.... Сычовскаго.... залепеталъ умирающій: — лошадь вчера купилъ.... зада-токъ далъ.... такъ лошадь-то моя.... женѣ ее.... тоже....

Стали его класть на рогожу.... онъ затрепеталъ весь, какъ застрѣленная птица, и выпрамылся....

— Умеръ, пробормотали мужики.

Мы молча сѣли на лошадей и отѣхали.

Смерть бѣднаго Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умираетъ русскій мужикъ! Состоянье его передъ кончиной нельзя назвать ни равнодушіемъ, ни тупостью: онъ

умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: холодно и просто.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ у другаго моего сосѣда въ деревнѣ мужикъ въ овинѣ обгорѣлъ. (Онъ такъ-бы и остался въ овинѣ, да заѣзжій мѣщанинъ его полуживаго вытащилъ: окунулся въ кадку съ водой, да съ разбѣга и вышибъ дверь подъ пылавшимъ навѣсомъ.) Я зашелъ къ нему въ избу. Темно въ избѣ, душно, дымно. Спрашиваю, гдѣ больной? — „А вонъ, батюшка, на лежанкѣ“, отвѣчаетъ мнѣ на-распѣвъ подгрюнившаяся баба. Подхожу — лежитъ мужикъ, тулупомъ покрылся, дышетъ тяжело. „Что? какъ ты себя чувствуешь?“ Завозился больной на печи, подняться хочетъ, а весь въ ранахъ, при смерти. „Лежи, лежи, лежи.... Ну, что? какъ?“ — „Вѣстимо, плохо“, говоритъ. — „Больно тебѣ?“ — Молчитъ. — „Не нужно-ли чего?“ — Молчитъ. — „Не прислать-ли тебѣ чаю, что-ли?“ — „Не надо“. — Я отошелъ отъ него, присѣлъ на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса, — гробовое молчаніе въ избѣ. Въ углу, за столомъ подъ образами, прячется дѣвочка лѣтъ пяти, хлѣбъ ѣстъ. Мать изрѣдка грозитъ на нее. Въ сѣняхъ ходятъ, стучатъ, разговариваютъ; братнина жена капусту рубить. — „А, Аксинья!“ прого-

ворилъ наконецъ больной. — „Чего?“ — „Квасу дай“. — Подала ему Аксиныя квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шопотомъ: причастили его? — „Причастили“. — Ну, стало быть, и все въ порядкѣ: ждетъ смерти, да и только. Я не вытерпѣлъ и вышелъ....

— А то, помнится, завернулъ я однажды въ больницу села Красногорья, къ знакомому мнѣ фельдшеру Капитону, страстному охотнику.

Больница эта состояла изъ бывшаго господскаго флигеля; устроила ее сама помѣщица, то есть, велѣла прибить надъ дверью голубую доску съ надписью бѣлыми буквами: „Красногорская больница“, и сама вручила Капитону красивый альбомъ для записыванія именъ больныхъ. На первомъ листкѣ этого альбома одинъ изъ лизоблюдовъ и прислужниковъ благодѣтельной помѣщицы начерталъ слѣдующіе стихи:

„Dans ces beaux lieux, où règne l'allégresse,

„Ce temple fut ouvert par la Beauté;

„De vos seigneurs admirez la tendresse.

„Bons habitants de Krasnogorié!“

Другой господинъ внизу приписалъ:

„Et moi aussi J'aime la nature!“

„Jean Kobylanikoff“.

Фельдшеръ купилъ на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народъ Божій. Кромѣ его, при больницѣ состояло два человѣка: подверженный сумасшествію рѣщикъ Павелъ и сухорукая баба Мелиеитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготавливали лекарства, сушили и настаивали травы; они-же укрощали горячечныхъ больныхъ. Сумасшедшій рѣщикъ былъ на видъ угрюмъ и скупъ на слова; по ночамъ пѣлъ пѣсню „о прекрасной Венерѣ“, и къ каждому проѣзжему подходилъ съ просьбой позволить ему жениться на какой-то дѣвкѣ Маланѣ, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшекъ. Вотъ, сижу я однажды у фельдшера Копитона. Начали мы было разговаривать о послѣдней нашей охотѣ, какъ вдругъ на дворъ вѣхала телѣга, запряженная необыкновенно-толстой сивой лошадыю, какія только бываютъ у мельниковъ. Въ телѣгѣ сидѣлъ плотный мужикъ въ новомъ армякѣ, съ разноцвѣтной бородой. — „А, Василій Дмитричъ, закричалъ изъ окна Капитофъ: „милости просимъ.... Любовшинскій мельникъ“, шепнулъ онъ мнѣ. Мужикъ, побряхтывая, слѣзъ съ телѣги, вошелъ въ фельдшерову комнату, искалъ глазами образа и перекрестился. — „Ну, что, Василій

Дмитричь, что новенькаго?... Да вы должно быть не здоровы: лицо у васъ нехорошо.“ — „Да, Капитонъ Тимоѣичъ, не ладно что-то.“ — „Что съ вами?“ — „Да вотъ что, Капитонъ Тимоѣичъ, недавно купилъ я въ городѣ жернова; ну, привезъ ихъ домой, да какъ сталъ ихъ съ телѣги-то выкладывать, понатужился знать, что-ли, въ черевѣ-то у меня такъ и йкнуло, словно оборвалось что.... да вотъ съ тѣхъ поръ все и не здоровится. Сегодня даже больно неладно.“ — „Гмъ“, промолвилъ Капитонъ и понюхалъ табаку: „значить, грыжа. А давно съ вами это приключилось?“ — „Да десятый денекъ пошелъ.“ — „Десятый?“ (Фельдшеръ потянулъ въ себя сквозъ зубы воздухъ и головой покачалъ.) „Позволь-ка себя пощупать.“ — „Ну, Василій Дмитричь,“ проговорилъ онъ наконецъ: „жалъ мнѣ тебя сердечнаго, а, вѣдь, дѣло-то твое неладно; ты боленъ не на шутку, оставайся-ка здѣсь у меня; я съ своей стороны все стараніе приложу, а впрочемъ ни за что не ручаюсь.“ — „Будто такъ худо?“ пробормоталъ изумленной мельникъ. — „Да, Василій Дмитричь, худо; пришли-бы вы ко мнѣ деньками двумя пораньше, — и ничего-бы, какъ рукой-бы снялъ; а теперь у васъ воспаление, вотъ что; того и гляди, антоновъ-

огонь сдѣляется.“ — „Да быть не можетъ, Капитонъ Тимоѳеичъ.“ — „Ужь я вамъ говорю.“ — „Да какъ-же это?“ — (Фельдшеръ плечами пожалъ.) — „И умирать мнѣ изъ-за этакой дряни?“ — „Этого я не говорю.... а только оставайтесь здѣсь.“ Мужикъ подумалъ, подумалъ, посмотрѣлъ на полъ, потомъ на насъ взглянулъ, почесалъ въ затылкѣ, да за шапку. „Куда-же вы, Василій Дмитричъ?“ — „Куда? вѣстимо куда, — домой, коли такъ плохо. Распорядиться слѣдуетъ, коли такъ.“ — „Да вы себѣ бѣды надѣлаете, Василій Дмитричъ, помилуйте, я и такъ удивляюсь, какъ вы доѣхали: останетесь.“ — „Нѣтъ, братъ, Капитонъ Тимоѳеичъ, ужь умирать, такъ дома умирать; а то что-жь я здѣсь умру, — у меня дома и Господь знаетъ что приключится.“ — „Еще неизвѣстно, Василій Дмитричъ, какъ дѣло-то пойдетъ.... Конечно, опасно, очень опасно, спору нѣтъ.... да отъ того-то и слѣдуетъ вамъ остаться.“ (Мужикъ головой покачалъ.) — „Нѣтъ, Капитонъ Тимоѳеичъ, не останусь.... а лекарьство развѣ пропишите.“ — „Лекарство одно не поможетъ.“ — „Не останусь, говорятъ.“ — „Ну, какъ хочешь.... чуръ потомъ не пенять.“

Фельдшеръ вырвалъ страничку изъ альбома

и, прописавъ рецептъ, посовѣтовалъ что еще дѣлать. Мужикъ взялъ бумажку, далъ Капитону полтинникъ, вышелъ изъ комнаты и сѣлъ на телѣгу. — „Ну, прощайте, Капитонъ Тимоѳеичъ, не поминайте лихомъ, да сиротокъ не забывайте, коли что...“ — „Эй, останься, Василій!“ — Мужикъ только головой тряхнулъ, ударилъ возжей по лошади и сѣхалъ со двора. Я вышелъ на улицу и поглядѣлъ ему въ слѣдъ. Дорога была грязная и ухабистая; мельникъ ѣхалъ осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадыю и со встрѣчными раскланивался... На четвертый день онъ умеръ.

Вообще, удивительно умпрають Русскіе люди. Много покойниковъ приходитъ мнѣ теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой пріятель, недоучившійся студентъ Авенниръ Сорокоумовъ, прекрасный, благороднѣйшій чловѣкъ! Вижу снова твое чахоточное, зеленоватое лицо, твои жидкіе русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взглядъ, твои длинные члены; слышу твой слабый, ласковый голосъ. Жилъ ты у великороссійскаго помѣщика Гура Крупаникова, училъ его дѣтей Фофу и Зёсю русской грамотѣ, географіи и исторіи, терпѣливо сносилъ тяжелыя шутки самого Гура, грубыя

любезности дворецкаго, пошлыя шалости злыхъ мальчишекъ; не безъ горькой улыбки, но и безъ ропота исполнялъ прихотливыя требованія скупающей барыни; за то, бывало, какъ ты отдыхалъ, какъ ты блаженствовалъ вечеромъ, послѣ ужина, когда, отдѣлавшись наконецъ отъ всѣхъ обязанностей и занятій, ты садился передъ окномъ, задумчиво закуривалъ трубку, или съ жадностью перелистывалъ изуродованный и засаленный номеръ толстаго журнала, занесенный изъ города землемѣромъ, такимъ-же бездомнымъ горемыкой, какъ ты! Какъ нравились тебѣ тогда всякіе стихи и всякія повѣсти, какъ легко наворачивались слѣзы на твои глаза, съ какимъ удовольствіемъ ты смѣялся, какою искреннею любовью къ людямъ, какимъ благороднымъ сочувствіемъ ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа! Должно сказать правду: не отличался ты излишнимъ остроуміемъ; природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежаніемъ; въ университетѣ считался ты однимъ изъ самыхъ плохихъ студентовъ; на лекціяхъ ты спалъ, на экзаменахъ — молчалъ торжественно; но у кого сіяли радостью глаза, у кого захватывало дыханіе отъ успѣха, отъ удачи товарища? — У Авенира... Кто слѣпо вѣровалъ въ вы-

какое призваніе друзей своихъ, кто превозносили
 ихъ съ гордостью защищалъ ихъ съ ожесточе-
 ніемъ? Кто не зналъ ни зависти, ни самолюбія,
 кто безкорыстно жертвовалъ собою, кто охотно
 подчинялся людямъ не стоившимъ подметокъ
 его?... Все ты, все ты, нашъ добрый Авениръ!
 Помню: съ сокрушеннымъ сердцемъ раставался
 ты съ товарищами, уѣзжая на „кондицію“; злая
 предчувствія тебя мучили, и точно: въ деревнѣ
 плохо тебѣ пришлось; въ деревнѣ тебѣ некого
 было благоговѣнно выслушивать, некому удив-
 ляться, некого любить... И степняки, и образо-
 ванные помѣщики обходились съ тобой, какъ съ
 учителемъ: одни — грубо, другіе — небрежно.
 Притомъ-же ты и фигурой не бралъ; робѣлъ
 краснѣлъ, потѣлъ, заикался... Даже здоровья
 твоего не поправилъ сельскій воздухъ: истаялъ
 ты какъ свѣчка, бѣднякъ! Правда: комнатка
 твоя выходила въ садъ; черемухи, яблони, липы
 сыпали тебѣ на столъ, на чернильницу, на книги
 свои легкіе цвѣтки; на стѣнѣ висѣла голубая
 шелковая подушечка для часовъ, подаренная
 тебѣ въ прощальный часъ добренькой, чувстви-
 тельной нѣмочкой, гувернанткой съ бѣлокурыми
 кудрями и синими глазками; иногда заѣзжалъ
 къ тебѣ старый другъ изъ Москвы и приводилъ

тебя въ восторгъ чужими или даже своими стихами; но одиночество, но невыносимое рабство учительскаго званія, невозможность освобожденія, но безконечныя осени и зимы, но болѣзнь неотступная... Бѣдный, бѣдный Авениръ!

Я посѣтилъ Сорокоумова не задолго до его смерти. Онъ уже почти ходить не могъ. Помѣщикъ Гуръ Крупаниковъ не выгонялъ его изъ дому, но жалованье пересталъ ему выдавать и другаго учителя нанялъ Зѣзъ... Фофу отдали въ кадетскій корпусъ. Авениръ сидѣлъ возлѣ окна въ старыхъ вольтеровскихъ креслахъ. Погода была чудесная. Свѣтлое осеннее небо весело синѣло надъ темно-бурою градой обнаженныхъ листвъ; кой-гдѣ шевелились и лепетали на нихъ послѣдніе, яркзолотые листья. Прохваченная морозомъ земля потѣла и оттаявала на солнцѣ; его косые, румяные лучи били вскользь по блѣдной травѣ; въ воздухѣ чудился легкій трескъ; ясно и внятно звучали въ саду голоса работниковъ. На Авенирѣ былъ ветхій бухарскій калатъ; зеленый шейный платокъ бросалъ мертвенный оттѣнокъ на его страшно исхудавшее лицо. Онъ весьма мнѣ обрадовался, протянулъ руку, заговорилъ и закашлился. Я далъ ему успокоиться, подсѣлъ къ нему... На колѣ-

няхъ у Авенира лежала тетрадка стихотвореній Кольцова, тщательно переписанныхъ; онъ съ улыбкой постучалъ по ней рукой. „Вотъ поэтъ“, пролепеталъ онъ, съ усиліемъ сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышнымъ голосомъ:

„Аль у сокола
Крылья связаны?
Аль пути ему
Всѣ заказаны?“

Я остановилъ его: лекарь запретилъ ему разговаривать. Я зналъ, чѣмъ ему угодить. Сорокоумовъ никогда, какъ говорится, не „слѣдилъ“, за наукой, но любопытствовалъ знать, что, дескать, до чего дошли теперь великіе умы? Бывало, поймаетъ товарища гдѣ-нибудь въ углу и начнетъ его спрашивать: слушаетъ, удивляется, вѣрить ему на слово, и ужъ такъ потомъ за нимъ и повторяетъ. Особенно нѣмецкая философія его сильно занимала. — Я началъ толковать ему о Гегелѣ (дѣла давно минувшихъ дней, какъ видите). Авениръ качалъ утвердительно головой, поднималъ брови, улыбался, шепталъ: „понимаю, понимаю!... а! хорошо, хорошо!“... Дѣтская любознательность умирающаго, безпріютнаго и заброшеннаго бѣдняка,

признаюсь, до слезъ меня трогала. Должно замѣтить, что Авениръ, въ противность всѣмъ чахоточнымъ, нисколько не обманывалъ себя насчетъ своей болѣзни... и что-жь — онъ не вздыхалъ, не сокрушался, даже ни разу не намекнулъ на свое положеніе...

Собравшись съ силами, заговорилъ онъ о Москвѣ, о товарищахъ, Пушкинѣ, о театрѣ, о русской литературѣ; вспоминалъ наши пирушки, жаркія пренія нашего кружка, съ сожалѣніемъ произнесъ имена двухъ-трехъ умершихъ пріятелей...

— Помнишь Дашу? прибавилъ онъ наконецъ: — вотъ золотая была душа! вотъ было сердце! и какъ она меня любила!... Что съ ней теперь? — Чай, изсохла, исчахла, бѣдняжка?

Я не посмѣлъ разочаровать больного, — и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ ему было знать, что Даша его теперь поперегъ себя толще, водится съ купцами — братьями Кондачковыми, бѣлится и румянится, пищитъ и бранится.

Однако, подумалъ я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя-ли его вытащить отсюда? Можетъ быть еще есть возможность его вылечить... Но Авениръ не далъ мнѣ докончить мое предположеніе.

— Нѣтъ, братъ, спасибо, промолвилъ онъ:
— все равно, гдѣ умереть. Я, вѣдь, до зимы
не доживу... Къ-чему понапрасну людей безпо-
коить. Я къ здѣшнему дому привыкъ. Правда,
господа-то здѣшніе...

— Злые, что-ли? подхватилъ я.

— Нѣтъ, не злые: деревяшки какія-то. А
впрочемъ, я не могу на нихъ пожаловаться.
Сосѣди есть: у помѣщика Касаткина дочь, обра-
зованная, любезная, добрѣйшая дѣвица... негор-
дая...

Сорокоумовъ опять раскашлялся.

— Все-бы ничего, продолжалъ онъ, отдохнув-
ши: — кабы трубочку выкурить позволили...
А ужъ я такъ не умру, выкурю трубочку! при-
бавилъ онъ, лукаво подмигнувъ глазомъ. — Слава
Богу, пожилъ довольно; съ хорошими людьми
знался...

— Да ты-бы хоть къ роднымъ написалъ, пе-
ребилъ я его.

— Что къ роднымъ писать? Помочь они
мнѣ не помогутъ; умру — узнаютъ. Да что
объ этомъ говорить... Расскажи-ка мнѣ лучше,
что ты за границей видѣлъ.

Я началъ рассказывать. Онъ такъ и впился
въ меня. Къ вечеру я уѣхалъ, а дней черезъ

десять получилъ слѣдующее письмо отъ г. Кру-
пняникова.

„Симъ честь имѣю извѣстить васъ, милости-
вый государь мой, что пріятель вашъ, у меня въ
домѣ проживавшій студентъ, г. Авениръ Соро-
коумовъ, четвертаго дня въ два часа по полудни
скончался, и сегодня на мой счетъ въ приход-
ской моей церкви похороненъ. Просилъ онъ
меня переслать къ вамъ приложенныя при семь
книги и тетради. Денегъ у него оказалось
22 рубли съ полтиной, которые, вмѣстѣ съ про-
чими его вещами, доставятся по принадлежности
родственникамъ. Скончался вашъ другъ въ
совершенной памяти и можно сказать съ тако-
вою-же безчувственностію, не изъясняя никакихъ
знаковъ сожалѣнія, даже когда мы цѣлымъ се-
мействомъ съ нимъ прощались. Супруга моя,
Клеопатра Александровна, вамъ кланяется.
Смерть вашего пріятеля не могла не подѣйстви-
вать на ея нервы; что-же до меня касается,
то я, слава Богу, здоровъ и честь имѣю пребыть
Вашимъ покорнѣйшимъ слугою
Г. Крупняниковъ.“

Много другихъ еще примѣровъ въ голову при-
ходить, — да всего не перескажешь. Ограничусь
однимъ.

Старушка помѣщица при мнѣ умирала. Священникъ сталъ читать надъ ней отходную, да вдругъ замѣтилъ, что больная-то дѣйствительно отходить и поскорѣе подалъ ей крестъ. Помѣщица съ неудовольствіемъ отодвинулась. „Буда спѣшишь, батюшка,“ проговорила она коснѣющимъ языкомъ: „успѣешь...“ Она приложилась, засунула было руку подъ подушку и испустила послѣдній вздохъ. Подъ подушкой лежалъ цѣлковый: она хотѣла заплатить священнику за свою собственную отходную...

Да, удивительно умирають русскіе люди!

П Ъ В Ц Ы.

Небольшое селъцо Колотовка, принадлежавшее нѣкогда помѣщицѣ, за лихой и бойкій нравъ прозванной въ околотьѣ Стрыганихой (настоящее имя ея осталось неизвѣстнымъ), а нынѣ состоящее за какимъ-то петербургскимъ нѣмцемъ, лежитъ на скатѣ голаго холма, съ верху до низу разсѣченнаго страшнымъ оврагомъ, который, зіяя какъ бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой срединѣ улицы, и пуще рѣки, — черезъ рѣку можно по крайней мѣрѣ навести мость, — раздѣляетъ обѣ стороны бѣдной деревушки. Нѣсколько тощихъ ракъ боязливо спускаются по песчанымъ его бокамъ; на самомъ днѣ, сухомъ и желтомъ, какъ мѣдъ, лежатъ огромныя плиты глинистаго камня. Невеселый видъ, нечего сказать, — а между тѣмъ всѣмъ

окрестнымъ жителямъ хорошо извѣстна дорога въ Колотовку: они ѣздятъ туда охотно и часто.

У самой головы оврага, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ той точки, гдѣ онъ начинается узкой трещиной, стоитъ небольшая четвероугольная избушка, стоитъ одна, отдѣльно отъ другихъ. Она крыта соломой, съ трубой; одно окно, словно зоркій глазъ, обращено къ оврагу и въ зимніе вечера, освѣщенное изнутри, далеко виднѣется въ тускломъ туманѣ мороза и не одному проѣзжему мужичку мерцаетъ путеводной звѣздой. Надъ дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка — кабакъ, прозванный „Притыннымъ*“). Въ этомъ кабакѣ, вино продается, вѣроятно, недешевле положенной цѣны, но посѣщается онъ гораздо прилежнѣе, чѣмъ всѣ окрестныя заведенія такого-же рода. Причиной этому цаловальникъ Николай Иванычъ.

Николай Иванычъ — нѣкогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь-же необычайно толстый, уже посѣдѣвшій мужчина съ заплывшимъ лицомъ, хитро-добродушными глазками и жирнымъ лбомъ, перетянутымъ морщинами, словно нитками, — уже болѣе двадцати лѣтъ прожи-

*) Притыннымъ называется всякое мѣсто, куда охотно сходятся, всякое пріютное мѣсто.

ваеѣ въ Колотовкѣ. Николай Иванычъ чело-
вѣкъ расторопный и смѣтливый, какъ больша-
я часть цаловальниковъ, не отличаясь ни особен-
ной любезностью, ни говорливостью, онъ обла-
даетъ даромъ привлекать и удерживать у себя
гостей, которымъ какъ-то весело сидѣть передъ
его стойкой, подъ спокойнымъ и привѣтливымъ,
хотя зоркимъ взглядомъ флегматическаго хозяина.
У него много здраваго смысла; ему хорошо зна-
комъ и помѣщичій бытъ, и крестьянскій, и мѣ-
щанскій; въ трудныхъ случаяхъ онъ могъ-бы
подать неглупый совѣтъ, но, какъ человѣкъ
осторожный и эгоистъ, предпочитаетъ онъ оста-
ваться въ сторонѣ, и развѣ только отдаленными,
словно безъ всякаго намѣренія произнесенными
намёками, наводитъ своихъ посѣтителей — и то
любимыхъ имъ посѣтителей — на путь истины.
Онъ знаетъ толкъ во всемъ, что важно или за-
нимательно для русскаго человѣка: въ лошадяхъ
и въ скотинѣ, въ лѣсѣ, въ кирпичахъ, посудѣ,
въ красномъ товарѣ и въ кожевенномъ, въ пѣс-
няхъ и въ пляскахъ. Когда у него нѣтъ посѣ-
щенія, онъ обыкновенно сидитъ, какъ мѣшокъ,
на землѣ передъ дверью своей избы, подвернувъ
подъ себя свои тонкія ножки, и перекидывается
ласковыми словцами со всѣми прохожими. Много

видалъ онъ на своемъ вѣку, пережилъ не одинъ десятокъ мелкихъ дворянъ, заѣзжавшихъ къ нему за „очищеннымъ“, знаетъ все, что дѣлается на сто верстъ кругомъ, и никогда не пробалтывается, не показываетъ даже виду, что ему и то извѣстно, чего не подозреваетъ самый проницательный становой. Знай-себѣ помалчиваетъ, да посмѣивается, да стаканчиками пошевеливаетъ. Его сосѣди уважаютъ; штатскій генералъ Щерепетенко, первый по чину владѣлецъ въ уѣздѣ, всякій разъ снисходительно ему кланяется, когда проѣзжаетъ мимо его домика. Николай Ивановичъ человѣкъ со вліяніемъ: онъ извѣстнаго конокрада заставилъ возвратить лошадь, которую тотъ свелъ со двора у одного изъ его знакомыхъ, образумилъ мужиковъ сосѣдней деревни, не хотѣвшихъ принять новаго управляющаго и т. д. Впрочемъ, не должно думать, чтобы онъ это дѣлалъ изъ любви къ справедливости, изъ усердія къ ближнимъ — нѣтъ! онъ просто старается предупредить все то, что можетъ какъ-нибудь нарушить его спокойствіе. Николай Ивановичъ женатъ, и дѣти у него есть. Жена его, бойкая востроносая и быстроглазая мѣщанка, въ послѣднее время тоже нѣсколько отяжелѣла тѣломъ, подобно своему мужу. Онъ во

всемъ на нее полагается, и деньги у ней подъ ключемъ. Пьяницы-крикуны ее боятся; она ихъ не любить: выгоды отъ нихъ мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорѣе по сердцу. Дѣти Николая Ивановича еще малы; первыя всѣ пермерли, но оставшіяся пошли въ родителей: весело глядѣть на умныя личики этихъ здоровыхъ дѣтей.

Былъ невыносимо жаркій іюльскій день, когда я, медленно передвигая ноги, вмѣстѣ съ моей собакой подымался вдоль Колотовскаго оврага въ направленіи Притыннаго Кабачка. Солнце разгорѣлось на небѣ, какъ-бы свирѣпѣя, парило и пекло неотступно; воздухъ былъ весь пропитанъ душной пылью. Покрытые лоскомъ грачи и вороны, разинувъ носы, жалобно глядѣли на проходящихъ, словно прося ихъ участія; одни воробьи не горевали и, распуша перушки, еще яростнѣе прежняго чирикали и дрались по заборамъ, дружно взлетали съ пыльной дороги, сѣрыми тучками носились надъ зелеными коноплянниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко; въ Колотовкѣ, какъ и во многихъ другихъ степныхъ деревняхъ, мужики, за немѣнъемъ ключей и колодцовъ, пьютъ какую-то жидкую грязцу изъ пруда!... Но кто-же назо-

ветъ это отвратительное пойло водою? Я хотѣлъ спросить у Николая Ивановича стаканъ пива или квасу.

Признаться сказать, ни въ какое время года Колотовка не представляетъ отраднаго зрѣлища; но особенно грустное чувство возбуждаетъ она, когда іюльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляетъ и бурья, полуразметанные крыши домовъ, и этотъ глубокий оврагъ, и выжженный, запыленный выгонъ, по которому безнадежно скитаются худыя, длинноногія курицы, и сѣрый осиновый срубъ съ дырами вмѣсто оконъ, остатокъ прежняго барскаго дома, кругомъ заросшій крапивой, бурьяномъ и полынью, и покрытый гусинымъ пухомъ, черный, словно раскаленный прудъ, съ каймой изъ полу-высохшей грязи и сбитой на бокъ плотиной, возлѣ которой, на мелко истоптанной, пепеловидной землѣ, овцы, едва дыша и чихая отъ жара, печально тѣсняются другъ къ другу и съ унылымъ терпѣньемъ наклоняютъ головы, какъ можно ниже, какъ будто выжидая, когда-жъ пройдетъ наконецъ этотъ невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я къ жилищу Николая Ивановича, возбуждая, какъ водится, въ ребятишкахъ изумленіе, доходившее до напря-

женно-безмысленнаго созерцанія, въ собакахъ — негодованіе, выражавшееся лаемъ, до того хриплымъ и злобнымъ, что, казалось, у нихъ отрывалась вся внутренность, и онѣ сами потомъ кашляли и задыхались, — какъ вдругъ на порогѣ кабачка показался мужчина высокаго роста, безъ шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубымъ кушачкомъ. На видъ онъ казался дворовымъ; густые сѣдые волосы въ безпорядкѣ вздымались надъ сухимъ и сморщеннымъ его лицомъ. Онъ звалъ кого-то, торопливо дѣйствуя руками, которыя очевидно размахивались гораздо далѣе, чѣмъ онъ самъ желать. Замѣтно было, что онъ уже успѣлъ выпить.

— Иди, иди-же! залепеталъ онъ, съ усиліемъ поднимая густыя брови: — иди, Моргачъ, иди! экой ты, братецъ, ползешь, право слово. Это не хорошо, братецъ. Тутъ ждутъ тебя, а ты вотъ ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду, раздался дребезжащій голосъ, и изъ-за избы на-право показался человекъ низенькій, толстый и хромой. На немъ была довольно опрятная, суконная чуйка, вдѣтая на одинъ рукавъ; высокая, остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выраженіе лукавое

и насмѣшливое. Его маленькіе, желтые глазки такъ и бѣгали, съ тонкихъ губъ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а носъ, острый и длинный, нахально выдвигался впередъ какъ руль. — Иду, любезный, продолжалъ онъ, ковыляя въ направленіи питейнаго заведенья: — зачѣмъ ты меня зовешь?... Кто меня ждетъ?

— Зачѣмъ я тебя зову? сказалъ съ укоризной человѣкъ во фризовой шинели. — Экой ты, моргачъ чудной, братецъ: тебя зовутъ въ кабакъ, а ты еще спрашиваешь, зачѣмъ? А ждутъ тебя все люди добрые: Турокъ-Яшка, да Дикій Баринъ, да рядчикъ съ Жиздры. Яшка-то съ рядчикомъ объ закладъ побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолѣетъ, лучше споетъ, то-есть... понимаешь?

— Яшка пѣть будетъ? съ живостью проговорилъ человѣкъ, прозванный Моргачемъ. — И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру, съ достоинствомъ отвѣчалъ Обалдуй: — а ты брешешь. Стало быть будетъ пѣть, коли объ закладъ побился, божья коровка ты такая, плутъ ты такой, Моргачъ.

— Ну, пойдѣмъ, простота, возразилъ Моргачъ.

— Ну, поцалуй-же меня, по крайней мѣрѣ,

душа ты моя, залепеталъ Обалдуй, широко раскрывъ объятія.

— Вишь Езопъ изнѣженный, презрительно отвѣтилъ Моргачъ, отталкивая его локтемъ, и оба, нагнувшись, вошли въ низенькую дверь.

Слышанный мною разговоръ сильно возбудилъ мое любопытство. Уже не разъ доходили до меня слухи объ Яшкѣ-Туркѣ, какъ объ лучшемъ пѣвцѣ въ околоткѣ, и вдругъ мнѣ представился случай услышать его въ состязаніи съ другимъ мастеромъ. Я удвоилъ шаги и вошелъ въ заведеніе.

Вѣроятно не многіе изъ моихъ читателей имѣли случай заглядывать въ деревенскіе кабаки; но нашъ братъ, охотникъ, куда не заходить! Устройство ихъ чрезвычайно просто. Они состоятъ обыкновенно изъ темныхъ сѣней и бѣлой избы, раздѣленной на двое перегородкой, за которую никто изъ посѣтителей не имѣетъ права заходить. Въ этой перегородкѣ, надъ широкимъ дубовымъ столомъ, продѣлано большое, продолжное отверстіе. На этомъ столѣ или стойкѣ продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядкомъ стоятъ на полкахъ, прямо противъ отверстія. Въ передней части избы, пре-

доставленной посѣтителямъ, находятся лавки, двѣ, три пустыя бочки, угловой столъ. Деревенскіе кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на ихъ бревенчатыхъ стѣнахъ какихъ-нибудь ярко раскрашенныхъ лубочныхъ картинъ, безъ которыхъ рѣдкая изба обходится.

Когда я вошелъ въ Притынный Кабачокъ, въ немъ уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, какъ водится, почти во всю ширину отверстія, стоялъ Николай Иванычъ, въ пестрой ситцевой рубахѣ, и, съ лѣнивой усмѣшкой на пухлыхъ щекахъ, наливалъ своей полной бѣлой рукой два стакана вина вошедшимъ пріятелямъ, Моргачу и Обалдую; а за нимъ въ углу, возлѣ окна, виднѣлась его востроглазая жена. По серединѣ комнаты стоялъ Яшка-Турокъ, худой и стройный человѣкъ лѣтъ двадцати трехъ, одѣтый въ долгополый нанковый кафтанъ голубого цвѣта. Онъ смотрѣлъ удалымъ фабричнымъ малымъ и, казалось, не могъ похвастаться отличнымъ здоровьемъ. Его впалыя щеки, большіе, безпокойные сѣрые глаза, прямой носъ съ тонкими, подвижными ноздрами, бѣлый покатый лобъ съ закинутыми назадъ свѣтло-русыми ку-

дрями, крупныя, но красивыя, выразительныя губы — все его лицо изобличало человѣка впечатлительнаго и страстнаго. Онъ былъ въ большомъ волненіи: мигалъ глазами, неровно дышалъ, руки его дрожали какъ въ лихорадкѣ, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая такъ знакома всѣмъ людямъ, говорящимъ или поющимъ передъ собраніемъ. Подлѣ него стоялъ мужчина лѣтъ сорока, широкоплечій, широкоскулый, съ низкимъ лбомъ, узкими татарскими глазами, короткимъ и плоскимъ носомъ, четвероугольнымъ подбородкомъ и черными, блестящими волосами, жесткими какъ щетина. Выраженіе его смуглаго съ свинцовымъ отливомъ лица, особенно его блѣдныхъ губъ можно было бы назвать почти свирѣпымъ, еслибъ онъ не былъ такъ спокойно-задумчивъ. Онъ почти не шевелился и только медленно поглядывалъ кругомъ, какъ быкъ изъ подъ ярма. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то поношенный сюртукъ съ мѣдными, гладкими пуговицами; старый черный шелковый платокъ окутывалъ его огромную шею. Звали его Дикимъ Баринномъ. Прямо противъ него, на лавкѣ подъ образами, сидѣлъ соперникъ Яшки — рядчикъ изъ Жиздры: это былъ не высокаго роста, плот-

ный мужчина лѣтъ тридцати, рябой и курчавый, съ тупымъ вздернутымъ носомъ, живыми карими глазками и жидкой бородой. Онъ бойко поглядывалъ кругомъ, подсунувъ подъ себя руки, безопасно болталъ и постукивалъ ногами, обутыми въ щегольскіе сапоги съ оторочкой. На немъ былъ новый, тонкій армякъ изъ сѣраго сукна съ илисовымъ воротникомъ, отъ котораго рѣзко отдѣлялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокругъ горла. Въ противоположномъ углу, направо отъ двери, сидѣлъ за столомъ какой-то мужичокъ въ сѣровой, изношенной свитѣ, съ огромной дырой на плечѣ. Солнечный свѣтъ струился жидкимъ желтоватымъ потокомъ сквозь запыленные стекла двухъ небольшихъ окошекъ и, казалось, не могъ побѣдить обычной темноты комнаты; всѣ предметы были освѣщены скупо, словно пятнами. За то въ ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня съ плечъ, какъ только я переступилъ порогъ.

Мой приходъ — я это могъ замѣтить — сначала нѣсколько смутилъ гостей Николая Ивановича; но, увидѣвъ, что онъ поклонился мнѣ, какъ знакомому человѣку, они успокоились и уже болѣе не обращали на меня вниманія. Я

спросилъ себѣ пива и сѣлъ въ уголокъ, возлѣ мужичка въ изорванной свитѣ.

— Ну, что-жь! возопилъ вдругъ Обалдуй, выпивъ духомъ стаканъ вина и сопровождая свое восклицаніе тѣми странными размахиваніями рукъ, безъ которыхъ онъ, по видимому, не произносилъ ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать такъ начинать. А? Яша?...

— Начинать, начинать, одобрительно подхватилъ Николай Ивановичъ.

— Начнемъ, пожалуй, хлоднокровно и съ самоувѣренной улыбочкой примолвилъ рядчикъ: — я готовъ.

— И я готовъ, съ волненіемъ произнесъ Яковъ.

— Ну, начинайте, ребята, начинайте, пропичалъ Моргачъ.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желаніе, никто не начиналъ; рядчикъ даже не приподнялся съ лавки, — всѣ словно ждали чего-то.

— Начинай! угрюмо и рѣзко проговорилъ Дикій Баринъ.

Яковъ вздорognулъ. Рядчикъ всталъ, осу-нулъ кушакъ и откашлялся.

— А кому начать? спросилъ онъ слегка из-

мѣнившимся голосомъ у Дикаго Барина, который все продолжалъ стоять неподвижно по срединѣ комнаты, широко разставивъ толстыя ноги и почти по локоть засунувъ могучія руки въ карманы шароваръ.

— Тебѣ, тебѣ, рядчикъ, залепеталъ Обалдуй:
— тебѣ братецъ.

Дикій Баринъ посмотрѣлъ на него изподлобья. Обалдуй слаба пискнулъ, замаялся, глянулъ куда-то въ потолокъ, повелъ плечами и умолекъ.

— Жеребій кинуть, съ разстановкой произнесъ Дикій Баринъ: — да осьмуху на стойку.

Николай Ивановичъ нагнулся, досталъ, кряхтя, съ полу осьмуху и поставилъ ее на столъ.

Дикій Баринъ глянулъ на Якова и промолвилъ: „ну!“

Яковъ зарылся у себя въ карманахъ, досталъ грошъ и намѣтилъ его зубомъ. Рядчикъ вынулъ изъ-подъ полы кафтана новый кожаный кошелекъ, не торопясь распуталъ шнурокъ и, насыпавъ множество мелочи на руку, выбралъ новенькій грошъ. Обалдуй подставилъ свой за-тасканный картузь съ обломаннымъ и отставшимъ козырькомъ; Яковъ кинулъ въ него свой грошъ, рядчикъ — свой.

— Тебѣ выбирать, проговорилъ Дикій Баринъ, обратившись къ Моргачу.

Моргачъ самодовольно усмѣхнулся, взялъ картузь въ обѣ руки и началъ его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь другъ о друга. Я внимательно поглядѣлъ кругомъ: всѣ лица выражали напряженное ожиданіе; самъ Дикій Баринъ прищурился; мой сосѣдъ, мужичокъ въ изорванной свиткѣ, и тотъ даже съ любопытствомъ вытянулъ шею. Моргачъ запустилъ руку въ картузь и досталъ рядчиковъ грошъ: всѣ вздохнули. Яковъ покраснѣлъ, а рядчикъ провель рукой по волосамъ:

— Вѣдь, я-же говорилъ, что тебѣ, воскликнулъ Обалдуй: — я, вѣдь, говорилъ.

— Ну, ну, не „цыркай“*)! презрительно замѣтилъ Дикій Баринъ. — Начинай, продолжалъ онъ, качнувъ головой на рядчика.

— Какую-же мнѣ пѣсню пѣть? спросилъ рядчикъ, приходя въ волненіе.

— Какую хочешь, отвѣчалъ Моргачъ. — Какую вздумается, ту и пой.

*) Цыркаютъ ястреба, когда они чего-нибудь испугаются.

— Конечно, какую хочешь, прибавилъ Николай Ивановичъ, медленно складывая руки на груди.
— Въ этомъ тебѣ указу нѣту. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы ужь потомъ рѣшимъ по совѣсти.

— Разумѣется, по совѣсти, подхватилъ Обалдуи и полизалъ край пустаго стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, заговорилъ рядчикъ, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! рѣшилъ Дикій Баринъ и потушился.

Рядчикъ подумалъ немного, встряхнулъ головой и выступилъ впередъ. Яковъ впился въ него глазами...

Но прежде чѣмъ я приступлю къ описанію самого состязанія, считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о каждомъ изъ дѣйствующихъ лицъ моего разсказа. Жизнь нѣкоторыхъ изъ нихъ была уже мнѣ извѣстна, когда я встрѣтился съ ними въ Притынномъ Кабачкѣ; о другихъ я собралъ свѣдѣнія въ послѣдствіи.

Начнемъ съ Обалдуи. Настоящее имя этого человѣка было Евграфъ Ивановъ; но никто во всемъ околоткѣ не звалъ его иначе, какъ Обал-

дуюмъ, и онъ самъ величалъ себя тѣмъ-же прозвищемъ: такъ хорошо оно къ нему пристало. И дѣйствительно, оно какъ нельзя лучше шло къ его незначительнымъ, вѣчно встревоженнымъ чертамъ. Это былъ загулявшій, холостой дворовый человѣкъ, отъ котораго собственные господа давнымъ давно отступились и который, не имѣя никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находилъ однако средство каждый день покутить на чужой счетъ. У него было множество знакомыхъ, которые поили его виномъ и чаемъ, сами не зная зачѣмъ, потому что онъ не только не былъ въ обществѣ забавень, но даже, напротивъ, надоѣдалъ всѣмъ своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными тѣло движеніями и безпрестаннымъ неестественнымъ хохотомъ. Онъ не умѣлъ ни пѣть, ни плясать; отроду не сказалъ не только умнаго, даже путнаго слова; все „лотошилъ“ да вралъ что ни попало — прямой Обалдуи! И между тѣмъ ни одной попойки на сорокъ верстъ кругомъ не обходилось безъ того, чтобы его долговязая фигура не вертѣлась тутъ-же между гостямъ, — такъ ужъ къ нему привыкли и переносили его присутствіе, какъ неизбежное зло. Правд ,

обходились съ нимъ презрительно, но укрощать его нелѣпые порывы умѣлъ одинъ Дикій Баринъ.

Моргачъ нисколько не походилъ на Обалдунъ. Къ нему тоже шло названье Моргача, хотя онъ глазами не моргалъ болѣе другихъ людей; извѣстное дѣло: русскій народъ на прозвища мастеръ. Не смотря на мое старанье вывѣдать пообстоятельнѣе прошедшее этого человѣка, въ жизни его остались для меня — и, вѣроятно, для многихъ другихъ — темныя пятна, мѣста, какъ выражаются книжники, покрытыя глубокимъ мракомъ неизвѣстности. Я узналъ только, что онъ нѣкогда былъ кучеромъ у старой бездѣтной барыни, бѣжалъ со ввѣренной ему тройкой лошадей, пропадалъ цѣлый годъ и, должно быть, убѣдившись на дѣлѣ въ невыгодахъ и бѣдствіяхъ бродячей жизни, вернулся самъ, но уже хромымъ, бросился въ ноги своей госпожѣ и, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, примѣрнымъ поведеніемъ загладивъ свое преступленіе, понемногу вошелъ къ ней въ милость, заслужилъ наконецъ ея полную довѣренность, попалъ въ прикащики, а по смерти барыни, неизвѣстно какимъ образомъ, оказался отпущеннымъ на волю, приписался въ мѣщане, началъ снимать у сосѣ-

дей бакши, разбогатѣлъ и живетъ теперь припѣваючи. Это человѣкъ опытный, себѣ-на-умѣ, не злой и не добрый, а болѣе расчетливый; это тертый калачъ, который знаетъ людей и умѣетъ ими пользоваться. Онъ остороженъ и въ тоже время предприимчивъ, какъ лисица; болтливъ, какъ старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякаго другого заставитъ высказаться; впрочемъ, не прикидывается простачкомъ, какъ это дѣлаютъ иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было-бы притворяться: онъ никогда не видывалъ болѣе проницательныхъ и умныхъ глазъ, какъ его крошечныя, лукавыя „глядѣлки“ *). Они никогда не смотрятъ просто — все высматриваютъ да подсматриваютъ. Моргачъ иногда по цѣлымъ недѣлямъ обдумываетъ какое нибудь, по видимому, простое предпріятіе, а то вдругъ рѣшится на отчаянно смѣлое дѣло; кажется тутъ ему и голову сломить... смотришь — все удалось, все какъ по маслу пошло. Онъ счастливъ и вѣрить въ свое счастье, вѣрить примѣтамъ. Онъ вообще очень суевѣренъ. Его не любятъ, потому что ему самому ни до кого

*) Орловцы называютъ глаза глядѣлками, такъ-же какъ ротъ ѣдаломъ.

дѣла нѣтъ, но уважають. Все его семейство состоитъ изъ одного сынишки, въ которомъ онъ души не чаетъ, и который, воспитанный такимъ отцомъ, вѣроятно, пойдетъ далеко. „А Моргаченокъ въ отца вышелъ“, уже и теперь говорятъ о немъ въ полъ-голоса старики, сидя на зава-линкахъ, и толкуя межъ собой въ лѣтніе вечера; и всѣ понимаютъ, что это значить, и уже не прибавляютъ ни слова.

Объ Яковѣ-Туркѣ и рядчикѣ нечего долго распространяться. Яковъ прозванный Туркомъ, потому что дѣйствительно происходилъ отъ плѣнной Турчанки, былъ по душѣ художникъ во всѣхъ смыслахъ этого слова, а по званію — черпальщикъ на бумажной фабрикѣ у купца; что-же касается до рядчика, судьба котораго, признаюсь, мнѣ осталась неизвѣстной, то онъ показался мнѣ изворотливымъ и бойкимъ городскимъ мѣщаниномъ. Но о Дикомъ Баринѣ стоитъ поговорить нѣсколько поподробнѣе.

Первое впечатлѣніе, которое производилъ на васъ видъ этого человѣка, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но не отразимой силы. Сложенъ онъ былъ неуклюже, „сбитнемъ“, какъ говорятъ у насъ, но отъ него такъ и несло несокрушимымъ здоровьемъ, и — странное дѣло

— его медвѣжеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной граціи, происходившей, можетъ быть, отъ совершенно спокойной увѣренности въ собственномъ могуществѣ. Трудно было рѣшить съ перваго разу, къ какому сословію принадлежалъ этотъ Геркулесъ; онъ не походилъ ни на двороваго, ни на мѣщанина, ни на обѣднявшаго подъячаго въ отставкѣ, ни на мелкопомѣстнаго раззорившагося дворянина — псаря и драчуна: онъ былъ ужъ точно самъ по себѣ. Никто не зналъ, откуда онъ свалился къ намъ въ уѣздъ; поговаривали, что происходилъ отъ однодворцевъ и состоялъ будто гдѣ-то прежде на службѣ, но ничего положительнаго объ этомъ не знали; да и отъ кого было и узнавать, — не отъ него же самого: не было чловѣка болѣе молчаливаго и угрюмаго. Также никто не могъ положительно сказать, чѣмъ онъ живетъ; онъ никакимъ ремесломъ не занимался, ни къ кому не ѣздилъ, не знался почти ни съ кѣмъ, а деньги у него водились; правда, не большія, но водились. Велъ онъ себя не то что скромно, — въ немъ вообще не было ничего скромнаго, но тихо; онъ жилъ, слѣдно никого вокругъ себя не замѣчалъ и рѣшительно ни въ комъ не нуждался. Дикій Баринъ (такъ его

прозвали; настоящее-же его имя было Перевлѣ-совъ) пользовался огромнымъ вліяньемъ во всемъ округѣ; ему повиновались тотчасъ и съ охотой, хотя онъ не только не имѣлъ никакого права приказывать кому-бы то ни было, но даже самъ не изъявлялъ ни малѣйшаго притязанія на послушаніе людей, съ которыми случайно сталкивался. Онъ говорилъ — ему покорялись; сила всегда свое возьметъ. Онъ почти не пилъ вина, не знался съ женщинами и страстно любилъ пѣніе. Въ этомъ человѣкѣ было много загадочнаго; казалось, какія-то громадныя силы угрюмо покоились въ немъ, какъ-бы зная, что разъ поднявшись, что сорвавшись разъ на волю, онъ должны разрушить и себя и все до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если въ жизни этого человѣка не случилось уже подобнаго взрыва, если онъ, наученный опытомъ и едва спасшись отъ гибели, неумолимо не держитъ теперь самого себя въ ежовыхъ рукавицахъ. Особенно поражала меня въ немъ смѣсь какой-то врожденной, природной свирѣпости и такого-же врожденнаго благородства, смѣсь, которой я не встрѣчалъ ни въ комъ-другомъ.

Итакъ, рядчикъ выступилъ впередъ, закрылъ до половины глаза и запѣлъ высочайшимъ фаль-

Записки охотника. II. 8

цетомъ. Голосъ у него былъ довольно пріятный и сладкій, хотя нѣсколько си́лный; онъ игралъ вилялъ этимъ голосомъ, какъ юлой, безпрестанно заливался и переливался сверху внизъ и безпрестанно возвращался къ верхнимъ нотамъ, которыя выдерживалъ и вытягивалъ съ особеннымъ стараньемъ, умолкалъ, и потомъ вдругъ подхватывалъ прежній напѣвъ съ какою-то заливчатой, заносистой удалю. Его переходы были иногда довольно смѣлы, иногда довольно забавны: знатому они-бы много доставили удовольствія; нѣмецъ пришелъ-бы отъ нихъ въ негодование. Это былъ русскій *tenore di grazia*, *ténor léger*. Пѣлъ онъ веселую, плясовую пѣсню, слова которой, сколько я могъ уловить сквозь безконечныя украшенія, прибавленныя согласныя и восклицанія, были слѣдующія:

Распашу я молода-молоденька
Землицы маленько;
Я посѣю молода-молоденька .
Цвѣтика аленька.

Онъ пѣлъ; всѣ слушали его съ большимъ вниманьемъ. Онъ видимо чувствовалъ, что имѣетъ дѣло съ людьми свѣдущими, и потому, как говорится, просто лѣзъ изъ кожи. Дѣйствительно, въ нашихъ краяхъ знаютъ толкъ в

пѣніи, и не даромъ село Сергіевское, на большой Орловской дорогѣ, славится во всей Россіи своимъ особенно пріятнымъ и согласнымъ напѣвомъ. Долго рядчикъ пѣлъ, не возбуждая слишкомъ сильнаго сочувствія въ своихъ слушателяхъ: ему недоставало поддержки, хора; наконецъ, при одномъ особенно удачномъ переходѣ, заставившемъ улыбнуться самого Дикаго Барина, Обалдуй не выдержалъ и вскрикнулъ отъ удовольствія. Всѣ вострепнулись. Обалдуй съ Моргачемъ начали въ полголоса подхватывать, подтягивать, покрѣивать: „лихо!... Забирай шельмецъ!... Забирай, вытягивай, аспидъ! Вытягивай еще! Накалывай еще, собака ты эдакая, пѣсь!... Погуби Иродъ твою душу!“ и пр. Николай Ивановичъ изъ-за стойки одобрительно закачалъ головой направо и налево. Обалдуй наконецъ затопалъ, засѣменилъ ногами и задергалъ плечикомъ, — а у Якова глаза такъ и разгорѣлись какъ уголья, и онъ весь дрожалъ, какъ листъ, и беспорядочно улыбался. Одинъ Дикій Баринъ не измѣнился въ лицѣ и попрежнему не двигался съ мѣста; но взглядъ его, устремленный на рядчика, нѣсколько смягчился, хотя выраженіе губъ оставалось презрительнымъ. Ободренный знаками всеобщаго удовольствія, ряд-

чикъ совсѣмъ завихрился, и ужъ такія началъ отдѣлывать завитушки, такъ защелкалъ и забарабанилъ языкомъ, такъ неистово заигралъ горломъ, что, когда, наконецъ, утомленный, блѣдный и облитый горячимъ потомъ, онъ пустилъ, перекинувшись назадъ всѣмъ тѣломъ, послѣдній замирающій возгласъ, — общій, слитный крикъ отвѣтилъ ему неистовымъ взрывомъ. Обалдуй бросился ему на шею и началъ душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирномъ лицѣ Николая Ивановича выступила краска, и онъ словно помолодѣлъ; Яковъ, какъ сумасшедшій, закричалъ: „молодецъ, молодецъ!“ — Даже мой сосѣдъ, мужикъ въ изорванной свитѣ не вытерпѣлъ и, ударивъ кулакомъ по столу, воскликнулъ: „А-га! хорошо, чортъ поberi — хорошо!“ и съ рѣшительностью плюнулъ въ сторону.

— Ну, братъ, потѣшилъ! кричалъ Обалдуй, не выпуская изнеможеннаго рядчика изъ своихъ объятій, — потѣшилъ, нечего сказать! Выигралъ, братъ, выигралъ! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшкѣ до тебя далеко... Ужъ я тебѣ говорю далеко... А ты мнѣ вѣрь. (И онъ снова прижалъ рядчика къ своей груди).

— Да пусти-же его, пусти, неотвязная... съ досадой заговорилъ Моргачъ: — дай ему при-

сѣсть на лавку-то; вишь, онъ усталъ... Экой ты фофанъ, братецъ, право, фофанъ! Что присталь, словно банный листъ.

— Ну, что-жь, пусть садится, а я за его здоровье выпью, сказалъ Обалдуй, и подошелъ къ стойкѣ. — На твой счетъ, братъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ рядчику.

Тотъ кивнулъ головой, сѣлъ на лавку, досталъ изъ шапки полотенце и началъ утирать лицо; а Обалдуй съ торопливой жадностью выпилъ стаканъ и, по привычкѣ горькихъ пьяницъ, крикая, принялъ грустно-озабоченный видъ.

— Хорошо поешь, братъ, хорошо, ласково замѣтилъ Николай Ивановичъ. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробѣй. Посмотримъ кто кого, посмотримъ... А хорошо поетъ рядчикъ, ей Богу, хорошо.

— Очинна хорошо, замѣтила Николай Ивановича жена и съ улыбкой поглядѣла на Якова.

— Хорошо-га! повторилъ въ полголоса мой сосѣдъ.

— А, заворотень-полѣха *)! завопилъ вдругъ

*) Полѣхами называются обитатели южнаго полѣся, длинной лѣсной полосы, начинающейя на границѣ Болховскаго и Жиздринскаго уѣздовъ. Они отличаются многими особенностями въ образѣ жизни, нравахъ и языкѣ.

Обалдуй и, подойдя къ мужичку съ дырой на плечѣ, устави́лъ на него пальцемъ, запрыгалъ и залился дребезжащимъ хохотомъ. — Полѣха! полѣха! Га, бѣда панай*), заворотень! Зачѣмъ пожаловаль, заворотень? кричалъ онъ сквозь смѣхъ.

Бѣдный мужикъ смутился и уже собрался было встать да уйдти поскорѣй, какъ вдругъ раздался мѣдный голосъ Дикаго Барина:

— Да что-жь это за несносное животное такое? произнесъ онъ, скрыпнувъ зубами.

— Я ничего, забормоталъ Обалдуй: — я ничего... я такъ...

— Ну, хорошо, молчать-же! возразилъ Дикій Баринъ. — Яковъ, начинай!

Яковъ взялся рукой за горло.

— Что, братъ, того... что-то... Гмъ... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робѣй. Стыдись!... чего вертишься?... Пой, какъ Богъ тебѣ велить.

И Дикій Баринъ потупился, выжидая.

Яковъ помолчалъ, взглянулъ кругомъ и за-

Заворотнями же ихъ зовутъ за подозрительный и тугой нравъ.

*) Полѣхи прибавляютъ почти къ каждому слову восклицанія: „га!“ и „бѣда.“ — „Панай“ вмѣсто погоняй

крылся рукой. Всѣ такъ и впились въ него глазами, особенно рядчикъ, у котораго на лицѣ, сквозъ обычную самоувѣренность и торжество успѣха, проступило невольное, легкое безпокойство. Онъ прислонился къ стѣнѣ и опять положилъ подъ себя обѣ руки, но уже не болталъ ногами. Когда-же, наконецъ, Яковъ открылъ свое лицо — оно было блѣдно, какъ у мертваго; глаза едва мерцали сквозъ опущенныя рѣсницы. Онъ глубоко вздохнулъ и зашѣлъ... Первый звукъ его голоса былъ слабъ и неровенъ и, казалось, не выходилъ изъ его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетѣлъ случайно въ комнату. Странно подѣйствовалъ этотъ трепещущій, звенящій звукъ на всѣхъ насъ; мы взглянули другъ на друга, а жена Николая Иваныча такъ и выпрямилась. За этимъ первымъ звукомъ послѣдовалъ другой, болѣе твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащій какъ струна, когда, внезапно прозвенѣвъ подъ сильнымъ пальцемъ, она колеблется послѣднимъ, быстро замирающимъ колебаньемъ, за вторымъ — третій, и, понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. „Не одна во полѣ дороженька пролегала“ пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко. Я, признаюсь,

рѣдко слыхиваль подобный голосъ: онъ былъ слегка разбитъ и звенѣлъ какъ надтреснутый; онъ даже сначала отзывался чѣмъ-то болѣзненнымъ; но въ немъ была и неподдѣльная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая то увлекательно безпечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковымъ видимо овладѣвало упоеніе: онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе — онъ дрожалъ, но той едва замѣтной внутренней дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся. Помнится, я видѣлъ однажды, вечеромъ во время отлива, на плоскомъ песчаномъ берегу моря, грозно и тяжело шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья на-встрѣчу знакомому морю, на-встрѣчу низкому, багровому солнцу: я вспомнилъ о ней, слушая Якова. Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника, и всѣхъ насъ, не

видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участиемъ. Онъ пѣлъ, и отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ вами, уходя въ безконечную даль. У меня, я чувствовалъ, закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы; глухія, сдержанныя рыданья внезапно поразили меня... я оглянулся — жена цаловальнича плакала, припавъ грудью къ окну. Яковъ бросилъ на нее быстрый взглядъ и залился еще звонче, еще слаще прежняго. Николай Ивановичъ потушился; Моргачъ отвернулся; Обалдуй, весь разнѣженный, стоялъ, глупо разинувъ ротъ; сѣрый мужичокъ тихонько всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой; и по желѣзному лицу Дикаго Барина, изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчикъ поднесъ сжатый кулакъ ко лбу и не шевелился... Не знаю, чѣмъ-бы разрѣшилось всеобщее томленье, еслибъ Яковъ вдругъ не кончилъ на высокомъ, необыкновенно тонкомъ звукѣ — словно голосъ у него оборвался. Никто не крикнулъ, даже не шевельнулся; всѣ какъ будто ждали, но будетъ ли онъ еще пѣть; но онъ

раскрылъ глаза, словно удивленный нашимъ молчаньемъ, вопрошающимъ взоромъ обвелъ всѣхъ кругомъ и увидалъ, что побѣда была его....

— Яша, проговорилъ Дикій Баринъ, положилъ ему руку на плечо, и — смолкъ.

Мы всѣ стояли, какъ оцѣпенѣлые. Рядчигъ тихо всталъ и подошелъ къ Якову. — „Ты... твоя... ты выигралъ,“ произнесъ онъ наконецъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты.

Его быстрое рѣшительное движеніе какъ будто нарушило очарованье: всѣ вдругъ заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнулъ вверхъ, залепеталъ, замахалъ руками, какъ мельница крыльями; Моргачъ, ковыляя, подошелъ къ Якову и сталъ съ нимъ цаловаться; Николай Иванычъ приподнялся и торжественно объявилъ, что прибавляетъ отъ себя еще осьмуху пива; Дикій Баринъ посмѣивался какимъ-то добрымъ смѣхомъ, котораго я никакъ не ожидалъ встрѣтить на его лицѣ; сѣрый мужичокъ то и дѣло твердилъ въ своемъ уголку, утирая обѣими рукавами глаза, щеки, носъ и бороду: „а хорошо, ей Богу хорошо, ну вотъ, будь я собачій сынъ, хорошо!“ а жена Николая Иваныча, вся раскраснѣвшаяся, быстро встала и удалилась. Яковъ наслаждался своей побѣдой, какъ дитя: все его лицо пре-

образилось: особенно его глаза такъ и засіяли счастьемъ. Его потащили къ стойкѣ; онъ позволялъ въ ней расплакававшегося сѣраго мужичка, послалъ цаловальникова сынишеу за рядчикомъ, котораго однако тотъ не сыскалъ, и начался пиръ. — „Ты еще намъ споешь, ты до вечера намъ пѣть будешь,“ твердилъ Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще разъ взглянулъ на Якова и вышелъ. Я не хотѣлъ остаться — я боялся испортить свое впечатлѣніе. Но зной былъ нестерпимъ по прежнему. Онъ какъ будто висѣлъ надъ самой землею густымъ тяжелымъ слоемъ; на темно-синемъ небѣ, казалось крутились какіе-то мелкіе, свѣтлые огоньки сѣвозъ тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное въ этомъ глубокомъ молчаніи обезсиленной природы. Я добрался до сѣновала и легъ на только-что-скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не могъ задремать; долго звучалъ у меня въ ушахъ неотразимый голосъ Якова... наконецъ, жара и усталость взяли однакожь свое, и я заснул мертвымъ сномъ. Когда я проснулся, — все уже потемнѣло; вокругъ разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырѣла; сѣвозъ тон-

кія жерди полураскрытой крыши слабо мигали блѣдныя звѣздочки. Я вышелъ. Заря уже давно погасла, и едва бѣлѣлъ на небосклонѣ ея послѣдній слѣдъ; но въ недавно раскаленномъ воздухѣ сквозъ ночную свѣжесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холоднаго дуновенья. Вѣтра не было, не было и тучъ; небо стояло кругомъ все чистое и прозрачно темное, тихо мерцая безчисленными, но чуть видными звѣздами. По деревнѣ мелькали огоньки; изъ недалекаго, ярко освѣщеннаго кабака несли нестройный, смутный гамъ, среди котораго, мнѣ казалось, я узнавалъ голосъ Якова. Ярый смѣхъ, по временамъ, поднимался оттуда взрывомъ. Я подошелъ къ окошку и приложился лицомъ къ стеклу. Я увидѣлъ невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно — все, начиная съ Якова. Съ обнаженной грудью сидѣлъ онъ на лавкѣ и, напѣвая осиплымъ голосомъ какую-то плясовую, уличную пѣсню, лѣниво перебиралъ и щипалъ струны гитары. Мокрыя волосы ключьями висѣли надъ его страшно-поблѣднѣвшимъ лицомъ. По серединѣ кабака, Обалдуй, совершенно „развинченный“ и безъ кафтана, выплясывалъ въ перепрыжку передъ мужичкомъ въ сѣроватомъ армякѣ; мужичокъ,

въ свою очередь, съ трудомъ топоталъ и шаркалъ ослабѣвшими ногами и, безсмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изрѣдка помахивалъ одной рукой, какъ-бы желая сказать: „куда ни шло!“ Ничего не могло быть смѣшнѣй его лица; какъ онъ ни вздергивалъ кверху свои брови, отяжалѣвшія вѣки не хотѣли подняться, а такъ и лежали на едва замѣтныхъ, посоловѣлыхъ, но сладчайшихъ глазкахъ. Онъ находился въ томъ миломъ состояніи окончательно подгулявшаго человѣка, когда всякій прохожій, заглянувъ ему въ лицо, непременно скажетъ: „хорошъ, братъ, хорошъ!“ Моргачъ, весь красный, какъ ракъ, и широко раздувъ ноздри, язвительно посмѣивался изъ угла; одинъ Николай Ивановичъ, какъ и слѣдуетъ истинному цаловальнику, сохранялъ свое неизмѣнное хладнокровіе. Въ комнату набралось много новыхъ лицъ; но Дикаго Барина я въ ней не видалъ.

Я отвернулся, и быстрыми шагами сталъ спускаться съ холма, на которомъ лежитъ Колотовка. У подошвы этого холма разстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечерняго тумана, она казалась еще необъятнѣй и какъ будто сливалась съ потемнѣвшимъ небомъ. Я сходилъ большими шагами по дорогѣ

вдоль оврага, какъ вдругъ гдѣ-то далеко въ равнинѣ раздался звонкій голосъ мальчика. — „Антропка! Антропка-а-а...“ кричалъ онъ съ упорнымъ и слезливымъ отчаяніемъ, долго вытягивая послѣдній слогъ.

Онъ умолкалъ на нѣсколько мгновеній и снова принимался кричать. Голосъ его звонко разносился въ неподвижномъ, чутко-дремлющемъ воздухѣ. Тридцать разъ, покрайней мѣрѣ, прокричалъ онъ имя Антропки, какъ вдругъ, съ противоположнаго конца поляны, словно съ другаго свѣта, пронесся едва слышный отвѣтъ:

— Чего-о-о-о-о?

Голосъ мальчика тотчасъ съ радостнымъ озлобленіемъ закричалъ:

— Иди сюда, чортъ, лѣшій-і-і-ій.

— Затѣ-ѣ-ѣ-ѣмъ? отвѣтилъ тотъ, спустя долгое время.

— А за тѣмъ, что тебя тятя высѣчь хочи-и-и-ить, — поспѣшно прокричалъ первый голосъ.

Второй голосъ болѣе не откликнулся, и мальчикъ снова принялся взывать къ Антропкѣ. Возгласы его, болѣе и болѣе рѣдкіе и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало

совсѣмъ темно, и я обгibalъ край лѣса, окружающаго мою деревеньку и лежащаго въ четырехъ верстахъ отъ Колотовки...

„Антропка-а-а!“ все еще чудилось въ воздухѣ, наполненномъ тѣнями ночи.

ПЕТРЪ ПЕТРОВИЧЪ КАРАТАЕВЪ.

Лѣтъ пять тому назадъ, осенью, на дорогѣ изъ Москвы въ Тулу, пришлось мнѣ просидѣть почти цѣлый день въ почтовомъ домѣ, за недостаткомъ лошадей. Я возвращался съ охоты и имѣлъ неосторожность отправить свою тройку впередъ. Смотритель, человѣкъ уже старшій, угрюмый, съ волосами, нависшими надъ самымъ носомъ, съ маленькими заspanными глазами, на всѣ мои жалобы и просьбы отвѣчалъ отрывистымъ ворчаньемъ, въ сердцахъ хлопалъ дверью, какъ будто самъ проклиналъ свою должность, и, выходя на крыльцо, бранилъ ямщиковъ, которые медленно брели по грязи съ пудовыми дугами на рукахъ, или сидѣли на лавкѣ, позѣвывая и почесываясь, и не обращали особеннаго вниманія на гнѣвные восклицанія своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай, нѣсколько разъ

напрасно пытался заснуть, прочелъ всѣ надписи на окнахъ и на стѣнахъ: скука меня томила страшная. Съ холоднымъ и безнадежнымъ отчаяніемъ глядѣлъ я на приподнятыя оглобли своего тарантаса, какъ вдругъ зазвенѣлъ колокольчикъ, и небольшая телѣга, запряженная тройкой измученныхъ лошадей, остановилась передъ крыльцомъ. Приѣзжій соскочилъ съ телѣги и съ крикомъ: „живѣ лошадей!“ вошелъ въ комнату. Пока онъ, съ обычнымъ, страннымъ изумленіемъ, выслушивалъ отвѣтъ зрителя, что лошадей-де нѣту, я успѣлъ, со всѣмъ жаднымъ любопытствомъ сучающаго человѣка, окинуть взоромъ съ ногъ до головы моего новаго товарища. На видъ ему было лѣтъ подъ тридцать. Оспа оставила неизгладимые слѣды на его лицѣ, сухомъ и желтоватомъ, съ непріятнымъ мѣднымъ отблескомъ; изсиня-черные, длинные волосы лежали сзади кольцами на воротникѣ спереди закручивались въ ухорскіе виски; большіе опухшіе глазки глядѣли, — и только; на верхней губѣ торчало нѣсколько волосковъ. Одѣтъ онъ былъ забубеннымъ помѣщикомъ, посѣтителемъ конныхъ ярмарокъ, въ пестрый, довольно засаленный архалукъ, полинявшей шелковой галстухъ лиловаго цвѣта, жилетъ съ мѣдными

путовками и сѣрые панталоны, съ огромными раструбами, изъ-подъ которыхъ едва выглядывали кончики нечищенныхъ сапогъ. Отъ него сильно несло табакомъ и водкой; на красныхъ и толстыхъ его пальцахъ, почти закрытыхъ рукавами архалука, виднѣлись серебряныя и тульскія кольца. Такія фигуры встрѣчаются на Руси не дюжинами, а сотнями; знакомство съ ними, надобно правду сказать, не доставляетъ никакого удовольствія; но, не смотря на предубѣжденіе, съ которымъ я глядѣлъ на пріѣзжаго, я не могъ не замѣтить безпечно добраго и страстнаго выраженья его лица.

— Вотъ и они ждутъ здѣсь болѣе часу-съ, промолвилъ смотритель, указывая на меня.

Болѣе часу! — злодѣй смѣялся надо мной!

— Да имъ, можетъ быть, не такъ нужно, отвѣчалъ пріѣзжій.

— Ужь этого-съ, мы не можемъ знать-съ, угрюмо сказалъ смотритель.

— Такъ неужели нельзя никакъ? Нѣтъ лошадей рѣшительно?

— Нельзя-съ. Ни одной лошади не имѣется.

— Ну, такъ велите-же мнѣ самоваръ поставить. Подождемъ, дѣлать нечего.

Пріѣзжій сѣлъ на лавку, бросилъ картузь на столъ и провелъ рукой по волосамъ.

— А вы ужь пили чай? спросилъ онъ меня.

— Пилъ.

— А еще разъ для компаніи не угодно?

Я согласился. Толстый рыжій самоваръ въ четвертый разъ появился на столѣ. Я досталъ бутылку рому. Я не ошибся, принявъ моего собесѣдника за мелкопомѣстнаго дворянина. Звали его Петромъ Петровичемъ Каратаевымъ.

Мы разговорились. Не прошло и получаса съ его пріѣзда, какъ ужь онъ съ самой добродушной откровенностью рассказывалъ мнѣ свою жизнь.

— Теперь я ѣду въ Москву, говорилъ онъ мнѣ, допивая четвертый стаканъ: въ — деревнѣ мнѣ ужь теперь нечего дѣлать.

— Отчего-же нечего?

— Да такъ-таки нечего. Хозяйство поразстроилось, мужиковъ пораззорилъ, признаться, подошли годы плохіе: неурожаи, разные, знаете, несчастія... Да впрочемъ, прибавилъ онъ, уныло взглянувъ въ сторону: — какой я хозяинъ!

— Почему-же?

— Да нѣтъ, перебилъ онъ меня: — такіе-ли бываютъ хозяева! Вотъ видите-ли, продолжалъ

онъ, скрутивъ голову на бокъ и прилежно насасывая трубку: — вы, такъ, глядя на меня можете подумать, что я и того... а, вѣдь, я, долженъ вамъ признаться, воспитанье получилъ средственное; достатковъ не было. Вы меня извините, я человѣкъ откровенный, да и наконецъ...

Онъ не договорилъ своей рѣчи и махнулъ рукой. Я началъ увѣрять его, что онъ ошибается, что я очень радъ нашей встрѣчѣ и пр., а потомъ замѣтилъ, что для управленія имѣньемъ, кажется, не нужно слишкомъ сильнаго образованія.

— Согласенъ, отвѣчалъ онъ: — я съ вами согласенъ. Да все-же нужно такое, особенное расположеніе. Иной, Богъ знаетъ что, дѣлаетъ, и ничего! а я... Позвольте узнать, вы сами изъ Питера, или изъ Москвы?

— Я изъ Петербурга.

Онъ пустилъ ноздрями долгую струю дыма.

— А я въ Москву ѣду служить.

— Куда-же вы намѣрены опредѣлиться?

— А не знаю; какъ тамъ придется. Признаться вамъ, боюсь я службы: какъ разъ подъ отвѣтственность попадешь. Жилъ все въ дере-

нѣ; привыкъ, знаете... да ужь дѣлать нечего...
нужда! Охъ, ужь эта мнѣ нужда!

— За то вы будете жить въ столицѣ.

— Въ столицѣ... ну, я не знаю, что тамъ
въ столицѣ хорошаго. Посмотримъ, можетъ
быть, оно и хорошо... А ужь лучше деревни,
кажется, и быть ничего не можетъ.

— Да развѣ вамъ уже невозможно болѣе жить
въ деревнѣ?

Онъ вздохнулъ.

— Невозможно. Она ужь теперь, почитай,
что и не моя.

— А чтó?

— Да тамъ добрый человѣкъ — сосѣдъ за-
велся... вексель...

Бѣдный Петръ Петровичъ провелъ рукой по
лицу, подумалъ и тряхнулъ головою.

— Ну, да ужь чтó!... Да признаться, при-
бавилъ онъ послѣ небольшого молчанья: — мнѣ
не на кого пенять, самъ виноватъ. Любилъ
покуражиться!... Люблю, чортъ возьми, покура-
житься!

— Вы весело жили въ деревнѣ? спросилъ
я его.

— У меня, сударь, отвѣчалъ онъ съ раста-
новкой и глядя мнѣ прямо въ глаза: — было

двѣнадцать смычковъ гончихъ, такихъ гончихъ, какихъ, скажу вамъ, немного. (Онъ это послѣднее слово произнесъ на распѣвъ). Русака какъ разъ замотаютъ, а ужъ на краснаго звѣря-змѣи, просто аспиды. И борзыми похвастаться я могъ. Теперь-же дѣло прошлое, лгать не-для-чего. Охотился я и съ ружьемъ. Была у меня собака Контеска; стойка необыкновенная, верхнимъ чутьемъ все брала. Бывало подойду къ болоту, скажу: шаршъ! какъ искать не станеть, такъ хоть съ дюжиной собакъ пройди, — шалишь, ничего не найдешь! а какъ станеть — просто рада умереть на мѣстѣ!... И въ комнатѣ такая вѣжливая. Дашь ей хлѣбъ изъ лѣвой руки да скажешь: Жидъ ѣль, вѣдь, не возьметъ, а дашь изъ правой, да скажешь: барышня кушала, — тотчасъ возьметъ и съѣстъ. Былъ у меня и щенокъ отъ нея, отличный щенокъ, и въ Москву везти хотѣлъ, да пріятель выпросилъ вмѣстѣ съ ружьемъ; говорить: въ Москвѣ тебѣ, братъ, будетъ не до того; тамъ ужъ пойдетъ совсѣмъ, братъ, другое. Я и отдалъ ему щенка, да ужъ и ружье, ужъ оно все тамъ, знаете, осталось.

— Да вы и въ Москвѣ могли-бы охотиться.

— Нѣтъ ужъ, къ-чему? Не сдумѣлъ удержаться, такъ и терпи теперь. А вотъ лучше

позвольте узнать, что жизнь въ Москвѣ — дорога?

— Нѣтъ, не слишкомъ.

— Не слишкомъ?... А скажите, пожалуйста, вѣдь, цыгане въ Москвѣ живутъ?

— Какіе цыгане?

— А вотъ, что по ярмаркамъ ѣздятъ?

— Да, въ Москвѣ...

— Ну, это хорошо. Люблю цыганъ, чортъ возьми, люблю!...

И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдругъ онъ завертѣлся на лавкѣ, потомъ задумался, потупилъ голову и протянулъ ко мнѣ пустой стаканъ.

— Дайте-ка мнѣ вашего рому, проговорилъ онъ.

— Да чай весь вышелъ.

— Ничего, такъ, безъ чая... Эхъ!

Каратаевъ положилъ голову на руки и оперся руками на столъ. Я молча глядѣлъ на него, и ожидалъ уже тѣхъ чувствительныхъ восклицаній, пожалуй, даже тѣхъ слезъ, на которыя такъ щедръ подгулявшій человѣкъ, но когда онъ поднялъ голову, меня, признаюсь, поразило глубоко-грустное выраженіе его лица.

— Что съ вами?

— Ничего-съ... старину вспомнилъ. Такой анекдотъ-съ... Разскажалъ-бы вамъ, да мнѣ совѣстно васъ беспокоить...

— Помилуйте!

— Да, продолжалъ онъ со вздохомъ: — бывають случаи... хотя, на-примѣръ, и со мной. Вотъ, если хотите, я вамъ разскажу. Впрочемъ, не знаю...

— Разсказывайте, любезный Петръ Петровичъ.

— Пожалуй, хоша оно того... Вотъ, видите-ли, началъ онъ: — но я, право, не знаю.

— Ну, полноте, любезный Петръ Петровичъ.

— Ну, пожалуй. Такъ вотъ что со мной, такъ сказать, случилось. Жилъ я-съ въ деревнѣ... вдругъ, приглянись мнѣ дѣвушка, ахъ, да какая же дѣвушка была... красавица, умница, а ужъ добрая какая! Звали ее Матреной-съ. А дѣвка она была простая, т. е., вы понимаете, крѣпостная, просто холопка-съ. Да не моя дѣвка, а чужая; вотъ въ чемъ бѣда. Ну, вотъ я ее полюбилъ, — такой, право, анекдотъ-съ, — ну, и она. Вотъ и стала Матрена меня просить: выкупи ее, дескать, отъ госпожи; да и я самъ уже объ эфтомъ подумывалъ... А госпожа-то у ней была богатая, старушенція страшная;

жила отъ меня верстахъ въ пятнадцать. Ну, вотъ, въ одинъ, какъ говорится, прекрасный день, я и велѣлъ заложить себѣ дрожки тройкой, — въ корню ходилъ у меня иноходецъ, азіятецъ необыкновенный, за то и назывался Лампурдось, — одѣлся получше и поѣхалъ къ Матрениной барынѣ. Приѣзжаю: домъ большой, съ флигелями съ садомъ... У поворотка Матрена меня ждала, хотѣла было заговорить со мной, да только руку поцаловала и отошла въ сторону. Вотъ, вхожу я въ переднюю, спрашиваю: дома?... А мнѣ высокой такой лакей говорить: какъ объ васъ доложить прикажете? Я говорю: доложи, братецъ, дескать, помѣщикъ Каратаевъ приѣхалъ одѣлѣ переговоры. Лакей ушелъ; я жду себѣ и думаю: что-то будетъ? чай, заломить, бестія, цѣну страшную, даромъ, что богата. Рублей пятьсотъ, пожалуй, запросить. Вотъ, наконецъ, вернулся лакей, говорить: пожалуйста. Я вхожу за нимъ въ гостинную. Сидитъ на креслахъ маленькая, желтенькая старушонка и глазами моргаетъ. — „Что вамъ угодно?“ — Я сперва, знаете-ли, почелъ за нужное объявить, что, дескать, радъ знакомству. — „Вы ошибаетесь, я не здѣшняя хозяйка, а ея родственница... Что вамъ угодно?“ — Я замѣтилъ ей тутъ-же, что

мнѣ съ хозяйкой-то и нужно переговорить. —
 — „Марья Ильинишна не принимаетъ сегодня:
 она не здорова... Что вамъ угодно?“ — Дѣлать
 нечего, подумалъ я про себя, объясню ей мое
 обстоятельство. Старуха меня выслушала. —
 „Матрена? какая Матрена?“ — Матрена Ѳедо-
 рова, Куликова дочь. — „Ѳедора Кулика дочь?...
 да какъ вы ее знаете?“ — Случайнымъ мане-
 ромъ. — „А извѣстно ей ваше намѣреніе?“ —
 Извѣстно. — Старуха замолчала. — „Да я ее
 негодную!...“ — Я, признаюсь, удивился. —
 За что-же, помилуйте!... Я за нее готовъ внести
 сумму, только извольте назначить. Старая хры-
 човка такъ и зашипѣла: — „Вотъ вѣдумали
 чѣмъ удивить: нужны намъ очень ваши день-
 ги!... а вотъ я ее ужо, вотъ я ее... Дурь-то я
 изъ нее выбью“. — Раскашлялась старуха со
 злости. — „Не хорошо ей у насъ, что-ли?...
 Ахъ, она чертовка, прости, Господи, мое согрѣ-
 шенье!“ Я, признаюсь, вспыхнулъ. — За что-
 же вы грозите бѣдной дѣвкѣ? чѣмъ она, то-есть,
 виновата? Старуха перекрестилась. — „Ахъ,
 ты, мой Господи, да развѣ я...“ — Да, вѣдь,
 она не ваша! — „Ну, ужъ про это Марья Иль-
 инишна знаетъ, не ваше, батюшка, дѣло; а вотъ
 я ужо Матрешкѣ-то покажу, чья она холопка“

Я признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху, да вспомнил о Матренѣ, и руки опустились. Заробѣлъ такъ, что пересказать невозможно; началъ упрашивать старуху: возьмите, дескать, что хотите. — „Да на что она вамъ?“ — Понравилась, матушка; войдите въ мое положенье... Позвольте поцаловать у васъ ручку. И таки поцаловалъ у шельмы руку! — „Ну,“ прошамшила вѣдьма: — „я скажу Марьѣ Ильинишнѣ, какъ она прикажетъ; а вы заѣзжайте дня черезъ два“. Я уѣхалъ домой въ большомъ безпокойствѣ. Начиналъ я догадываться, что дѣло неладно повелъ, напрасно далъ свое расположенъе замѣтить, да хватился-то я поздно. Дня черезъ два отправился я къ барышнѣ. Привели меня въ кабинетъ. Цвѣтовъ пропастъ, убранство отличное, сама сидитъ въ такихъ мудреныхъ креслахъ и голову назадъ завалила на подушку; и родственница прежняя тутъ сидитъ, да еще какая-то барышня бѣлобрысая, въ зеленомъ платьѣ, криворотая, компаньонка, должно быть. Старуха загнула: „прошу садиться.“ Я сѣлъ. Стала меня спрашивать о томъ, сколько мнѣ лѣтъ, да гдѣ я служилъ, да что намѣренъ дѣлать, и такъ все свысока, важно. Я отвѣчалъ подробно. Ста-

руха взяла со стола платокъ, помахала, помахала на себя... „Мнѣ,“ говоритъ, „докладывала Катерина Карповна объ вашемъ намѣреніи; докладывала,“ говоритъ „но я себѣ,“ говоритъ, „положила за правило: людей въ услуженіе не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится въ порядочномъ домѣ: это не порядокъ. Я уже и распорядилась,“ говоритъ, „вамъ уже болѣе беспокоиться,“ говоритъ, „нечего.“ — Какое беспокойство, помилуйте... А можетъ, вамъ Матрена Ѳедорова нужна? — „Нѣтъ,“ говоритъ, „не нужна.“ — Такъ отчего-же вы мнѣ ее уступить не хотите? — „Отъ-того, что мнѣ не угодно; не угодно, да и все тутъ. Я ужь,“ говоритъ, „распорядилась: она въ степную деревню посылается.“ Меня какъ громомъ хлопнуло. Старуха сказала слова два по французски зеленой барышнѣ: та вышла. „Я,“ говоритъ „женщина правилъ строгихъ, да и здоровье мое слабое: беспокойства переносить не могу. Вы еще молодой человѣкъ; а я ужь старая женщина и въ правѣ вамъ давать совѣты. Не лучше-ли вамъ пристроиться, жениться, поискать хорошей партіи; богатыхъ невѣсты рѣдки, но дѣвицу бѣдную, за то хорошей нравственности найдти можно.“ Я знаете, гляжу на старуху и ничег

не понимаю, что она тамъ такое мелеть; слышу, что толкуеть о женитьбѣ, а у меня степная деревня все въ ушахъ звенить. Жениться!... какой чортъ...

Тутъ разскащикъ внезапно остановился и поглядѣлъ на меня.

— Вѣдь, вы не женаты?

— Нѣтъ.

— Ну, конечно, дѣло извѣстное. Я не вытерпѣлъ: да помилуйте, матушка, что вы за ахинею порете? Какая тутъ женитьба? я просто желаю узнать отъ васъ, уступаете вы вашу дѣвку Матрену, или нѣтъ? — Старуха захола: — „ахъ, онъ меня обезпокоилъ! ахъ, велите ему уйдти! ахъ!...“ Родственница къ ней подскочила и раскричалась на меня. А старуха все стонетъ: „чѣмъ это я заслужила?... Стало быть, я уже въ своемъ домѣ не госпожа? ахъ, ахъ!“ Я схватилъ шляпу и, какъ сумасшедшій, выбѣжалъ вонъ.

— Можетъ быть, продолжалъ разскащикъ: — вы осудите меня за то, что я такъ сильно привязался къ дѣвушкѣ изъ низкаго сословія; я и не намѣренъ себя, то-есть, оправдывать... такъ ужъ оно пришлось!... Вѣрите-ли, ни днемъ, ни ночью покоя мнѣ не было... Мучусь! за что,

думалъ я, погубилъ несчастную дѣвку! Какъ только, бывало, вспомню, что она въ зипунѣ гусей гоняетъ, да въ черномъ тѣлѣ, по барскому приказу, содержится, да староста, мужикъ въ дехтярныхъ сапогахъ, ее ругательски ругаетъ — холодный потъ такъ съ меня и закапаетъ. Ну, не вытерпѣлъ, провѣдалъ въ какую деревню ее сослали, сѣлъ верхомъ и поѣхалъ туда. На другой день подъ вечеръ только пріѣхалъ. Видно отъ меня такого пассажа не ожидали и никакого на мой счетъ приказанія не дали. Я прямо къ старостѣ, будто сосѣдъ; вхожу на дворъ, гляжу: Матрена сидитъ на крылечкѣ и рукой подперлась. Она было вскрикнула, да я ей угрозилъ и показалъ на задворье, въ поле. Вошелъ въ избу; со старостой покаялкалъ, навралъ ему чортову тьму, улучилъ минутку и вышелъ къ Матренѣ. Она бѣдняжка, такъ у меня на шеѣ и повисла. Поблѣднѣла, похудѣла, моя голубушка. Я, знаете-ли, говорю ей: ничего, Матрена; ничего, не плачь, — а у самого слезы такъ и бѣгутъ и бѣгутъ... Ну, однакожь, наконецъ, мнѣ стыдно стало; говорю ей: Матрена. слезами горю не пособить, а вотъ что: надобно дѣйствовать, какъ говорится, рѣшительно; надобно тебѣ бѣжать со мной; вотъ какъ надобно

дѣйствовать. Матрена такъ и обмерла... „Какъ можно! да я пропаду, да они меня заѣдятъ со-всѣмъ!“ — Глупая ты, кто тебя сыщеть? — „Сыщутъ, непременно сыщутъ. Спасибо вамъ, Петръ Петровичъ; вѣкъ не забуду вашей ласки, но ужъ вы меня теперь предоставьте; ужъ, видно, такова моя судьба.“ Эхъ, Матрена, Матрена, а я тебя считалъ за дѣвку съ характеромъ. И точно, характеру у ней было много... душа была, золотая душа! — Что-жь тебѣ здѣсь оставаться? все равно; хуже не будетъ. Ну вотъ ска-зывай: старостихинныхъ кулаковъ отвѣдывала, а? — Матрена такъ и вспыхнула, и губы у ней за-дрожали. „Да изъ-за меня семья моей жптѣя не будетъ“. — Ну ее, твою семью... Сошлютъ ее что-ли? — „Сошлютъ; брата-то навѣрное сошлютъ.“ — А отца? — „Ну, отца не сош-лютъ: онъ у насъ одинъ хорошій портной и есть.“ — Ну вотъ, видишь, а братъ твой отъ этого не пропадетъ. Повѣрите-ли, насилу уло-малъ ее; вздумала еще толковать о томъ, что, дескать, вы за это отвѣчать будете... Да ужъ это, говорю я, не твое дѣло... Однако, я таки ее увезъ... не въ этотъ разъ, а въ другой: ночью, на телѣгѣ пріѣхалъ — и увезъ.

— Увезли?

— Увезъ... Ну вотъ, она и поселилась у меня. Домикъ у меня былъ небольшой; прислуги мало. Люди мои, безъ обиняковъ скажу, меня уважали; не выдали-бы ни за какія благополучія. Сталъ я поживать припѣваючи. Матренушка отдохнула, поправилась; вотъ я къ ней и привязался... Да и что за дѣвка была! Откуда что бралось? и пѣть-то она умѣла, и плясать, и на гитарѣ играть... Сосѣдямъ я ее не показывалъ, чего добраго, разболтають! А былъ у меня пріятель, другъ закадычный, Горностаевъ Пантелей — вы не изволите знать? Тотъ въ ней, просто, души не чаялъ; какъ у барыни руки у ней цаловалъ, право. И скажу вамъ, Горностаевъ не мнѣ чета: человѣкъ онъ образованный, всего Пушкина прочелъ; станетъ, бывало, съ Матреной да со мной разговаривать, такъ мы и уши развѣсимъ. Писать ее выучилъ, такой чудакъ! А ужъ какъ я одѣвалъ ее, — просто, лучше губернаторши: сшилъ ей шубку изъ малиноваго бархата съ мѣховой опушкой... Ужъ какъ эта шубка на ней сидѣла! Шубку-то эту московская мадамъ шила по новому манеру, съ перехватомъ. И ужъ какая чудная эта Матрена была! Бывало, задумается да и сидитъ по часамъ, на полъ глядитъ, бровью не шевельнетъ;

и я тоже сижу, да на нее смотрю, да насмотрѣться не могу, словно никогда не видалъ... Она улыбнется, а у меня сердце такъ и дрогнетъ, словно кто пощекотить. А то, вдругъ примется смѣяться, шутить, плясать; обниметъ меня такъ жарко, такъ крѣпко, что голова кругомъ пойдетъ. Съ утра до вечера, бывало, только и думаю: чѣмъ-бы мнѣ ее порадовать? И вѣрите-ли, вѣдь, только для того ее дарилъ, чтобы посмотрѣть, какъ она, душа моя, обрадуется, вся покраснѣетъ отъ радости, какъ станетъ мой подарокъ примѣрять, какъ ко мнѣ въ обновѣ подойдетъ и поцалуетъ. Неизвѣстно, какимъ образомъ отецъ ея Куликъ пронюхалъ дѣло; пришелъ старикъ поглядѣть на насъ, да какъ заплачетъ... Такимъ-то мы образомъ мѣсяцовъ пять прожили; а я-бы не прочь и весь вѣкъ съ ней такъ прожить, да судьба моя такая океанная!

Петръ Петровичъ остановился.

— Чтѣ-жъ такое сдѣлалось? спросилъ я его съ участиемъ.

Онъ махнулъ рукой.

— Все къ чорту пошло. Я-же ее и погулилъ. Матренушка у меня смерть любила кататься въ санкахъ, и сама, бывало, править;

надѣнетъ свою шубку, шитыя рукавицы торжковскія, да только покрикиваетъ. Катались-то мы всегда вечеромъ, чтобы, знаете, кого-нибудь не встрѣтить. Вотъ какъ-то разъ выбрался день такой, знаете, славный; морозно, ясно, вѣтра нѣту... мы и поѣхали. Матрена взяла возжи. Вотъ я и смотрю, куда это она ѣдетъ? Неужели въ Кукуевку, въ деревню своей барыни? Точно, въ Кукуевку. Я ей и говорю: сумасшедшая, куда ты ѣдешь? Она глянула ко мнѣ черезъ плечо, да усмѣхнулась. Дай, дескать, покуражиться. А! подумалъ я: — была не была!... Мимо господскаго дома прокатиться вѣдь хорошо, вѣдь хорошо, скажите сами? Вотъ мы и ѣдемъ. Иноходецъ мой такъ и плыветъ, пристражныя совершенно, скажу вамъ, завихрились, — вотъ ужъ и Кукуевскую церковь видно; глядь, ползетъ по дорогѣ старый зеленый возокъ и лакей на запяткахъ торчитъ... Барыня, барыня ѣдетъ! Я было струсиль, а Матрена-то какъ ударить возжами по лошадамъ, да какъ помчится прямо на возокъ. Кучеръ, тотъ-то, вы понимаете, видитъ: летитъ на-встрѣчу — Алхи-мересъ какой-то, хотѣлъ, знаете, посторониться, да круто взялъ, да въ сугробъ возокъ-то и опрокинулъ. Стекло разбилось — барыня кричитъ:

ай, ай, ай! компаньонка пищитъ: держи, держи! а мы, давай Богъ ноги, мимо. Скачемъ мы, а я думаю: худо будетъ, напрасно я ей позволилъ ѣхать въ Кукуевку. Чтò-жь вы думаете? вѣдь, узнала барыня Матрену и меня узнала, старая, да жалобу на меня и подай: бѣглая, дескать, моя дѣвка у дворянина Каратаева проживаетъ; да тутъ-же и благодарность, какъ слѣдуетъ, предъявила. Смотрю, ѣдетъ ко мнѣ исправникъ; а исправникъ-то былъ мнѣ человѣкъ знакомый, Степанъ Сергѣичъ Кузовкинъ, хорошій человѣкъ, то-есть, въ сущности человѣкъ не хорошій. Вотъ, прѣзжаетъ и говоритъ: такъ и такъ, Петръ Петровичъ, — какъ-же вы это такъ?... Отвѣтственность сильная и законы на этотъ счетъ ясны. Я ему говорю: ну, объ этомъ мы, разумѣется, съ вами поговоримъ, а вотъ, не хотите-ли перекусить съ дороги? Перекусить-то онъ согласился, но говоритъ: правосудіе требуетъ, Петръ Петровичъ, сами посудите. — Оно, конечно, правосудіе, говорю я: оно, конечно... а вотъ, я слышалъ, у васъ лошадка есть вороненькая, такъ не хотите-ли помѣняться на моего Лампурдоса?... А дѣвки Матрены Ѳедоровой у меня не имѣется. — Ну, говоритъ онъ: Петръ Петровичъ, дѣвка-то у васъ, мы, вѣдь, не въ

Швейцаріи живемъ... а на Лампурдоса помѣняться лошаdkой можно; можно, пожалуй, его и такъ взять. Однако, на этотъ разъ я его кое-какъ спровадилъ. Но старая барыня завозилась пуще прежняго; десяти тысячъ, говорить, не пожалѣю. Видите-ли, ей, глядя на меня, вдругъ въ голову пришло женить меня на своей зеленой компаньонкѣ, — это я послѣ узналъ; оттого-то она такъ и разозлилась. Чего только эти барыни не придумаютъ!... Со скуки, должно быть. Плохо мнѣ пришлось; и денегъ-то я не жалѣлъ, и Матрену-то пряталъ, — нѣтъ, затормошили меня, словно зайца на угонкахъ. Въ долги влѣзъ, здоровья лишился... Вотъ лежу однажды ночью у себя на постелѣ и думаю: Господи, Боже мой, за что терплю? Чтѣ-же мнѣ дѣлать, коли я ее разлюбить не могу?... Ну, не могу, да и только! — шастъ ко мнѣ въ комнату Матрена. Я на это время спряталъ ее было у себя на хуторѣ, верстахъ въ двухъ отъ своего дома. Я испугался. Что? аль и тамъ тебя открыли? — „Нѣтъ, Петръ Петровичъ,“ говоритъ она: „никто меня не беспокоитъ въ Бубновѣ; долго-ли это продолжится? Сердце мое,“ говоритъ, „надрывнется, Петръ Петровичъ; васъ мнѣ жаль, моего голубчика; вѣкъ не забуду ласк

вашей, Петръ Петровичъ, а теперь пришла съ вами проститься.“ — Что ты, что ты, сумасшедшая?... Какъ проститься? какъ проститься? — „А такъ... пойду да себя и выдамъ.“ — Да я тебя, сумасшедшую, на чердакъ запру... или ты погубить меня вздумала? уморить меня желаешь, что-ли? Молчить себѣ дѣвка, да глядить на полъ. — Ну, да говори-же, говори! — „Не хочу вамъ больше безпокойства причинять, Петръ Петровичъ.“ — Ну, поди, толкуй съ ней!... — Да ты знаешь-ли, дура, ты знаешь-ли сума... сумасшедшая...

И Петръ Петровичъ горько зарыдалъ.

— Вѣдь, что вы думаете? продолжалъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу и стараясь нахмурить брови, межъ-тѣмъ, какъ слезы все еще бѣжали по его разгоряченнымъ щекамъ: — вѣдь, выдала себя дѣвка, — пошла да и выдала себя...

— Лошади готовы-съ! торжественно воскликнулъ смотритель, входя въ комнату.

Мы оба встали.

— Что-же сдѣлалось съ Матреной? спросилъ я.

— Каратаевъ махнулъ рукой.

Спустя годъ, послѣ моей встрѣчи съ Кара-таевымъ, случилось мнѣ заѣхать въ Москву. Разъ какъ-то, передъ обѣдомъ, зашелъ я въ кофейную, находящуюся за Охотнымъ-рядомъ — оригинальную московскую кофейную. Въ бильярдной, сквозь волны дыма, мелькали раскраснѣвшіяся лица, усы, хохлы, старомодныя венгерки и новѣйшія святославки. Худые старички въ скромныхъ сюртукахъ читали русскія газеты. Прислуга рѣзко мелькала съ подносами, мягко ступая по зеленымъ коврикамъ. Купцы съ мучительнымъ напряженіемъ пили чай. Вдругъ изъ бильярдной вышелъ человѣкъ, нѣсколько растрепанный и не совсѣмъ твердый на ногахъ. Онъ положилъ руки въ карманы, опустилъ голову и бессмысленно посмотрѣлъ кругомъ.

— Ба, ба, ба! Петръ Петровичъ!... Какъ поживаете?

Петръ Петровичъ чуть не бросился ко мнѣ на шею и потащилъ меня, слегка качаясь, въ маленькую особенную комнату.

— Вотъ здѣсь, говорилъ онъ, заботливо усаживая меня въ кресла: — здѣсь вамъ будетъ хорошо. Человѣкъ, пива! нѣтъ, то-есть шампанскаго! Ну, признаюсь, не ожидалъ, не ожи-

далъ... Давно-ли? надолго-ли? Вотъ, привелъ Богъ, какъ говорится, того...

— Да, помните...

— Какъ не помнить, какъ не помнить, то-ропливо перервалъ онъ меня: — дѣло прошлое... дѣло прошлое...

— Ну, чтò вы здѣсь подѣлываете, любезный Петръ Петровичъ?

— Живу, какъ изволите видѣть. Здѣсь житье хорошее, народъ здѣсь радушный. Здѣсь я успокоился.

И онъ вздохнулъ и поднялъ глаза къ небу.

— Служите?

— Нѣтъ-съ, еще не служу, а думаю скоро опредѣлиться. Да чтò служба?... Люди — вотъ главное, съ какими я здѣсь людьми познакомился!...

Мальчикъ вошелъ съ бутылкой шампанскаго на черномъ подносѣ.

— Вотъ и это хорошій человѣкъ... Не правда-ли, Вася, ты хорошій человѣкъ? На твое здоровье!

Мальчикъ постоялъ, прилично тряхнулъ головкой, улыбнулся и вышелъ.

— Да, хорошіе здѣсь люди, продолжалъ Петръ Петровичъ: — съ чувствомъ, съ душой... Хо-

тите, я васъ познакомлю? Такіе славные ребята... Они всѣ вамъ будутъ рады. Я скажу... Бобровъ умеръ, вотъ горе!

— Какой Бобровъ?

— Сергѣй Бобровъ. Славный былъ человекъ; призрѣлъ было меня, невѣжу, степняка. И Горностаевъ Пантелей умеръ. Всѣ умерли, всѣ!

— Вы все время въ Москвѣ прожили? Не съѣздили въ деревню?

— Въ деревню... мою деревню продали.

— Продали?

— Сукціона... Вотъ, напрасно вы не купили!

— Чѣмъ-же вы жить будете, Петръ Петровичъ?

— А, не умру съ голоду, Богъ дастъ! денегъ не будетъ, — друзья будутъ. Да что деньги? — прахъ! Золото — прахъ!

Онъ зажмурился, пошарилъ рукой въ карманъ и поднесъ ко мнѣ на ладони два пятиалтынныхъ и гривенникъ.

— Что это? Вѣдь, прахъ? (И деньги полетѣли на полъ.) А вы лучше скажите мнѣ, читали-ли вы Полежаева?

— Читалъ.

— Видали-ли Мочалова въ Гамлетѣ?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева поблѣднѣло, глаза безыокойно забѣгали; онъ отвернулся: легкія судороги пробѣжали по его губамъ.) — Ахъ, Мочаловъ, Мочаловъ! „Окончить жизнь — уснуть,“ проговорилъ онъ глухимъ голосомъ:

Не болѣе! и знать, что этотъ сонъ
Окончить грусть и тысячи ударовъ,
Удѣлъ живыхъ... Такой конецъ достоинъ
Желаній жаркихъ!... Умереть... уснуть...

— Уснуть, уснуть! пробормоталъ онъ нѣсколько разъ.

— Скажите, пожалуйста, началъ было я; но онъ продолжалъ съ жаромъ:

Кто снесъ-бы бичъ и посмѣянье вѣка,
Безсиліе правъ, тирановъ притѣсненіе,
Обиды гордаго, забытую любовь,
Презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ,
Когда-бы могъ насъ подарить покоемъ
Одинъ ударъ... О, помани
Мои грѣхи въ твоей святой молитвѣ!

И онъ уронилъ голову на столъ. Онъ началъ заикаться и завираться.

— „И черезъ мѣсяцъ!“ произнесъ онъ съ новой силой:

Одинъ короткій, быстротечный мѣсяцъ!
И башмаковъ еще не износила,
Въ которыхъ шла, въ слезахъ,
За бѣднымъ прахомъ моего отца!
О, небо! Звѣрь, безъ разума, безъ слова,
Грустили-бы долѣе...

Онъ поднесъ рюмку шампанскаго къ губамъ,
но не выпилъ вина и продолжалъ:

Изъ-за Гекубы?

Что онъ Гекубѣ, что она ему;

Что плачетъ онъ объ ней?...

А я... презрѣнный, малодушный рабъ, —

Я трусь! Кто назоветъ меня негоднымъ?

Кто скажетъ мнѣ: ты лжешь?

А я обиды перенесъ-бы... Да!

Я голубъ мужествомъ: — во мнѣ нѣтъ жолчи,

И мнѣ обида не горька...

Каратаевъ уронилъ рюмку и схватилъ себя
за голову. Мнѣ показалось, что я его понялъ.

— Ну, да что, проговорилъ онъ наконецъ;
— кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ... Не
правда-ли? (И онъ засмѣялся.) — На ваше здо-
ровье!

— Вы останетесь въ Москвѣ? спросилъ я его.

— Умру въ Москвѣ...

— Каратаевъ! раздалось въ сосѣдней комна-
тѣ, Каратаевъ, гдѣ ты? поди сюда, любезный,
че-а-эбъ!

— Меня зовутъ, проговорилъ онъ, тяжело

поднимаясь съ мѣста. Прощайте; зайдите ко мнѣ, если можете, я живу въ ***.

Но на другой-же день, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, а долженъ былъ выѣхать изъ Москвы и не видался болѣе съ Петромъ Петровичемъ Каратаевымъ.

СВИДАНІЕ.

Я сидѣлъ въ березовой рощѣ осенью, около половины сентября. Съ самаго утра перепадаль мелкій дождикъ, смѣняемый по временамъ теплымъ солнечнымъ сіяніемъ; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми бѣлыми облаками, то вдругъ мѣстами расчищалось на мгновенье, и тогда изъ-за раздвинутыхъ тучъ показывалась лазурь, ясная и ласковая, какъ прекрасный, умный глазъ. Я сидѣлъ и глядѣлъ кругомъ и слушалъ. Листья чуть шумѣли надъ моей головой; по одному ихъ шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То былъ не веселый, смѣющийся трепеть весны, не мягкое шушуканье, не долгій говоръ лѣта, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый вѣтеръ чуть-чуть тянулъ по верхушкамъ.

Внутренность роши, влажной отъ дождя, безпрестанно измѣнялась, смотря по тому, свѣтило ли солнце или закрывалось облакомъ; она то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все улыбнулось: тонкіе стволы не слишкомъ частыхъ березъ внезапно принимали нѣжный отблескъ бѣлаго шелка, лежавшіе на землѣ мелкіе листья вдругъ пестрѣли и загорались червоннымъ золотомъ, а красивые стебли высокихъ, кудрявыхъ папоротниковъ, уже окрашенныхъ въ свой осенній цвѣтъ, подобный цвѣту переспѣлаго винограда, такъ и сквозили, безконечно путаясь и пересѣкаясь передъ глазами; то вдругъ опять все кругомъ слегка синѣло: яркія краски мгновенно гасли, березы стояли всѣ бѣлыя, безъ блеску, бѣлыя какъ только-что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся холодно играющій лучъ зимняго солнца, — и урадкой, лужаво, начиналъ сѣяться и шептаться по лѣсу мельчайшій дождь. Листва на березахъ была еще почти вся зелена, хотя замѣтно поблѣднѣла; лишь кой-гдѣ стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видѣть какъ она ярко вспыхивала на солнцѣ, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрѣя, сквозь частую сѣтку тонкихъ вѣтокъ, только-что смы-

тыхъ сверкающимъ дождемъ. Ни одной птицы не было слышно: всѣ пріютились и замолкли; лишь изрѣдка звенѣлъ стальнымъ кокольчикомъ насмѣшливый голосокъ синицы. — Прежде чѣмъ я остановился въ этомъ березовомъ лѣску, я съ своей собакой прошелъ черезъ высокую осиновую рошу. Я, признаюсь, не слышномъ люблю это дерево — осину — съ ея блѣдно-лиловымъ пнемъ и сѣро-зеленой, металлической листвою, которую она вздымаетъ какъ можно выше и дрожащимъ вѣтромъ раскидываетъ на воздухъ; не люблю я вѣчное качанье ея круглыхъ неопрятныхъ листьевъ, неловко прицѣпленныхъ къ длиннымъ стебелькамъ, она бываетъ хорошо только въ иные лѣтніе вечера, когда, возвышаясь отдѣльно среди низкаго кустарника, она приходится въ упоръ рдѣющимъ лучамъ заходящаго солнца и блеститъ, и дрожитъ, съ корней до верхушки облитая одинаковымъ желтымъ багрянцемъ, — или, когда, въ ясный вѣтренный день, она вся шумно струится и лепечетъ на синемъ небѣ, и каждый листъ ея, подхваченный стремленьемъ, какъ-будто хочетъ сорваться, слетѣть и умчаться въ даль. Но вообще я не люблю этого дерева, и потому не останавливаясь въ осиновой рошѣ для отдыха, добрался до березоваго лѣска, уgnѣзвился подъ однимъ дерев-

цемъ, у котораго сучья начинались низко надъ-землей и, слѣдовательно, могли защитить меня отъ дождя, и полюбовавшись окрестнымъ видомъ, заснулъ тѣмъ безмятежнымъ и кроткимъ сномъ, который знакомъ однимъ охотникамъ.

Не могу сказать, сколько я времени проспалъ, но, когда я открылъ глаза — вся внутренность лѣса была наполнена солнцемъ, и во всѣ направленья, сквозъ радостно шумѣвшую листву, сквозило и какъ бы искрилось ярко-голубое небо; облака скрылись, разогнанныя взывавшимъ вѣтромъ; погода расчистилась, и въ воздухѣ чувствовалась та особенная, сухая свѣжесть, которая, наполняя сердце какимъ-то бодрымъ ощущеньемъ, почти всегда предсказываетъ мирный и ясный вечеръ послѣ ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, какъ вдругъ глаза мои остановились на неподвижномъ человѣческомъ образѣ. Я взглянулъ: была молодая крестьянская дѣвушка. Она сидѣла въ двадцати шагахъ отъ меня, задумчиво потупивъ голову и уронивъ обѣ руки на колѣни; на одной изъ нихъ, до половины раскрытой, лежалъ густой пучекъ полевыхъ цвѣтовъ и при каждомъ ея дыханьи тихо скользилъ на вѣтчатую юбку. Чистая бѣлая рубаха, застегнутая

у горла и кистей, ложилась короткими, мягкими складками около ея стана; крупныя желтыя бусы въ два ряда спускались съ шеи на грудь. — Она была очень не дурна собою. Густые бѣлокурые волосы, прекраснаго пепельнаго цвѣта, расходились двумя, тщательно причесанными полукругами изъ-подъ узкой, алой повязки, на-двинутой почти на самый лобъ, бѣлый какъ слоновая кость; остальная часть ея лица едва загорѣла тѣмъ золотымъ загаромъ, который принимаетъ одна тонкая кожа. Я не могъ видѣть ея глазъ — она ихъ не поднимала; но я ясно видѣлъ ея тонкія, высокія брови, ея длинныя рѣсницы; онѣ были влажны, и на одной изъ ея щекъ блисталъ на солнцѣ высохшій слѣдъ слезы, остановившейся у самыхъ губъ, слегка поблѣднѣвшихъ. Вся ея головка была очень мила; даже немного толстый и круглый носъ ее не портилъ. Мнѣ особенно нравилось выраженіе ея лица: такъ оно было просто и внятно, такъ грустно и такъ полно дѣтскаго недоумѣнья передъ собственной грустью. Она видимо ждала кого-то; въ лѣсу что-то слабо хрустнуло: — она тотчасъ подняла голову и оглянулась: въ прозрачной тѣни быстро блеснули передо мной ея глаза, большіе, свѣтлые и пугливые, какъ у

лани. Нѣсколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытыхъ глазъ съ мѣста, гдѣ раздался слабый звукъ, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цвѣты. Вѣки ея покраснѣли, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась изъ-подъ густыхъ рѣсницъ, останавливаясь и лучисто сверкая на щекѣ. Такъ прошло довольно много времени; бѣдная дѣвушка не шевелилась, — лишь изрѣдка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала... Снова что-то зашумѣло по лѣсу, — она встрепелась. Шумъ не переставалъ, становился явственнѣй, приближался слышались наконецъ рѣшительные, проворные шаги. Она выпрямилась и какъ будто оробѣла; ея внимательный взоръ задрожалъ, зажегся ожиданьемъ. Севозъ чашу быстро замелькала фигура мужчины. Она вглядѣлась, вспыхнула вдругъ, радостно и счастливо улыбнулась, хотѣла было встать и тотчасъ опять поникла вся, поблѣднѣла, смутилась, — и только тогда подняла трепещущій, почти молящій взглядъ на пришедшаго человѣка, когда тотъ остановился рядомъ съ ней.

Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на него
Записки охотника. II.

изъ своей засады. Признаюсь, онъ не произвелъ на меня пріятнаго впечатлѣнія. Это былъ, по всѣмъ признакамъ, избалованный камердинеръ молодого, богатаго барина. Его одежда изобличала притязаніе на вкусъ и щегольскую небрежность: на немъ было коротенькое пальто бронзоваго цвѣта, вѣроятно, съ барскаго плеча, застегнутый до верху, розовый галстучекъ съ лиловыми кончиками и бархатный, черный картузъ съ золотымъ галуномъ, надвинутый на самыя брови. Круглые воротнички его бѣлой рубашки немилосердо подпирали ему уши и рѣзали щеки, а накрахмаленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до красныхъ и кривыхъ пальцевъ, украшенныхъ серебряными и золотыми кольцами съ незабудками изъ бирюзы. Лицо его, румяное, свѣжее и нахальное, принадлежало къ числу лицъ, которыя, сколько я могъ замѣтить, почти всегда возмущаютъ мужчинъ и, къ сожалѣнію, очень часто нравятся женщинамъ. Онъ видимо старался придать своимъ грубоватымъ чертамъ выраженіе презрительное и скупающее; безпрестанно шурилъ свои и безъ того крошечные, молочно-сѣрые глазки, морщился, опускалъ углы губъ, принужденно зѣвалъ и съ небрежной, хотя не совсѣмъ ловкой развязностью

то поправлялъ рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипалъ желтые волосики, торчавшіе на толстой верхней губѣ, — словомъ, ломался нестерпимо. Началъ онъ ломаться какъ только увидалъ молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистымъ шагомъ подошелъ онъ къ ней, постоялъ, подернулъ плечами, засунулъ обѣ руки въ карманы пальто и, едва едва удостоивъ бѣдную дѣвушку бѣглымъ и равнодушнымъ взглядомъ, опустилсѣ на землю.

— А что, началъ онъ, продолжая глядѣть куда-то въ сторону, качая ногою и зѣвая: — давно ты здѣсь?

Дѣвушка не могла тотчасъ ему отвѣчать.

— Давно-съ, Викторъ Александрычъ, проговорила она наконецъ едва слышнымъ голосомъ.

— А! (Онъ снялъ картузъ, величественно провелъ рукою по густымъ, туго завитымъ волосамъ, начинавшимся почти у самыхъ бровей и съ достоинствомъ посмотрѣвъ кругомъ, бережно прикрылъ опять свою драгоценную голову). А я было совѣмъ и позабылъ. Притомъ, вишь, дождикъ! (Онъ опять зѣвнулъ). — Дѣла пропасть: за всѣмъ не усмотришь, а тотъ еще бранится. Мы завтра ѣдемъ...

— Завтра? произнесла дѣвушка и устремила на него испуганный взоръ.

— Завтра... Ну, ну, ну, пожалуйста, подхвати: онъ поспѣшно и съ досадой, увидѣвъ, что она затрепетала вся и тихо наклонила голову: — пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпѣть не могу. (И онъ наморщилъ свой тупой носъ.) А то я сейчасъ уйду... — Что за глупость — хныкать!

— Ну, не буду, не буду, торопливо произнесла Акулина, съ усиліемъ глотая слезы. — Такъ вы завтра ѣдете? прибавила она послѣ небольшого молчанья: — когда-то Богъ приведетъ опять увидѣться съ вами, Викторъ Александрычъ?

— Увидимся, увидимся. Не въ будущемъ году — такъ послѣ. Баринъ-то, кажется, въ Петербургъ на службу поступить желаетъ, продолжалъ онъ, выговаривая слова небрежно и нѣсколько въ носъ; а можетъ быть и за границу уѣдемъ.

— Вы меня забудете, Викторъ Александрычъ, печально промолвила Акулина.

— Нѣтъ, отчего-же? Я тебя не забуду: только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца... А я тебя не забуду — нѣ-ѣтъ. (И онъ спокойно потянулся и опять зѣвнулъ).

— Не забывайте меня, Викторъ Александрычъ, продолжала она умоляющимъ голосомъ. — Ужь, кажется, я на что васъ любила, все, кажется, для васъ... Вы говорите, отца мнѣ слушаться, Викторъ Александрычъ... Да какъ-же мнѣ отца-то слушаться...

— А что? (Онъ произнесъ эти два слова какъ-бы изъ желудка, лежа на спинѣ и подложивъ руки подъ голову).

— Да какъ-же, Викторъ Александрычъ, — вы сами знаете...

Она умоляла. Викторъ поигралъ стальной цѣпочкой своихъ часовъ.

— Ты, Акулина, дѣвка не глупая, заговорилъ онъ наконецъ: — потому вздору не говори. Я твоего-же добра желаю, понимаешь ты меня? Конечно, ты неглупа, не совсѣмъ мужичка, такъ сказать; и твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все-же ты безъ образованья, — стало быть, должна слушаться, когда тебѣ говорить.

— Да страшно, Викторъ Александрычъ.

— И-и, какой вздоръ, моя любезная: въ чемъ нашла страхъ! Что это у тебя, прибавилъ онъ пододвинувшись къ ней: — цвѣты?

Цвѣты, уныло отвѣчала Акулина. Это я полевой рябинки нарвала, продолжала она, нѣ-

сколько оживившись: — это для телятъ хорошо. А это вотъ череда — противъ залотухи. Вотъ поглядите-ка какой чудной цвѣтикъ; такого чуднаго цвѣтика я еще отродясь не видала. Вотъ не забуди, а вотъ маткина-душка... А вотъ это я для васъ, прибавила она, доставая изъ подъ желтой рябинки небольшой пучокъ голубенькихъ васильковъ, перевязанныхъ тоненькой травкой: — хотите?

Викторъ лѣнливо протянулъ руку, взялъ, небрежно понюхалъ цвѣты и началъ вертѣть ихъ въ пальцахъ, съ задумчивой важностью посматривая вверхъ. Акулина глядѣла на него... Въ ея грустномъ взорѣ было столько нѣжной преданности, благоговѣйной покорности и любви. Она и боялась-то его и не смѣла плакать, и прощалась съ нимъ и любовалась имъ въ послѣдній разъ; а онъ лежалъ, развалился, какъ султанъ, и съ великодушнымъ терпѣньемъ и снисходительностію сносилъ ея обожанье. Я, признаюсь, съ негодованьемъ разсматривалъ его красное лицо, на которомъ сквозь притворно-презрительное равнодушіе проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбіе. Акулина была такъ хороша въ это мгновеніе: вся душа ея довѣрчиво, страстно раскрывалась передъ нимъ, тянулась, ластилась къ нему, а онъ...

онъ уронилъ васильки на траву, досталъ изъ бокового кармана пальто круглое стеклышко въ бронзовой оправѣ и принялся втискивать его въ глазъ; но, какъ онъ ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой и даже носомъ — стеклышко все вываливалось и падало ему въ руку.

— Что это? спросила наконецъ изумленная Акулина.

— Лорнетъ, отвѣчалъ онъ съ важностью.

— Для чего?

— А чтобъ лучше видѣть.

— Покажите-ка.

Викторъ поморщился, но далъ ей стеклышко.

— Не разбей смотри.

— Небось, не разобью. (Она робко поднесла его къ глазу.) Я ничего не вижу, невинно проговорила она.

— Да ты глазъ-то, глазъ-то зажмурь, возразилъ онъ голосомъ недовольнаго наставника. (Она зажмурила глазъ, передъ которымъ держала стеклышко). Да не тотъ, не тотъ, глупая! Другой! воскликнулъ Викторъ и, не давши ей исправить свою ошибку, отнялъ у ней лорнетъ.

Акулина покраснѣла, чуть-чуть засмѣялась и отвернулась.

— Видно намъ негодится, промолвила она
— Еще-бы!

Вѣдняжка помолчала и глубоко вздохнула.

— Ахъ, Викторъ Александрычъ, какъ тяжело намъ будетъ безъ васъ! сказала она вдругъ.

Викторъ вытеръ лорнетъ полой и положилъ его обратно въ карманъ.

— Да, да, заговорилъ онъ наконецъ: — тебѣ сначала будетъ тяжело, точно. (Онъ снисходительно потрепалъ ее по плечу; она тихонько достала съ своего плеча его руку и робко ее поцаловала.) — Ну, да, да, ты точно дѣвѣа добрая, продолжалъ онъ, самодовольно улыбнувшись: — но что-же дѣлать? Ты сама посуди: намъ съ бариномъ нельзя-же здѣсь остаться; теперь скоро зима, а въ деревнѣ зимой — ты сама знаешь — просто скверность. То-ли дѣло въ Петербургѣ: Тамъ, просто, такія чудеса, какихъ ты, глупая, и во снѣ, просто, себѣ представить не можешь. Домъ какіе, улицы, а общество, образование — просто удивленіе!... (Акулина слушала его съ пожирающимъ вниманіемъ, слегка раскрывъ губы, какъ ребенокъ). Впрочемъ, прибавилъ онъ, заворочавшись на землѣ: — къ-чему я тебѣ это все говорю? Вѣдь, ты этого понять не можешь.

— Отчего-же, Викторъ Александрычъ? Я поняла; я все поняла.

— Вишь, какая!

Акулина потупилась.

— Прежде вы со мной не такъ говаривали, Викторъ Александрычъ, проговорила она, не поднимая-глазъ.

— Прежде?... прежде! Вишь ты — прежде? замѣтилъ онъ, какъ-бы негодуя.

Они оба помолчали.

— Однако мнѣ пора идти, проговорилъ Викторъ и уже оперся было на локоть.

— Подождите еще немножко, умоляющимъ голосомъ произнесла Акулина.

— Чего ждатель?... Вѣдь, ужъ я простился съ тобой.

— Подождите, повторила Акулина.

Викторъ опять улегся и принялся посвистывать. Акулина все не спускала съ него глазъ. Я могъ замѣтить, что она понемногу приходила въ волненье: ея губы подергивало, блѣдныя ея щеки слабо заалѣлись...

— Викторъ Александрычъ, заговорила она, наконецъ, прерывающимся голосомъ: — вамъ грѣшно... вамъ грѣшно, Викторъ Александрычъ: ей-Богу!

— Что такое грѣшно? спросилъ онъ, нахмуривъ брови, и слегка приподнявъ и повернуль къ ней голову.

— Грѣшно, Викторъ Александрычъ. Хотѣ-бы доброе словечко мнѣ сказали на прощанье; хотѣ-бы словечко мнѣ сказали, горемычной сиротинушкѣ...

— Да что я тебѣ скажу?

— Я не знаю; вы это лучше знаете, Викторъ Александрычъ. Вотъ вы ѣдете, и хотѣ-бы словечко... Чѣмъ я заслужила?

— Какая-же ты странная! что-жь я могу?

— Хотѣ-бы словечко...

— Ну, зарядила одно и то же, промолвилъ онъ съ досадою и всталъ.

— Не сердитесь, Викторъ Александрычъ, поспѣшно прибавила она, едва сдерживая слезы.

— Я не сержусь, а только ты глупа... Чего ты хочешь? Вѣдь, я на тебѣ жениться не могу? вѣдь не могу? Ну, такъ чего-жь ты хочешь? чего? (Онъ уткнулся лицомъ, какъ-бы ожидая отвѣта, и растопырилъ пальцы).

— Я ничего... ничего не хочу, отвѣчала она, заикаясь и едва осмѣливаясь простирать къ нему трепещущія руки: — а такъ хотѣ-бы словечко, на прощаньи...

И слезы полились у ней ручьемъ.

— Ну такъ и есть, пошла плакать, хладно-вровно промолвилъ Викторъ, надвигая сзади картузъ на глаза.

— Я ничего не хочу, продолжала она, всхли-вивая и закрывъ лицо обѣими руками; — но каково-же мнѣ теперь въ семьѣ, каково-же мнѣ? — и что-же со мной будетъ, что станетъ со мной, горемычной? За немилаго выдадутъ сиротиночку... Бѣдная моя головушка!

— Припѣвай, припѣвай, въ полголоса пробормоталъ Викторъ, переминаясь на мѣстѣ.

— А онѣ хоть-бы словечко, хоть-бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я...

Внезапныя, надрывающія грудь рыданья не дали ей докончить рѣчи — она повалилась лицомъ на траву и горько, горько заплакала... Все ея тѣло судорожно волновалось, затылокъ такъ и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло наконецъ потокомъ. Викторъ постоялъ надъ ней, постоялъ, пожалъ плечами, повернулся и ушелъ большими шагами.

Прошло нѣсколько мгновений... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотѣла-было бѣжать за нимъ, но ноги у ней подкосились — она упала на

колѣни... Я не выдержалъ и бросился къ ней; но едва успѣла она взглянуть въ меня, какъ откуда взялись силы — она съ слабымъ крикомъ поднялась и исчезла за деревьями, оставивъ разбросанные цвѣты на землѣ.

Я постоялъ, поднялъ пучокъ васильковъ и вышелъ изъ рощи, въ поле. Солнце стояло низко на блѣдно-ясномъ небѣ; лучи его тоже какъ будто поблекли и похолодѣли: они не сіяли, они разливались ровнымъ, почти водянистымъ свѣтомъ. До вечера оставалось не болѣе получаса, а заря едва, едва зажигалась. Порывистый вѣтеръ быстро мчался мнѣ на-встрѣчу черезъ желтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь передъ нимъ, стремились мимо, черезъ дорогу, вдоль опушки, маленькіе, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стѣною въ поле, вся дрожала и сверкала мелкимъ сверканьемъ, четко, но не ярко; на красноватой травѣ, на былинкахъ, на соломенкахъ, всюду блестѣли и волновались безчисленныя нити осеннихъ паутинъ. Я остановился... Мнѣ стало грустно; сквозь невеселую, хотя свѣжую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страхъ недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и рѣзко разсѣкая воздухъ крылами, пролетѣлъ

осторожный воронъ, повернулъ голову, посмотрѣлъ на меня съ боку, взмылъ, и отрывисто каркая, скрылся за лѣсомъ; большое стадо голубей рѣзво пронеслось съ гумна и, внезапно закружившись столбомъ, хлопотливо разсѣлось по полю — признакъ осени! Кто-то проѣхалъ за обнаженнымъ холмомъ, громко стуча пустой телѣгой...

Я вернулся домой; но образъ бѣдной Акулины долго не выходилъ изъ моей головы и васильки ея, давно увядшіе, до сихъ поръ хранятся у меня...

ГАМЛЕТЪ ЩИГРОВСКАГО УЪЗДА.

На одной изъ моихъ поѣздокъ получилъ я приглашеніе отобѣдать у богатаго помѣщика и охотника, Александра Михайлыча Г***. Его село находилось верстахъ въ пяти отъ небольшой деревеньки, гдѣ я на ту пору поселился. Я надѣлъ фракъ, безъ котораго не совѣтую никому выѣзжать даже на охоту, и отправился къ Александру Михайлычу. Обѣдъ былъ назначенъ къ шести часамъ; я пріѣхалъ въ пять и засталъ уже великое множество дворянъ въ мундирахъ, въ партикулярныхъ платьяхъ и другихъ, менѣе опредѣлительныхъ, одеждахъ. Хозяинъ встрѣтилъ меня ласково, но тотчасъ-же побѣжалъ въ офиціантскую. Онъ ожидалъ важнаго сановника и чувствовалъ нѣкоторое волненіе, вовсе несообразное съ его независимымъ положеніемъ въ свѣтѣ и богатствомъ. Александръ Михайлычъ

никогда женатымъ не былъ и не любилъ женщинъ; общество у него собиралось холостое. Онъ жилъ на большую ногу, увеличилъ и отдѣлалъ дѣдовскія хоромы великолѣпно, выписывалъ ежегодно изъ Москвы тысячъ на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшимъ уваженіемъ. Александръ Михайлычъ давнымъ-давно вышелъ въ отставку и никакихъ почестей не добивался.... Что-же заставляло его напрашиваться на посѣщеніе сановнаго гостя и волноваться съ самаго утра въ день торжественнаго обѣда? Это останется покрытымъ мракомъ неизвѣстности, какъ говаривалъ одинъ мой знакомый стряпчій, когда его спрашивали: беретъ-ли онъ взятки съ добрыхотныхъ дателей.

Разставшись съ хозяиномъ, я началъ расхаживать по комнатамъ. Почти всѣ гости были мнѣ совершенно незнакомы; человѣкъ двадцать уже сидѣло за карточными столами. Въ числѣ этихъ любителей преферанса было: два военныхъ съ благородными, но слегка изношенными лицами, нѣсколько статскихъ особъ, въ тѣсныхъ, высокихъ галстукахъ и съ висячими, крашенными усами, какіе только бываютъ у людей рѣшительныхъ, но благонамѣренныхъ (эти благонамѣренные люди съ важностью подбирали карты и, не по-

варачивая головы, вскидывали съ боку глазами на подходившихъ); пять или шесть уѣздныхъ чиновниковъ съ круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно неподвижными ножками (эти господа говорили мягкимъ голосомъ, кротко улыбались на всѣ стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротивъ, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкій, весьма учтивый и приличный скрипъ). Прочіе дворяне сидѣли на диванахъ, кучками стояли въ дверяхъ и подлѣ оконъ; одинъ, уже немолодой, но женоподобный по наружности помѣщикъ, стоялъ въ уголку, вздрагивалъ, краснѣлъ и съ замѣшательствомъ вертѣлъ у себя на желудкѣ печаткою своихъ часовъ, хотя никто не обращалъ на него вниманія; иные господа, въ круглыхъ фракахъ и клѣтчатыхъ панталонахъ работы московскаго портнаго, вѣчно-цѣховаго мастера Өирса Ключина, разсуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поварачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человекъ лѣтъ двадцати, подслѣповатый и бѣлокурый, съ ногъ до головы одѣтый въ черную одежду, видимо робѣлъ, но язвительно улыбался...

Однако я начиналъ нѣсколько скучать, какъ вдругъ ко мнѣ присоединился нѣкто Войницынъ, недоучившійся молодой человѣкъ, проживавшій въ домѣ Александра Михайлыча, въ качествѣ... мудрено сказать, въ какомъ именно качествѣ. Онъ стрѣлялъ отлично и умѣлъ дресировать собакъ. Я его знавалъ еще въ Москвѣ. Онъ принадлежалъ къ числу молодыхъ людей, которые, бывало, на всякомъ экзаменѣ „играли столбняка“, то-есть, не отвѣчали ни слова на вопросы профессора. Этихъ господъ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дѣла давно минувшихъ дней, какъ изволите видѣть.) Вотъ какъ это дѣлалось: вызывали, на-примѣръ, Войницына — Войницынъ, который до того времени неподвижно и прямо сидѣлъ на своей лавкѣ, съ ногъ до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругомъ глазами, — вставалъ, торопливо застегивалъ свой вицмундиръ до верху и пробирался бокомъ къ экзаменаторскому столу. — „Извольте взять билетъ“, съ пріятностью говорилъ ему профессоръ. Войницынъ протягивалъ руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетовъ. — „Да не извольте выбирать“, замѣчалъ дребезжащимъ голосомъ какой-нибудь по-

сторонній, но раздражительный старичокъ, профессоръ изъ другого факультета, внезапно возненавидѣвшій несчастнаго бакенбардиста. Войницынъ покорялся своей участи, бралъ билетъ, показывалъ номеръ и шелъ садиться къ окну, пока предшественникъ его отвѣчалъ на свой вопросъ. У окна Войницынъ не спускалъ глазъ съ билета, развѣ только для того, чтобы по прежнему медленно посмотрѣть кругомъ, а впрочемъ, ни шевелился ни однимъ членомъ. Вотъ однако предшественникъ его кончилъ, говорятъ ему: „хорошо, ступайте“, или даже: „хорошо-съ, очень хорошо-съ“, смотря по его способностямъ. Вотъ вызываютъ Войницына, — Войницынъ встаетъ и твердымъ шагомъ приближается къ столу. — „Прочтите билетъ“, говорятъ ему. Войницынъ подноситъ обѣими руками билетъ къ самому своему носу, медленно читаетъ и медленно опускаетъ руки. — „Ну-съ, извольте отвѣчать“, лѣниво произноситъ тотъ-же профессоръ, закидывая туловище назадъ и скрепя на груди руки. Воцаряется гробовое молчаніе, — „Что-же вы?“ Войницынъ молчитъ. Посторонняго старичка начинаетъ дергать. — „Да скажите-же что-нибудь“. Молчитъ мой Войницынъ, словно замеръ. Стриженный его затылокъ

круто и неподвижно торчитъ на-встрѣчу любопытнымъ взорамъ всѣхъ товарищей. У посторонняго старичка глаза готовы выскочить: онъ окончательно ненавидитъ Войницына. — „Однакожь это странно“, замѣчаетъ другой экзаменаторъ: — „что-жь вы, какъ нѣмой, стоите? ну, не знаете что-ли? такъ такъ и скажите“. — „Позвольте другой билетъ взять“, глухо произноситъ несчастный. Профессора переглядываются. — „Ну, извольте“, махнувъ рукой отвѣчаетъ главный экзаменаторъ. Войницынъ снова беретъ билетъ, снова идетъ къ окну, снова возвращается къ столу и снова молчитъ, какъ убитый. Посторонній старичокъ въ состояніи съѣсть его живаго. Наконецъ, его прогоняютъ и ставить ему ноль. Вы думаете: теперь онъ, по крайней мѣрѣ, уйдетъ? какъ-бы не такъ! Онъ возвращается на свое мѣсто, такъ-же неподвижно сидитъ до конца экзамена, а уходя восклицаетъ: „ну, баня! экая задача!“ — И ходитъ онъ цѣлый тотъ день по Москвѣ, изрѣдка хватаясь за голову и горько проклиная свою безталанную участь. За книгу онъ, разумѣется, не берется, и на другое утро таже повторяется исторія.

Вотъ этотъ-то Войницынъ присосѣдился ко мнѣ. Мы съ нимъ поговорили о Москвѣ, объ охотѣ.

— Не хотите-ли, шепнулъ онъ мнѣ вдругъ: я познакомлю васъ съ первымъ здѣшнимъ острякомъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

Войницынъ подвелъ меня къ человѣку маленькаго роста, съ высокимъ хохломъ и усами, въ коричневомъ фракѣ и пестромъ галстухѣ. Его желчныя, подвижныя черты, дѣйствительно дышали умомъ и злостью. Бѣглая, ѣдкая улыбка безпрестанно кривила его губы; черныя, прищуренныя глазки дерзко выглядывали изъ-подъ неровныхъ рѣсницъ. Подлѣ него стоялъ помѣщикъ, широкій; мягкій, сладкій — настоящій сахаръ-медовичъ и — кривой. Онъ заранѣе смѣялся островамъ маленькаго человѣка и словно таялъ отъ удовольствія. Войницынъ представилъ меня остряку, котораго звали Петромъ Петровичемъ Лупихинымъ. Мы познакомились, обмѣнялись первыми привѣтствіями.

— А позвольте представить вамъ моего лучшаго пріятеля, заговорилъ вдругъ Лупихинъ рѣзкимъ голосомъ, схвативъ сладкаго помѣщика за руку. — Да не упирайтесь-же, Кирила Селифанычъ, прибавилъ онъ: — васъ не укусятъ. Вотъ-съ, продолжалъ онъ, между тѣмъ, какъ смущенный Кирила Селифанычъ, такъ неловко

раскланивался, какъ-будто у него отвалился животъ: — вотъ-съ, рекомендую-съ, превосходный дворянинъ. Пользовался отличнымъ здоровьемъ до пятидесяти-лѣтняго возраста, да вдругъ вздумалъ лѣчить себѣ глаза, въ слѣдствіе чего и окривелъ. Съ тѣхъ поръ лѣчить своихъ крестьянъ съ таковымъ-же успѣхомъ... Ну, а они, разумѣется, съ таковою же преданностію...

— Вѣдь, эдакой, пробормоталъ Кирила Селифанъ и засмѣялся.

— Договаривайте, другъ мой, эхъ, договаривайте, подхватилъ Лупихинъ. — Вѣдь, васъ, чего добраго, въ судьи могутъ избрать, и выберутъ, посмотрите. Ну, за васъ, конечно, будутъ думать засѣдатели, положимъ, да, вѣдь, надобно-жъ на всякій случай, хотъ чужую-то мысль умѣть выговорить. Неравно заѣдетъ губернаторъ — спросить: отъ чего судья заикается? Ну, положимъ, скажутъ: параличъ приключился, такъ бросьте ему, скажетъ, кровь. А оно въ вашемъ положеніи, согласитесь сами, неприлично.

Сладкій помѣщикъ такъ и покатился.

— Вѣдь, вишь, смѣется, продолжалъ Лупихинъ, злобно глядя на колыхающійся животъ Кирилы Селифанъча. — И отъ чего ему не

смѣяться? прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — сытъ, здоровъ, дѣтей нѣтъ, мужики не заложены — онъ-же ихъ лѣчитъ — жена съ придурью. (Кирила Селифанычъ немножко отвернулся въ сторону, будто не разслыхалъ, и все продолжалъ хохотать.) Смѣюсь-же я, а у меня жена съ землемѣромъ убѣжала. (Онъ оскалился.) А вы этого не знали? Какже, какже! Такъ-таки взяла да и убѣжала и письмо мнѣ оставила: любезный, дескать, Петръ Петровичъ, извини, увлеченная страстью, удаляюсь съ другомъ моего сердца... А землемѣръ только тѣмъ и взялъ, что не стригъ ногтей да панталоны носилъ въ обтяжку. Вы удивляетесь? Вотъ, дескать, откровенный человѣкъ... И, Боже мой! нашъ братъ степнякъ такъ правду матку и рѣжетъ. Однако отойдемте-ка въ сторону... Что тамъ подлѣ будущаго судьи стоять-то...

Онъ взялъ меня подъ руку и мы отошли къ огню.

— Я слыву здѣсь за остряка, сказалъ онъ мнѣ въ теченіи разговора: — вы этому не вѣрьте. Я просто озлобленный человѣкъ и ругаюсь въ слухъ; отъ того я такъ и развязенъ. И зачѣмъ мнѣ церемониться, въ самомъ дѣлѣ? Я ничье мнѣніе въ грошъ не ставлю и ничего

не добиваюсь; я золь, — что-жъ такое? Злому человѣку, покрайней мѣрѣ, ума не нужно. А какъ оно освѣжительно, вы не повѣрите... Ну, вотъ на-примѣръ, ну вотъ посмотрите на нашего хозяина! Ну изъ чего онъ бѣгаетъ, помилуйте, — то и дѣло на часы смотреть, улыбается, потѣетъ, важный видъ принимаетъ, насъ съ голоду морить? Эка не видалъ сановное лицо! Вотъ, вотъ, опять побѣждалъ — заковылялъ да-же, посмотрите.

И Лупихинъ визгливо засмѣялся.

— Одна бѣда, барынь нѣту, продолжалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ: — холостой обѣдъ, — а то, вотъ гдѣ нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите, воскликнулъ онъ вдругъ: — идетъ Князь Козельскій — вонъ этотъ высокій мужчина, съ бородой, въ желтыхъ перчаткахъ. Сейчасъ видно, что за границей побывалъ... и всегда такъ поздно пріѣзжаетъ. Глупъ, скажу я вамъ, одинъ, какъ пара купеческихъ лошадей; а изволили-бы вы поглядѣть, какъ снисходительно онъ съ нашимъ братомъ заговариваетъ, какъ великодушно изволить улыбаться на безности нашихъ голодныхъ матушекъ и дочекъ!... И самъ иногда острить, даромъ что проѣздомъ здѣсь живетъ; — за то какъ и острить: ни дать ни взять тупымъ ножомъ би-

човку пилить. Онъ меня терпѣть не можетъ...
Пойду поклонюсь ему.

И Лупихинъ побѣжалъ на-встрѣчу князю.

— А вотъ, мой личный врагъ идетъ, про-
молвилъ онъ, вдругъ вернувшись ко мнѣ: —
видите этого толстаго человѣка, съ бурнымъ ли-
цомъ и щетиной на головѣ, — вонъ, что шапку
сгребъ въ руку, да по стѣнѣ пробирается и на
всѣ стороны озирается, какъ волкъ? Я ему про-
далъ за 400 рублей лошадь, которая стоила 1000,
и это безсловесное существо имѣетъ теперь пол-
ное право презирать меня; а между тѣмъ самъ
до того лишенъ способности соображенія, осо-
бенно утромъ, до чаю, или тотчасъ послѣ обѣда,
что ему скажешь: здравствуйте, а онъ отвѣча-
етъ: чего-съ? — А вотъ, генералъ идетъ, про-
должалъ Лупихинъ: — штатскій генералъ въ
отставкѣ, раззоренный генералъ. У него дочь
изъ свекловичнаго сахару и заводъ въ золотухѣ...
Виноватъ не такъ сказалъ... ну, да вы понима-
ете. А! и архитекторъ сюда попалъ! Нѣмецъ,
а съ усами, и дѣла своего не знаетъ, — чудеса!...
А впрочемъ, на что ему и знать свое дѣло-то;
лишь-бы взятки бралъ, да колонны, столбовъ,
то-есть, побольше ставилъ для нашихъ столбо-
выхъ дворянъ.

Лупихинъ опять захохоталъ... Но вдругъ тревожное волненіе распространилось по всему дому. Сановникъ пріѣхалъ. Хозяинъ такъ и хлынулъ въ переднюю. За нимъ устремились нѣсколько приверженныхъ домочадцевъ и усердныхъ гостей... Шумный разговоръ превратился въ мягкій и пріятный говоръ, подобный весеннему жужжанью пчелъ въ родимыхъ ульяхъ. Одна неугомонная оса — Лупихинъ и великолѣпный трутень — Козельскій не понизили голоса... И вотъ, вошла наконецъ матка — вошелъ сановникъ. Сердца понеслись къ нему на встрѣчу, сидяція туловища приподнялись; даже помѣщикъ, дешево купившій у Лупихина лошадь, даже тотъ помѣщикъ уткнулъ себѣ подбородокъ въ грудь. Сановникъ поддержалъ свое достоинство, какъ нельзя лучше: покачивая головой назадъ, будто кланяясь, онъ выговорилъ нѣсколько одобрительныхъ словъ, изъ которыхъ каждое начиналось буквою а, произнесенною протяжно и въ носъ, — съ негодованіемъ, доходившимъ до голода, посмотрѣлъ на бороду князя Козельскаго, и подалъ раззоренному штатскому генералу съ заводомъ и дочерью, указательный палецъ лѣвой руки. Черезъ нѣсколько минутъ, въ теченіи которыхъ сановникъ успѣлъ замѣтить

два раза, что онъ очень радъ, что не опоздалъ къ обѣду, все общество отправилось въ столовую, тузами впередъ.

Нужно-ли рассказывать читателю, какъ посадили сановника на первомъ мѣстѣ между штатскимъ генераломъ и губернскимъ предводителемъ, человѣкомъ съ свободнымъ и достойнымъ выраженіемъ лица, совершенно соотвѣтствовавшимъ его накрахмаленной манишкѣ, необъятному жилету и круглой табакеркѣ съ французскимъ табакомъ, — какъ хозяинъ хлопоталъ, бѣгалъ, сутился, подчивалъ гостей, мимоходомъ улыбался спинѣ сановника и, стоя въ углу, какъ школьникъ, наскоро перехватывалъ тарелочку супу, или кусокъ говядины, — какъ дворецкій подаль рыбу въ полтора аршина длины и съ букетомъ во рту, — какъ слуги, въ ливреяхъ, суровые, на видъ, угрюмо приставали къ каждому дворянину то съ малагой, то съ дрей-матерой, и какъ почти всѣ дворяне, особенно пожилые, словно не хотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмѣ за рюмкой, — какъ, наконецъ, захлопали бутылки шампанскаго, и начали провозглашать заздравные тосты: все это, вѣроятно, слишкомъ извѣстно читателю. Но особенно замѣчательнымъ показался мнѣ анекдотъ, раз-

сказанный самимъ сановникомъ среди всеобщаго, радостнаго молчанья. Кто-то, кажется, раззоренный генераль, человѣкъ ознакомленный съ новѣйшей словесностью, уномянулъ о вліяніи женщинъ вообще на молодыхъ людей въ особеннѣности. — „Да, да,“ подхватилъ сановникъ, „это правда; но молодыхъ людей должно въ строгомъ повиновеніи держать, а то они, пожалуй, отъ всякой юпки съ ума сходятъ.“ (Дѣтски-веселая улыбка промчалась по лицамъ всѣхъ гостей; у одного помѣщика, даже благодарность заиграла во взорѣ.) „Ибо молодые люди глупы“ (Сановникъ, вѣроятно, ради важности, иногда измѣнялъ общепринятія ударенія словъ.) „Вотъ хоть-бы у меня, сынъ Иванъ,“ продолжалъ онъ, „двадцатый годъ всего дураку пошелъ, а онъ вдругъ мнѣ и говоритъ: позвольте, батюшка, жениться. Я ему говорю: дуракъ, послужи сперва... Ну, отчаянье, слезы... но у меня... того... (Слово: того, сановникъ произнесъ болѣе животомъ, чѣмъ губами; помолчалъ и величаво взглянулъ на своего сосѣда-генерала, при чемъ гораздо болѣе поднялъ брови, чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Штатскій генераль пріятно наклонилъ голову нѣсколько набокъ и чрезвычайно быстро заморгаль глазомъ, обращеннымъ къ сановнику). „И

что-жь,“ заговорилъ сановникъ опять, „теперь онъ самъ мнѣ пишетъ, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научилъ... Такъ вотъ какъ надобно поступать.“ — Всѣ гости, разумѣется, вполне согласились съ разскащикомъ, и какъ будто оживились отъ полученнаго удовольствія и наставленія... Послѣ обѣда все общество поднялось и двинулось въ гостинную съ бѣльшимъ, но все-же приличнымъ и словно на этотъ случай разрѣшеннымъ шумомъ... Сѣли за карты.

Кое-какъ дождался я вечера, и, поручивъ своему кучеру заложить мою коляску на другой день въ пять часовъ утра, отправился на покой. Но мнѣ предстояло еще въ теченіи того же самаго дня познакомиться съ однимъ замѣчательнымъ человѣкомъ.

Вслѣдствіе множества наѣхавшихъ гостей, никто не спалъ въ одиночку. Въ небольшой, зеленоватой и сыроватой комнатѣ, куда привелъ меня дворецкій Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздѣтый. Увидѣвъ меня, онъ проворно нырнулъ подъ одеяло, закрылся имъ до самаго носа, повозился немного на рыхломъ пуховикѣ и притихъ, зорко выглядывая изъ-подъ круглой каймы своего бу-мажнаго колпака. Я подошелъ къ другой кро-

вати (ихъ всего было двѣ въ комнатѣ), раздѣлся и легъ въ сырыхъ простыни. Мой сосѣдъ заворочался на своей постели... Я пожелалъ ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Не смотря на всѣ мои старанія, я никакъ не могъ заснуть: безконечной вереницей тянулись другъ за другомъ ненужныя и неясныя мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.

— А вы, кажется, не спите? проговорилъ мой сосѣдъ.

— Какъ видите, отвѣчалъ я. — Да и вамъ не спится?

— Мнѣ никогда не спится.

— Какъ-же такъ?

— Да такъ. Я засыпаю самъ не знаю отъ чего; лежу, лежу, да и засну.

— За чѣмъ-же вы ложитесь въ постель, прежде чѣмъ вамъ спать захочется?

— А что-жь прикажете дѣлать?

Я не отвѣчалъ на вопросъ моего сосѣда.

— Удивляюсь я, продолжалъ онъ послѣ небольшого молчанія: — отчего здѣсь блохъ нѣтъ. Кажется гдѣ-бы имъ и быть?

— Вы словно о нихъ сожалѣете, замѣтилъ я.

— Нѣтъ, не сожалѣю; но я во всемъ люблю послѣдовательность.

„Вотъ какъ, подумаль я: — какія слова употребляетъ.“

Сосѣдъ опять помолчалъ.

— Хотите со мной объ закладъ побиться?
заговорилъ онъ вдругъ довольно громко.

— О чемъ?

Меня мой сосѣдъ начиналъ забавлять.

— Гмъ... о чемъ? А вотъ о чемъ: я увѣренъ, что вы меня принимаете за дурака.

— Помилуйте, пробормоталъ я съ изумленіемъ.

— За степняка, за невѣжку... Сознайтесь...

— Я васъ не имѣю удовольствія знать, возразилъ я. — Почему вы могли заключить.

— Почему, да по одному звуку вашего голоса: вы такъ небрежно мнѣ отвѣчаете... А я совсѣмъ не то, что вы думаете...

— Позвольте...

— Нѣтъ, вы позвольте. Во-первыхъ, я говорю по-французски не хуже васъ, а по-нѣмецки даже лучше; во-вторыхъ, я три года провелъ за-границей: въ одномъ Берлинѣ прожилъ восемь мѣсяцевъ. Я Гегеля изучилъ, милостивый государь, знаю Гете наизусть: сверхъ того, я долго былъ влюбленъ въ дочь германскаго профессора, и женился дома, на чахоточной барыш-

нѣ, лысой, но весьма замѣчательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода; я не степенякъ, какъ вы полагаете... Я тоже заѣденъ рефлексіей, и непосредственнаго нѣтъ во мнѣ ничего.

Я поднялъ голову и съ удвоеннымъ вниманіемъ посмотрѣлъ на чудака. При тускломъ свѣтѣ ночника я едва могъ разглядѣть его черты.

— Вотъ, вы теперь смѣтрите на меня, продолжалъ онъ, поправивъ свой колпакъ, — и, вѣроятно, самихъ себя спрашиваете: какъ-же это я не замѣтилъ его сегодня? Я вамъ скажу, отчего вы меня не замѣтили, — оттого, что я не возвышаю голосъ; оттого, что я прячусь за другихъ, стою за дверьми, ни съ кѣмъ не разговариваю; оттого что дворецкій съ подносомъ, проходя мимо меня, заранѣе возвышаетъ свой локоть въ уровень моей груди... А отчего все это происходитъ? Отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, я бѣденъ, а во-вторыхъ, я смирился... Скажите правду, вѣдь, вы меня не замѣтили?

— Я дѣйствительно не имѣлъ удовольствія...

— Ну да, ну да, перебилъ онъ меня: — я это зналъ.

Онъ приподнялся и скрестилъ руки; длинная

тѣнь его колпака перегнулась со стѣны на потолокъ.

— А признайтесь-ка, прибавилъ онъ, вдругъ взглянувъ на меня съ боку: — я долженъ вамъ казаться большимъ чудакомъ, какъ говорится, оригиналомъ, или, можетъ быть, пожалуй, еще чѣмъ-нибудь похуже: можетъ быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудакомъ?

— Я вамъ опять-таки долженъ повторить, что я васъ не знаю...

Онъ на мгновеніе потупился.

— Почему я съ вами, съ вовсе мнѣ незнакомымъ человѣкомъ, такъ неожиданно разговариваю — Господь, Господь одинъ вѣдаетъ! (Онъ вздохнулъ). Не вслѣдствіе-же родства нашихъ душъ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то-есть эгоисты: ни вамъ до меня, ни мнѣ до васъ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла; не такъ-ли? Но намъ обоимъ не спится... Отчего-жъ не поболтать? Я-же въ ударѣ, а это со мной рѣдко случается. Я, видѣте-ли, робокъ, и робокъ не въ ту силу, что я провинціалъ, не чиновный бѣднякъ, а въ ту силу, что я страшно самолюбивый человѣкъ. Но иногда, подъ вліяніемъ благодатныхъ обстоятельствъ, случайностей, которыхъ я, впрочемъ, ни опредѣлить, ни предвидѣть не въ состояніи,

робость моя исчезаетъ совершенно, какъ вотъ, теперь, на-примѣръ. Теперь поставьте меня лицомъ къ лицу хотъ съ самимъ Далай-Ламой, — я и у него табачку попрошу понюхать. Но можетъ быть вамъ спать хочется?

— Напротивъ, поспѣшно возразилъ я: — мнѣ очень пріятно съ вами разговаривать.

— То-есть я васъ потѣшаю, хотите вы сказать... Тѣмъ лучше... И такъ-съ, доложу вамъ, меня, здѣсь величаютъ оригиналомъ, т. е., величаютъ тѣ, которымъ, случайнымъ образомъ, между прочей дребеденью, прійдетъ и мое имя на языкъ. „Моей судьбою очень никто не озабоченъ.“ Они думаютъ уязвить меня... О, Боже мой! еслибъ они знали... да я именно и гибну оттого, что во мнѣ рѣшительно нѣтъ ничего оригинальнаго, ничего кормѣ такихъ выходовъ, какъ, напримѣръ, мой теперешній разговоръ съ вами; но, вѣдь, эти выходы гроша мѣднаго не стоятъ. Это самый дешевый и самый низменный родъ оригинальности.

Онъ повернулся ко мнѣ лицомъ и взмахнулъ руками.

— Милостивый государь! воскликнулъ онъ: я того мнѣнія, что вообще однимъ оригиналамъ житье на землѣ; они одни имѣютъ право жить.

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre, сказалъ кто-то. — Видѣте-ли, прибавилъ онъ вполголоса: — какъ я чисто выговариваю французскій языкъ. Чтѣ мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна, и чтѣ понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь, — да своего-то особеннаго, собственнаго, у тебя ничего нѣту! Однимъ складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ на свѣтѣ больше, — да какое кому отъ этого удовольствіе? Нѣтъ, ты будь хоть глупъ, да по своему! Запахъ свой имѣй собственный запахъ, вотъ что! — И не думайте, чтобы требованія мои насчетъ этого запаха были велики... Сохрани Богъ! Такихъ оригиналовъ пропасть: куда ни погляди — оригиналъ; всякій живой человѣкъ оригиналъ, да и-то въ ихъ число не попалъ!

— А между тѣмъ, продолжалъ онъ послѣ большаго молчанія: — въ молодости моеи какія возбуждалъ я ожиданія! какое высокое мнѣніе я самъ питалъ о своей особѣ передъ отъѣздомъ за границу, да и въ первое время послѣ возвращенія! Ну за границей я держалъ ухо востро, все особеннакомъ пробирался, какъ оно и слѣдуетъ нашему брату, который все смекаетъ себѣ, смекаетъ, а подѣ конецъ, смотришь — ни аза не смекнулъ!

Оригиналъ, оригиналъ! подхватилъ онъ, съ укоризной качая головой... Зовутъ меня оригиналомъ... а на дѣлѣ-то оказывается, что нѣтъ на свѣтѣ человѣка менѣе оригинальнаго, чѣмъ вашъ покорнѣйшій слуга. Я, должно быть, и родился-то въ подражаніе другому... Ей-Богу! Живу я тоже словно въ подражаніе разнымъ мною изученнымъ сочинителямъ, въ потѣ лица живу, и учился-то я, и влюбился, и женился, наконецъ, словно не по собственной охотѣ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ, — кто его разберетъ!

Онъ сорвалъ колпакъ съ головы и бросилъ его на постель.

— Хотите, я вамъ расскажу жизнь мою, спросилъ онъ меня отрывистымъ голосомъ: — или лучше, нѣсколько чертъ изъ моей жизни?

— Сдѣлайте одолженіе.

— Или нѣтъ, расскажу-ка я вамъ лучше, какъ я женился. Вѣдь женитьба дѣло важное, пробный камень всего человѣка; въ ней какъ въ зеркалѣ отражается... Да это сравненіе слишкомъ избито... Позвольте, я понюхаю табачку.

Онъ досталъ изъ-подъ подушки табакерку, раскрылъ ее и заговорилъ опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, мпlostивый государь, войдите въ мое

положеніе... Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Чтó общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью? И какъ прикажите примѣнить ее къ нашему быту, да не ее одну, энциклопедію, а вообще нѣмецкую философію... скажу болѣе — науку?

Онъ подпрыгнулъ на постели и забормоталъ вполголоса, злобно стиснувъ зубы:

— А, вотъ какъ, вотъ какъ!... Таеъ зачѣмъ же ты таскался за граицу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома, да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ? Ты-бы и потребности ея узналъ и будущность, и насчетъ своего, такъ сказать, призванія тоже въ ясность-бы пришелъ... Да помилуйте, продолжалъ онъ опять, перемѣнивъ голосъ, словно оправдываясь и робѣя: — гдѣ же нашему брату изучать-то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я-бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то, — да молчитъ она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ; а мнѣ это не подѣ силу: мнѣ вы подайте выводъ, заключенье мнѣ представьте... Заключенье, — вотъ тебѣ говорить, и заключенье: послушай-ка нашихъ московскихъ, —

не соловьи, что-ли? — Да въ томъ-то и бѣда, что они курскими соловьями свищутъ, а не по людскому говорятъ... Вотъ я подумалъ — вѣдь, наука-то, кажись, вездѣ одна, и истина одна — взялъ да и пустился, съ Богомъ, въ чужую сторону, къ нехристямъ... Что прикажите! — молодость, гордость обуяла. Не хотѣлось, знаете, до времени заплыть жиромъ, хотъ оно, говорятъ, и здорово. Да, впрочемъ, кому природа не дала мяса, — не видать тому у себя на тѣлѣ и жиру!

— Однако, прибавилъ онъ, подумавъ немного: — я, кажется, обѣщалъ вамъ рассказать, какимъ образомъ я женился. Слушайте-же. Во-первыхъ доложу вамъ, что жены моей уже болѣе на свѣтѣ не имѣется, во-вторыхъ... а во-вторыхъ, я вижу, что мнѣ придется рассказать вамъ мою молодость, а то вы ничего не поймете... Вѣдь, вамъ не хочется спать?

— Нѣтъ, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка... вонъ въ сосѣдней комнатѣ господинъ Кантагрюхинъ храпитъ какъ неблагогородно. Родился я отъ небогатыхъ родителей — говорю родителей, потому-что, по преданью, кромѣ матери, былъ у меня и отецъ. Я его не помню; сказываютъ,

недалекій былъ человѣкъ, съ большимъ носомъ и веснушками, рыжій и въ одну ноздрю табакъ нюхалъ; въ спальнѣ у матушки висѣлъ его портретъ, въ красномъ мундирѣ съ чернымъ воротникомъ по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сѣчь водили, и матушка моя мнѣ, въ такихъ случаяхъ, всегда на него показывала, приговаривая: онъ-бы еще тебя не такъ. Можете себѣ представить, какъ это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то-есть, по правдѣ сказать, былъ какой-то братишка завалищій, съ англійской-болѣзнью на затылкѣ, да что-то скоро больно умеръ. И зачѣмъ, кажись, англійской-болѣзни забратся Курской губерніи въ Щигровскій уѣздъ? Но дѣло не въ томъ. Воспитаніемъ моимъ занималась матушка со всѣмъ стремительнымъ рвеніемъ степной помѣщицы: занималась она имъ съ самаго великолѣпнаго дня моего рожденія до тѣхъ поръ, пока мнѣ стукнуло шестнадцать лѣтъ... Вы слѣдите за ходомъ моего разсказа?

— Какже, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вотъ, какъ стукнуло мнѣ шестнадцать лѣтъ, матушка моя, ни мало не медля, взяла да прогнала моего французскаго гувернера, нѣмца Филиповича изъ нѣжинскихъ

грековъ; свезла меня въ Москву, записала въ университетъ, да и отдала Всемогущему свою душу оставивъ меня на руки родному дядѣ моему, стряпчему Колтуну-Бабурѣ, птицѣ, не одному Щигровскому уѣзду извѣстной. Родной дядя мой, стряпчій Колтунъ-Бабура, ограбилъ меня, какъ водится, до чиста... Но дѣло опять таки не въ томъ. Въ университетъ вступилъ я — должно отдать справедливость моей родительницѣ — довольно хорошо подготовленный; но недостатокъ оригинальности уже и тогда во мнѣ замѣчался. Дѣтство мое нисколько не отличалось отъ дѣтства множества другихъ юношей: я такъ же глупо и вяло росъ, словно подъ пиринной, такъ-же рано началъ твердить стихи наизусть и киснуть, подъ предлогомъ мечтательной наклонности... къ чему бишь? — да, къ прекрасному... и прочая. Въ университетѣ я не пошелъ другой дорогой: я тотчасъ попалъ въ кружокъ. Тогда времена были другія... Но вы, можетъ быть, не знаете, что такое кружокъ? — Помнится, Шиллеръ сказалъ гдѣ-то:

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,
 Und schrecklich ist des Tieggers Zahn,
 Doch das schrecklichste der Schrecken
 Das ist der Mensch in seinem Wahn!

Онъ, увѣряю васъ, онъ не то хотѣлъ сказать; онъ хотѣлъ сказать: Das ist ein „кружокъ“... in der Stadt Moskau.

— Да что-жь вы находите ужаснаго въ кружкѣ? спросилъ я.

Мой сосѣдъ схватилъ свой колпакъ и надвинулъ его себѣ на носъ.

— Что я нахожу ужаснаго? вскрикнулъ онъ. — А вотъ что: кружокъ — да это гибель всякого самобытнаго развитія; кружокъ это безобразная замѣна общества, женщины жизни; кружокъ... о, да постоитъ, я вамъ скажу, что такое кружокъ! Кружокъ — это лѣнивое и вялое житье вмѣстѣ и рядомъ, которому придаютъ значеніе и видъ разумаго дѣла; кружокъ замѣняетъ разговоръ разсужденіями, приучаетъ къ безплодной болтовнѣ, отвлекаетъ васъ отъ уединенной, благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души. Кружокъ — да это пошлость и скука подъ именемъ братства и дружбы, сцѣпленіе недоразумѣній и притязаній подъ предлогомъ откровенности и участія; въ кружкѣ, благодаря праву каждаго пріятеля, во всякое время и во всякій часъ, запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность това-

рища, ни у кого нѣтъ чистаго, нетронутаго мѣста на душѣ; въ кружкѣ поклоняются пус-тому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носятъ на рукахъ стихотворца, бездарнаго, но съ „затаенными“ мыслями; въ кружкѣ молодые, семнадцатилѣтніе малые хитро и мудрено толкуютъ о женщинахъ и любви, а передъ женщинами молчать, или говорить съ ними словно съ книгой, — да и о чемъ говорить! Въ кружкѣ процвѣтаетъ хитростное краснорѣчіе; въ кружкѣ наблюдаютъ другъ за другомъ не хуже полицейскихъ чиновниковъ... О, кружокъ! ты не кружокъ: ты заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человѣкъ!

— Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вамъ замѣтить, прервалъ я его.

Мой сосѣдъ молча посмотрѣлъ на меня.

— Можетъ быть, Господь меня знаетъ, можетъ быть. Да, вѣдь, нашему брату только одно удовольствіе и осталось — преувеличивать. Вотъ-съ, такимъ-то образомъ прожилъ я четыре года въ Москвѣ. Не въ состояніи я описать вамъ, милостивый государь, какъ скоро, какъ страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, по утру, и словно съ горы на солазкахъ покатишься... Смотришь,

ужь и примчался къ концу; вотъ ужь и вечеръ; вотъ ужь заспанный слуга и натягиваетъ на тебя сюртукъ — одѣнешся и поплетешься къ пріятелю, и давай трубочку курить, пить жидкій чай стаканами да толковать о нѣмецкой философіи, любви, вѣчномъ солнцѣ духа и прочихъ отдаленныхъ предметахъ. Но и тутъ встрѣчалъ я оригинальныхъ, самобытныхъ людей: иной, какъ себя ни ломалъ, какъ ни гнулъ себя въ углу, а все природа брала свое; одинъ я, несчастный, лѣпилъ самого себя словно мягкій воскъ, и жалкая моя природа ни малѣйшаго не оказывала сопротивленія! Между тѣмъ мнѣ стукнуло двадцать одинъ годъ. Я вступилъ во владѣніе своимъ наслѣдствомъ, или, правильнѣе, тою частью своего наслѣдства, которую мой опекунъ заблагоразсудилъ мнѣ оставить; далъ довѣренность на управленіе всѣми вотчинами вольноотпущенному дворовому человѣку Василью Кудряшеву и уѣхалъ за границу, въ Берлинъ. За границей пробылъ я, какъ я уже имѣлъ удовольствіе вамъ донести, три года. И что-жь? И тамъ, и за границей, я остался тѣмъ же неоригинальнымъ существомъ. Во-первыхъ, нечего и говорить, что собственно Европы, европейскаго быта я не узналъ ни на волосъ; я слушалъ нѣ-

мецкихъ профессоровъ и читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ... Вотъ въ чемъ состояла вся разница. Жизнь велъ я уединенную, словно монахъ какой; снюхивался съ отставными поручиками, удрученными, подобно мнѣ, жаждой знанья, весьма, впрочемъ, тугими на пониманіе и не одаренными даромъ слова; якшался съ тупоумными семействами изъ Пензы и другихъ хлѣбородныхъ губерній; таскался по кофейнымъ, читалъ журналы, по вечерамъ ходилъ въ театръ. Съ туземцами знался я мало, разговаривалъ съ ними какъ-то напряженно и никого изъ нихъ у себя не видалъ, исключая двухъ или трехъ навязчивыхъ молодчиковъ еврейскаго происхожденія, которые то-и-дѣло забѣгали ко мнѣ да занимали у меня деньги, — благо der Russe вѣрить. Странная игра случая занесла меня наконецъ въ домъ одного изъ моихъ профессоровъ; а именно, вотъ какъ: я пришелъ къ нему записаться на курсъ, а онъ вдругъ возьми да и пригласи меня къ себѣ на вечеръ. У этого профессора было двѣ дочери, лѣтъ двадцати семи, коренастыя такія — Богъ съ ними — носы такіе великолѣпные, кудри въ завиткахъ и глаза блѣдно-голубые, а руки красныя съ бѣлыми ногтями. Одну звали Линхенъ, другую Минхенъ.

Началъ я ходить къ профессору. Надобно вамъ сказать, что этотъ профессоръ былъ не то, что глупъ, а словно ушибенъ: съ каеэды говорилъ довольно связно, а дома картавилъ и очки все на лбу держалъ; притомъ ученѣйшій былъ человѣкъ... И что-же? Вдругъ мнѣ показалось, что я влюбился въ Линхенъ, — да цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ этакъ все казалось. Разговаривалъ я съ ней, правда, мало, — больше такъ на нее смотрѣлъ; но читалъ ей въ слухъ разныя трогательныя сочиненія, пожималъ ей украдкой руки, а по вечерамъ мечталъ съ ней рядомъ, упорно глядя на луну, а не то просто вверхъ. Притомъ она такъ отлично варила кофе... Кажется, — чего-бы еще? Одно меня смущало: въ самыя, какъ говорится, мгновенія неизъяснимаго блаженства у меня отчего-то все подъ ложечкой сосало, и тоскливая, холодная дрожь пробѣгала по желудку. Я наконецъ не выдержалъ такого счастья и убѣжалъ. Цѣлыхъ два года я провелъ еще послѣ того за границей: былъ въ Италіи, постоялъ въ Римѣ передъ Преображеніемъ, и передъ Венерой во Флоренціи постоялъ; внезапно повергался въ преувеличенный восторгъ, словно злость на меня находила; по вечерамъ пописывалъ стихи, начиналъ дневникъ; словомъ, и

тутъ вель себя какъ всѣ. А между тѣмъ, посмотрите, какъ легко быть оригинальнымъ. Я, на-примѣръ, ничего не смыслю въ живописи и ваяніи... Сказать-бы мнѣ это просто въ слухъ... нѣтъ, какъ можно! Бери чичерона, бѣги смотрѣть фрески...

Онъ опять потупился и опять скинулъ колпакъ.

— Вотъ вернулся я наконецъ на родину, продолжалъ онъ усталымъ голосомъ: — пріѣхалъ въ Москву. Въ Москвѣ удивительная произошла со мною перемѣна. За границей я больше молчалъ, а тутъ вдругъ заговорилъ неожиданно бойко и въ тоже самое время возмечталъ о себѣ Богъ вѣдаетъ что. Нашлись снисходительные люди, которымъ я показался чуть не гениемъ; дамы съ участіемъ выслушивали мои разглагольствованія; но я не сумѣлъ удержаться на высотѣ своей славы. Въ одно прекрасное утро родилась на мой счетъ сплетня (кто ее произвелъ на свѣтъ Божій, не знаю; должно быть какая-нибудь старая дѣва мужескаго пола, — такихъ старыхъ дѣвъ въ Москвѣ пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотѣлъ выско-чить, разорвать прилипчивыя нити, — не тутъ-то было... Я уѣхалъ. Вотъ и тутъ я оказался

вздорнымъ человѣкомъ; мнѣ-бы преспокойно переждать эту напасть, вотъ, какъ выжидаютъ конца крапивной лихорадки, и тѣ-же снисходительные люди снова раскрыли-бы мнѣ свои объятія, тѣже дамы снова улыбнулись бы на мои рѣчи... Да вотъ въ чемъ бѣда: не оригинальный человѣкъ. Добросовѣстность вдругъ, изволите видѣть, во мнѣ проснулась: мнѣ что-то стыдно стало болтать, болтать безъ умолку, болтать — вчера на Арбатѣ, сегодня на Трубѣ, завтра на Сивцевомъ-Вражѣ, и все о томъ-же... Да коли этого требуютъ? Посмотрите-ка на настоящихъ ратоборцевъ на этомъ поприщѣ: имъ это ни почемъ; напротивъ, только этого имъ и нужно иной двадцатый годъ работаетъ языкомъ, и все въ одномъ направленіи... Что значитъ увѣренность въ самомъ себѣ и самолюбіе! И у меня оно было, самолюбіе, да и теперь еще не совсѣмъ угомонилось... Да тѣмъ-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человѣкъ, на серединѣ остановился: природѣ слѣдовало бы гораздо больше самолюбія мнѣ отпустить, либо вовсе его не дать. Но на первыхъ порахъ мнѣ дѣйствительно круто пришлось; притомъ и поѣздка за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихѣ съ молодымъ, но уже

дряблымъ тѣломъ, въ родѣ желе, я жениться не хотѣлъ, и удалился въ себѣ въ деревню. Кажется, прибавилъ мой сосѣдъ, опять взглянувъ на меня съ боку: — я могу преѣхать молчаніемъ первыя впечатлѣнія деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее...

— Можете, можете, возразилъ я.

— Тѣмъ болѣе, продолжалъ рассказчикъ, — что это все вздоръ, по крайней мѣрѣ, что до меня касается. Я въ деревнѣ скучалъ, какъ щенокъ взаперти, хотя, признаюсь, проѣзжая на возвратномъ пути въ первый разъ весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилося сердце отъ смутнаго, сладкаго ожиданія. Но эти смутныя ожиданія, вы сами знаете, никогда не сбываются, а, напротивъ, сбываются другія вещи, которыхъ вовсе не ожидаешь, какъ-то: падежи, недоимки, продажи съ публичнаго торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-какъ со дня на день, при помощи бурмистра Якова, замѣнившаго прежняго управляющаго и оказавшагося въ послѣдствіи времени такимъ-же, если не бѣльшимъ грабителемъ, да сверхъ того отравлявшаго мое существованіе запахомъ своихъ дегтярныхъ сапоговъ, вспомнилъ я однажды объ

одномъ знакомомъ сосѣднемъ семействѣ, состоявшемъ изъ отставной полковницы и двухъ дочерей, велѣлъ заложить дрожки и поѣхалъ къ сосѣдямъ. Этотъ день долженъ на-всегда остаться мнѣ памятнымъ: шесть мѣсяцевъ спустя, женился я на второй дочери полковницы...

Разскащикъ опустилъ голову и поднялъ руки къ небу.

— И между тѣмъ, продолжалъ онъ съ жаромъ: — я бы не желалъ внушить вамъ дурное мнѣніе о покойницѣ. Сохрани Богъ! Это было существо благороднѣйшее, добрѣйшее, существо любящее и способное на всякія жертвы, хотя я долженъ, между нами, сознаться, что, если-бы я не имѣлъ несчастія ея лишиться, я-бы, вѣроятно, не былъ въ состояніи разговаривать сегодня съ вами, ибо еще до сихъ поръ цѣла балка въ грунтовомъ моемъ сараѣ, на которой я неоднократно собирался повѣситься.

— Инымъ грушамъ, началъ онъ опять послѣ небольшого молчанія: — нужно нѣкоторое время полежать подъ землею въ подвалѣ, для того, чтобы войти, какъ говорится, въ настоящій свой вкусъ; моя покойница видно тоже принадлежала къ подобнымъ произведеніямъ природы. Только теперь отдаю я ей полную справедли-

вость. Только теперь, напримѣръ, воспоминанія объ иныхъ вечерахъ, проведенныхъ мною съ ней до свадьбы, не только не возбуждаютъ во мнѣ ни малѣйшей горечи, но, напротивъ, трогаютъ меня чуть не до слезъ. Люди они были небогатые, домъ ихъ, весьма старинной, деревянный, но удобный, стоялъ на горѣ, между заглохшимъ садомъ и заросшимъ дворомъ. Подъ герой текла рѣка и едва виднѣлась сквозь густую листву. Большая терраса вела изъ дому въ садъ; передъ террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами; на каждомъ концѣ клумбы росли двѣ акаціи, еще въ молодости переплетенныя въ видѣ винта покойнымъ хозяиномъ. Немного подальше, въ самой глуши заброшеннаго и одичалаго малинника, стояла бесѣдка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. Съ террасы стеклянная дверь вела въ гостиную; а въ гостиной вотъ что представлялось любопытному взору наблюдателя: по угламъ изразцовыя печи, кисленькое фортепьяно направо, заваленное рукописными нотами, диванъ, обитый полинялымъ голубымъ штофомъ съ бѣловатыми разводами, круглый столъ, двѣ горки съ фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининскаго

времени, на стѣнѣ извѣстный портретъ бѣлокурой дѣвицы съ голубкомъ на груди и закатившимися глазами, на столѣ ваза съ свѣжими розами... Видите, какъ я подробно описываю. Въ этой-то гостиной, на этой-то террасѣ и разыгралась вся траги-комедія моей любви. Сама сосѣдка была злая баба, съ постоянной хрипотой злобы въ горлѣ, притѣснительное и сварливое существо; изъ дочерей одна — Вѣра, ничѣмъ не отличалась отъ обыкновенныхъ уѣздныхъ барышень, другая — Софья, — я въ Софью влюбился. У обѣихъ сестеръ была еще другая комнатка, общая ихъ спальня, съ двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, съ портретами пріятелей и пріятельницъ, рисованныхъ карандашомъ, довольно плохо (между ними отличался одинъ господинъ съ необыкновенно-энергическимъ выраженіемъ лица и еще болѣе энергическою подписью, въ юности своей возбудившій несоразмѣрные ожиданія, а кончившій, какъ всѣ мы — ничѣмъ), съ бюстами Гете и Шиллера, нѣмецкими книгами, высохшими вѣнками и другими предметами, оставленными на память. Но въ эту комнату я ходилъ рѣдко и неохотно: мнѣ тамъ отчего-то дыханіе сдавало. Притомъ — странное дѣло! Софья и

болѣ всего правилась, когда я сидѣлъ къ ней спиной, или еще, пожалуй, когда я думалъ или болѣ мечталъ о ней, особливо вечеромъ, на террасѣ. Я глядѣлъ тогда на зорю, на деревья, на зеленые мелкіе листья, уже потемнѣвшіе, но еще рѣзко отдѣлявшіеся отъ розоваго неба; въ гостиной, за фортепьянами сидѣла Софья и безпрестанно наигрывала какую нибудь любимую, страстно задумчивую фразу изъ Бетговена; злая старуха мирно похрапывала, сидя на диванѣ; въ столовой, залитой потокомъ алаго свѣта, Вѣра хлопотала за чаемъ; самоваръ затѣйливо шипѣлъ, словно чему-то радовался; съ веселымъ трескомъ ломались крендельки, ложечки звонко стучали по чашкамъ; канарейка, немилосердо трещавшая цѣлый день, внезапно утихала и только изрѣдка чирикала, какъ-будто о чемъ-то спрашивала; изъ прозрачнаго, легкаго облачка мимоходомъ падали рѣдкія капли... А я сидѣлъ, сидѣлъ, слушалъ, слушалъ, глядѣлъ, сердце у меня расширялось, и мнѣ опять казалось, что я любилъ. Вотъ, подъ вліяніемъ такого-то вечера я однажды спросилъ у старухи руку ея дочери, и мѣсяца черезъ два женился. Мнѣ казалось, что я ее любилъ... Да и теперь, пора-бы знать, а я, ей-Богу, и теперь не знаю, любилъ-ли я

Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, съ теплымъ сердцемъ; но, Богъ знаетъ отчего, отъ долгаго-ли житья въ деревнѣ, отъ другихъ-ли какихъ причинъ, у ней на днѣ души (если только есть дно души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничѣмъ неможно было излѣчить, да и назвать ее ни она не умѣла, ни я не могъ. О существованіи этой раны я, разумѣется, догадался только послѣ брака. Ужъ я-ли не бился надъ ней: — ничто не помогало! У меня въ дѣтствѣ былъ чижъ, котораго кошка разъ подержала въ лапахъ; его спасли, вылечили, но не исправился мой бѣдный чижъ: дулся, чахъ, пересталъ пѣть... Кончилось тѣмъ, что однажды ночью въ открытую влѣтку забралась къ нему крыса и откусила ему носъ, вслѣдствіе чего онъ наконецъ рѣшился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою въ своихъ лапахъ, только и она такъ-же дулась и чахла, какъ мой несчастный чижъ. Иногда ей самой видимо хотѣлось встрепенуться, взыграть на свѣжемъ воздухѣ, на солнцѣ да на волѣ; попробуетъ — и свернется въ клубочекъ. И, вѣдь, она меня любила: сколько разъ увѣряла меня, что ничего болѣе ей не остается желать, — тыфу, чортъ возьми! а у самой глаза такъ

и меркнуть. Думалъ я, нѣтъ-ли чего въ прошедшемъ? Собралъ справки: ничего не оказалось. Ну вотъ, теперь посудите сами: оригинальный человѣкъ пожалуй-бы плечомъ, можетъ быть вздохнулъ-бы раза два, да и принялся-бы жить по своему; а я, не оригинальное существо, началъ заглядывать на балки. Въ жену мою до того вѣлись всѣ привычки старой дѣвицы — Бетговень, ночныя прогулки, резеда, переписка съ друзьями, альбомы и прочее, — что ко всякому другому образу жизни, особенно къ жизни хозяйки дома, она никакъ привыкнуть не могла; а между тѣмъ смѣшно-же замужней женщинѣ томиться безымянной тоской и пѣть по вечерамъ: „не буди ты ее на зарѣ“.

— Вотъ-съ, такимъ-то образомъ-съ мы блаженствовали три года; на четвертый Софья умерла отъ первыхъ родовъ, и — странное дѣло — мнѣ словно заранѣе сдавалось, что она не будетъ въ состояніи подарить меня дочерью или сыномъ, землю — новымъ обитателемъ. Помню я, какъ ее хоронили. Дѣло было весной. Приходская наша церковь не велика, стара, иконостасъ почернѣлъ, стѣны голыя, кирпичный полъ мѣстами выбитъ; на каждомъ клиросѣ большой старинный образъ. Внесли гробъ, помѣстили на

самой серединѣ, передъ царскими дверями, одѣли полинялымъ покровомъ, поставили кругомъ три подсвѣчника. Служба началась. Дряхлый дьячокъ, съ маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленымъ кушакомъ, печально читалъ передъ налоемъ; священникъ, тоже старый, съ добренькимъ и слѣпенькимъ лицомъ, въ лиловой рясѣ съ желтыми разводами, служилъ за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытыхъ оконъ шевелились и лепетали молодые, свѣжіе листья плакучихъ березъ; со двора несло травянымъ запахомъ; красное пламя восковыхъ свѣчей блѣднѣло въ веселомъ свѣтѣ веселаго дня; воробы такъ и чирикали на всю церковь, и изрѣдка раздавалось подъ куполомъ звонкое восклицаніе влетѣвшей ласточки. Въ золотой пыли солнечнаго луча проворно опускались и подымались русыя головы ея многочисленныхъ мужиковъ, усердно молившихся за покойницу; тонкой, голубоватой струйкой бѣжалъ дымъ изъ отверстій кадила. Я глядѣлъ на мертвое лицо моей жены... Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ея раны: тоже болѣзненное, робкое, нѣмое выраженіе, — ей словно и въ гробу неловко... Горько во мнѣ шевель-

нулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя-же хорошо сдѣлала, что умерла.

У раскащика раскраснѣлись щеки и потускнѣли глаза.

— Отдѣлавшись наконецъ, — заговорилъ онъ опять, — отъ тяжелаго унынья, которое овладѣло мною послѣ смерти моей жены, я вздумалъ было приняться, какъ говорится, за дѣло. Вступилъ въ службу въ губернскомъ городѣ; но въ большихъ комнатахъ казеннаго заведенія у меня голова разбаливалась, глаза тоже плохо дѣйствовали; другія встали подошли причины... я вышелъ въ отставку. Хотѣлъ было съѣздить въ Москву, да, во-первыхъ, денегъ не достало, а во-вторыхъ... я вамъ уже сказывалъ, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдругъ, и не вдругъ. Духомъ-то я уже давно смирился, да головѣ моей все еще не хотѣлось нагнуться. Я приписывалъ скромное пастроеніе моихъ чувствъ и мыслей вліянію деревенской жизни, несчастія... Съ другой стороны, я уже давно замѣчалъ, что почти всѣ мои сосѣди, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостію, заграничной поѣздкой и прочими удобствами моего воспитанія, не только успѣли совершенно ко мнѣ привыкнуть, но даже начали обращаться

со мной не то грубовато, не то съ-кондачка, не дослушивали моихъ разсужденій и, говоря со мной, уже „слово-ерика“ болѣе не употребляли. Я вамъ также забылъ сказать, что въ теченіи перваго года послѣ моего брака я отъ скуки попытался было пуститься въ литературу, и даже послалъ статейку въ журналъ, если не ошибаюсь, повѣсть; но черезъ нѣсколько времени получилъ отъ редактора учтивое письмо, въ которомъ, между прочимъ, было сказано, что мнѣ въ умѣ невозможно отказать, но въ талантъ должно, а что въ литературѣ только талантъ и нуженъ. Сверхъ того дошло до моего свѣденія, что одинъ проѣзжій Москвитинъ, добрыйшій, впрочемъ, юноша, мимоходомъ отозвался обо мнѣ на вечерѣ у губернатора, какъ о чловѣкѣ выдохшемся и пустомъ. Но мое полудобровольное ослѣпленіе все еще продолжалось: не хотѣлось, знаете, самага себя „заушить“; наконецъ, въ одно прекрасное утро я открылъ глаза. Вотъ какъ это случилось. Ко мнѣ заѣхалъ исправникъ съ намѣреніемъ обратить мое вниманіе на провалившійся мостъ въ моихъ владѣніяхъ, котораго мнѣ рѣшительно не на что было починить. Заѣдая рюмку водки кускомъ балыка, этотъ снисходительный блюсти-

тель порядка отечески попенялъ мнѣ за мою неосмотрительность, впрочемъ вошелъ въ мое положеніе и посовѣтовалъ только велѣть мужикамъ накидать навозу, закурилъ трубочку и принялся говорить о предстоящихъ выборахъ. Почетнаго званія губернскаго предводителя въ то время добивался нѣкто Орбассановъ, пустой крикунъ, да еще и взяточникъ въ придачу. Притомъ-же онъ не отличался ни богатствомъ, ни знатностію. Я высказалъ свое мнѣніе на его счетъ, и довольно даже небрежно: я, признаюсь, глядѣлъ на г. Орбассанова свысока. Исправникъ посмотрѣлъ на меня, ласково потрепалъ меня по плечу и добродушно промолвилъ: — „эхъ, Василій Васильичъ, не намъ-бы съ вами о такихъ людяхъ разсуждать: — гдѣ намъ?... Знай сверчокъ свой шестокъ.“ — Да помилуйте, возразилъ я съ досадой, какая-же разница между мною и г. Орбассановымъ? — — Исправникъ вынулъ трубку изо рта, вытирашилъ глаза и такъ и прыснулъ. — „Ну, потѣшникъ“, проговорилъ онъ наконецъ сквозь слезы, „вѣдь, экую штуку выкинулъ... а! каковъ?“ — и до самаго отъѣзда онъ не переставалъ глумиться надо мною, изрѣдка поталкивая меня локтемъ подъ бокъ и говоря мнѣ

уже: ты. Онъ уѣхалъ наконецъ. Этой капли только не доставало: чаша перелилась. Я прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, остановился передъ зеркаломъ, долго, долго смотрѣлъ на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунавъ языкъ, съ горькой насмѣшкой покачалъ головой. Завѣса спала съ глазъ моихъ: я увидалъ ясно, яснѣе чѣмъ лицо свое въ зеркалѣ, какой я былъ пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человѣкъ!

Разскащикъ помолчалъ.

— Въ одной трагедіи Вольтера, уныло продолжалъ онъ: — какой-то баринъ радуется тому, что дошелъ до крайней границы несчастья. Хотя въ судьбѣ моей нѣтъ ничего трагическаго, но я, признаюсь, извѣдалъ нѣчто въ этомъ родѣ. Я узналъ ядовитые восторги холоднаго отчаянія; я испыталъ, какъ сладко, въ теченіи цѣлаго утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклиная день и часъ своего рожденія, — я не могъ смириться разомъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, вы посудите: безденежье меня приковывало къ ненавистой мнѣ деревнѣ; ни хозяйство, ни служба, ни литература — ни что ко мнѣ не пристало; помѣщиковъ я чуждался, книги мнѣ опротивѣли; для водянисто-пухлыхъ и болѣ-

зненно-чувствительныхъ барышень, встряхивающихъ кудрями и лихорадочно твердящихъ слово: жизнь, я не представлялъ ничего занимательнаго съ тѣхъ поръ, какъ пересталъ болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не успѣлъ и не могъ... Я сталъ, что вы думаете? я сталъ таскаться по сосѣдямъ. Словно опьяненный презрѣньемъ къ самому себѣ, я нарочно подвергался всякимъ мелочнымъ униженіямъ. Меня обносили за столомъ, холодно и надмѣнно встрѣчали, наконецъ не замѣчали вовсе; мнѣ не давали даже вмѣшиваться въ общій разговоръ, и я самъ, бывало, нарочно поддакивалъ изъ-за угла какому-нибудь глупѣйшему говоруну, который, во время оно, въ Москвѣ, съ восхищеніемъ облобызаль-бы прахъ ногъ моихъ, край моей шинели... Я даже не позволялъ самому себѣ думать, что я предаюсь горькому удовольствію ироніи... Помилуйте, что за иронія въ одиночку! Вотъ-съ какъ я поступалъ нѣсколько лѣтъ сряду и какъ поступаю еще до сихъ поръ.

— Однако это ни на что не похоже, проворчалъ изъ сосѣдней комнаты заспанный голосъ г. Кантагрюхина: — какой тамъ дуракъ вздумалъ ночью разговаривать?

Разскащикъ проворно нырнулъ подъ одѣяло и, робко выглядывая, погрозилъ мнѣ пальцемъ.

— Тс — с., прошепталъ онъ и, словно извиняясь и кланяясь въ направленіи Кантагрюхинскаго голоса, почтительно промолвилъ: — слушаю-сь, слушаю-сь, извините-сь... Ему позволено спать, ему слѣдуетъ спать, продолжалъ онъ снова шопотомъ: ему должно набраться новыхъ силъ, ну, хоть-бы для того, чтобы съ тѣмъ-же удовольствіемъ покушать завтра. Мы не имѣемъ право его беспокоить. Притомъ-же, я, кажется, вамъ все сказалъ, что хотѣлъ; вѣроятно и вамъ хочется спать. Желаю вамъ доброй ночи.

Разскащикъ съ лихорадочной быстротой отвернулся и закрылъ голову въ подушки.

— Позвольте, покрайней-мѣрѣ, узнать, спросилъ я: — съ кѣмъ я имѣлъ удовольствіе...

Онъ проворно поднялъ голову.

— Нѣтъ, ради Бога, прервалъ онъ меня: — не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у другихъ. Пусть я останусь для васъ неизвѣстнымъ существомъ, пришибеннымъ судьбою Васильемъ Васильевичемъ. Притомъ-же я, какъ человѣкъ неоригинальный, и не заслуживаю особеннаго имени... А ужь если вы непремѣнн

хотите мнѣ дать какую-нибудь кличку, такъ назовите... назовите меня Гамлетомъ Щигровскаго Уѣзда. Такихъ Гамлетовъ во всякомъ уѣздѣ много, но, можетъ быть, вы съ другими не сталкивались... За симъ прощайте.

Онъ опять зарылся въ свой пуховикъ, а на другое утро, когда пришли будить меня, его ужъ не было въ комнатѣ. Онъ уѣхалъ до зари.

ЧЕРТОПХАНОВЪ И НЕДОПЮСКИНЪ.

Въ жаркій лѣтній день возвращался я однажды съ охоты на телѣгѣ; Ермолай дремалъ, сидя возлѣ меня, и клевалъ носомъ. Заснувшія собаки подпрыгивали, словно мертвые, у насъ подъ ногами. Кучеръ то и дѣло сгонялъ кнутомъ оводовъ съ лошадей. Бѣлая пыль легкимъ облакомъ неслась вслѣдъ за телѣгой. Мы въѣхали въ кусты. Дорога стала ухабиستѣе, колеса начали задѣвать за сучья. Ермолай встрепенулся глянулъ кругомъ... „Э!“, заговорилъ онъ: — „да здѣсь должны быть тетерева. Слѣземте-ка.“ Мы остановились и вошли въ „площадь.“ Собака моя натѣнулась на выводокъ. Я выстрѣлилъ, и началъ было заряжать ружье, какъ вдругъ, позади меня, поднялся громкій трескъ и, раздвигая кусты руѣями, подъѣхалъ ко мнѣ верховой. А „па-азвольте узнать,“

заговорилъ онъ надменнымъ голосомъ: — „по какому праву вы здѣсь а-ахотитесь, мюлсвѣй сдартъ?“ Незнакомецъ говорилъ необыкновенно быстро, отрывочно и въ носъ. Я посмотрѣлъ ему въ лицо: отъ роду не видалъ я ничего подобнаго. Вообразите себѣ, любезные читатели, маленькаго человѣка, бѣлокураго, съ краснымъ вздернутымъ носикомъ и длиннѣйшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка съ малиновымъ суконнымъ верхомъ закрывала ему лобъ по самыя брови. Одѣтъ онъ былъ въ желтый, истасканный архалукъ съ черными плюсовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всѣмъ швамъ; черезъ плечо висѣлъ у него рогъ, за поясомъ торчалъ кинжалъ. Чахлая, горбоногая, рыжая лошадь шаталась подъ нимъ, какъ угорѣлая; двѣ борзья собаки, худыя и криволапыя, тутъ-же вѣртѣлись у ней подъ ногами. Лицо, взглядъ, голосъ, каждое движеніе, все существо незнакомца дышало сумазбродной отвагой и гордостью непомѣрной, небывалой; его блѣдно-голубые, стеклянные глаза разбѣгались и косились какъ у пьянаго: онъ закидывалъ голову назадъ, надувалъ щеки, фыркалъ и вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ, словно отъ избытка достоинства — ни

дать ни взять, какъ индѣйскій пѣтухъ. Онъ повторилъ свой вопросъ.

— Я не зналъ, что здѣсь запрещено стрѣлять, отвѣчалъ я.

— Вы здѣсь, милостивый государь, продолжалъ онъ: — на моей землѣ.

— Извольте, я уйду.

— А па-азвольте узнать, возразилъ онъ: — я съ дворяниномъ имѣю честь объясняться?

Я назвалъ себя.

— Въ такомъ случаѣ, извольте охотиться. Я самъ дворянинъ и очень радъ услужить дворянину... А зовутъ меня Чертоп-хановымъ, Пантелеемъ.

Онъ нагнулся, гикнулъ, вытянулъ лошадь по шею; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась въ сторону и отдала одной собакѣ лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопхановъ закипѣлъ, зашипѣлъ, ударилъ лошадь кулакомъ по головѣ между ушами, быстрѣе молніи соскочилъ на земь, осмотрѣлъ лапу у собаки, поплевалъ на рану, пихнулъ ее ногою въ бокъ, чтобы она не пищала, уцѣпился за холку и вдѣлъ ногу въ стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвостъ и бросилась бокомъ въ кусты; онъ за ней на одной ногѣ въ припрыжку, однако нако-

нецъ-таки попалъ въ сѣдло, какъ изступленный завертѣлъ ногойкой, затрубилъ въ рогъ и поскакалъ. Не успѣлъ я еще прійти въ себя отъ неожиданнаго появленія Чертопханова, какъ вдругъ, почти безъ всякаго шума, выѣхалъ изъ кустовъ толстенькій человѣчекъ лѣтъ сорока, на маленькой вороненькой лошаденкѣ. Онъ остановился, снялъ съ головы зеленый, кожаный картузь и тоненькимъ и мягкимъ голосомъ спросилъ меня, не видалъ-ли я верховаго на рыжей лошади? Я отвѣчалъ, что видѣлъ.

— Въ какую сторону они изволили поѣхать? продолжалъ онъ тѣмъ-же голосомъ и не надѣвая картуза.

— Туда-съ.

— Покорнѣйше васъ благодарю-съ.

Онъ чмокнулъ губами, заболталъ ногами по бокамъ лошаденки и поплелся рысцей — трюхи, трюхи, по указанному направленію. Я посмотрѣлъ ему вслѣдъ, пока его рогатый картузь не скрылся за вѣтвями. Этотъ новый незнакомецъ наружностью нисколько не походилъ на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, какъ шаръ, выражало застѣнчивость, добродушіе и кроткое смиреніе; носъ, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличалъ сла-

толюбца. На головѣ его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькія русія косицы; глазки, словно осокой прорѣзан-ные, ласково мигали; сладко улыбались красныя и сочныя губки. На немъ былъ сюртукъ съ стоячимъ воротникомъ и мѣдными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконныя его панталончики высоко вздернулись; надъ желтыми оторочками сапоговъ виднѣлись жирненькія икры.

— Кто это? спросилъ я Ермолая.

— Это? Недопюскинъ, Тихонъ Ивановичъ. У Чертопханова живетъ.

— Чтò онъ, бѣдный человѣкъ?

— Не богатый; да, вѣдь, и у Чертопхановато гроша нѣтъ мѣднаго.

— Такъ за чѣмъ-же онъ у него поселился?

— А, вишь, подружились. Другъ безъ дружки ни куда... Вотъ ужъ подлинно: куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней...

Мы вышли изъ кустовъ; вдругъ подлѣ насъ „затыкали“ двѣ гончія, и матерой бѣлякъ повадилъ по овсамъ, уже довольно высокимъ. Вслѣдъ за нимъ высочили изъ опушки собаки, гончія и борзья, а вслѣдъ за собаками вылетѣлъ самъ Чертопхановъ. Онъ не кричалъ, не тра-

вилъ, не атукалъ: онъ задыхался, захлебывался, изъ разинутаго рта изрѣдка вырывались отрывистые, безсмысленные звуки; онъ мчался выпуча глаза и бѣшено сѣлъ ногойкой несчастную лошадь. Борзья „присѣли“... бѣлякъ присѣлъ, круто повернулъ назадъ и ринулся, мимо Ермолая, въ кусты... Борзья пронеселись. „Бе-е-ги, бе-е-ги!“ съ усиленіемъ, словно косноязычный, залепеталъ замиравшій охотникъ: — „родимый, береги!“ Ермолай выстрѣлилъ... раненый бѣлякъ покотился кубаремъ по гладкой и сухой травѣ, подпрыгнулъ кверху и жалобно закричалъ въ зубахъ разсовавшагося пса. Гончія тотчасъ подвалились.

Турманомъ слетѣлъ Чертопхановъ съ коня, выхватилъ кинжалъ, подбѣжалъ, растопыря ноги, къ собакамъ, съ яростными заклинаніями вырвалъ у нихъ истерзаннаго зайца и, перекосясь всѣмъ лицомъ, погрузилъ ему въ горло кинжалъ по самую рукоятку... погрузилъ и загоготалъ. Тихонъ Иванычъ показался въ опушкѣ. „Го-го-го-го-го-го-го!“ завопилъ вторично Чертопхановъ... „Го-го-го-го,“ спокойно повторилъ его товарищъ.

— А, вѣдь, по-настоящему лѣтомъ охотить-

ся не слѣдуетъ, замѣтилъ я, указывая Чертопханову на измятый овесъ.

— Мое поле, отвѣчалъ, едва дыша, Чертопхановъ.

Онъ отпазончилъ, второчилъ зайца и роздалъ собакамъ лапки.

— За мною зарядъ, любезный, по охотничьимъ правиламъ, проговорилъ онъ, обращаясь къ Ермолаю. — А васъ, милостивый государь, прибавилъ онъ тѣмъ-же отрывистымъ и рѣзкимъ голосомъ: — благодарю.

Онъ сѣлъ на лошадь.

— Па-азвольте узнать... забылъ... имя и фамилію?

Я опять назвалъ себя.

— Очень радъ съ вами познакомиться. Коли случится, милости просимъ къ мнѣ... Да гдѣ же этотъ Оомка, Тихонъ Ивановичъ? съ сердцемъ продолжалъ онъ: — безъ него бѣляка затравили.

— А подъ нимъ лошадь пала, съ улыбкой отвѣчалъ Тихонъ Ивановичъ.

— Какъ пала? Обрассанъ палъ? Пфу, пфить!... Гдѣ онъ, гдѣ?

— Тамъ, за лѣсомъ.

Чертопхановъ ударилъ лошадь ногойкой по мордѣ и поскакалъ сломя-голову. Тихонъ Ива-

ничѣ поклонился мнѣ два раза — за себя и за товарища, и опять поплелся рысцей въ кусты.

Эти два господина сильно возбудили мое любопытство... Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа, столь разнородныя? Я началъ наводить справки. Вотъ что я узналъ.

Чертопхановъ, Пантелей Еремѣичъ, слылъ во всемъ околоткѣ человѣкомъ опаснымъ и сумасброднымъ, гордецомъ и забіякой первой руки. Служилъ онъ весьма недолгое время въ арміи и вышелъ въ отставку „по непріятности“, тѣмъ чиномъ, по поводу котораго распространилось мнѣніе, будто курица не птица. Происходилъ онъ отъ стариннаго дома, нѣкогда богатаго, дѣды его жили пышно, по степному: то-есть принимали званыхъ и незваныхъ гостей, кормили ихъ на-убой, отпускали по четверти овса чужимъ кучерамъ на тройку, держали музыкантовъ, пѣсенниковъ, гаеровъ и собакъ, въ торжественные дни поили народъ виномъ и брагой, по зимамъ ѣздили въ Москву на своихъ, въ тяжелыхъ колымагахъ, а иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ сидѣли безъ гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремѣича досталось имѣніе уже разоренное; онъ въ свою очередь тоже сильно „пожуировалъ“ и, умирая, оставилъ единственному своему на-

слѣднику Пантелею заложенное сельцо Безсоново, съ тридцатью пятью душами мужескаго и семидесятью шестью женскаго пола, да четырнадцать десятинъ съ осьминникомъ неудобной земли въ пустоши Колобродовой, на которыя, впрочемъ, никакихъ крѣпостей въ бумагахъ покойника не оказалось. Покойникъ, должно признаться, престраннымъ образомъ раззорился: „хозяйственный расчетъ“ его сгубилъ. По его понятіямъ, дворянину не слѣдовало зависѣть отъ купцовъ, горожанъ и тому подобныхъ „разбойниковъ“, какъ онъ выражался; онъ завелъ у себя всѣ возможныя ремесла и мастерскія: „и приличнѣе и дешевле“, говаривалъ онъ: „хозяйственный расчетъ!“ Съ этой пагубной мыслью онъ до конца жизни не разстался; она-то его и раззорила. Зато потѣшился! Ни въ одной прихоти себѣ не отказывалъ. Между прочими выдумками соорудилъ онъ однажды, по собственнымъ соображеніямъ, такую огромную, семейственную карету, что, не смотря на дружныя усилія согнанныхъ со всего села крестьянскихъ лошадей, вмѣстѣ съ ихъ владѣльцами, она на первомъ-же косогорѣ завалилась и рассыпалась. Еремѣй Лукичъ (Пантелеева отца звали Еремѣемъ Лукичемъ) приказалъ памятникъ поставить

на косогорѣ, а впрочемъ нисколько не смутился. Вздумалъ онъ также построить церковь, разумѣется, самъ, безъ помощи архитектора. Сжегъ цѣлый лѣсъ на кирпичи, заложилъ фундаментъ огромный, хотѣ-бы подѣ губернскій соборъ, вывелъ стѣны, началъ сводить куполь: куполь упалъ. Онъ опять, — куполь опять обрушился; онъ третій разъ — куполь рухнулъ въ третій разъ. Избы крестьянамъ по новому плану перестроивать началъ, и все изъ хозяйственного расчета; по три двора вмѣстѣ ставилъ треугольникомъ, а на серединѣ воздвигалъ шесть съ раскрашенной скворешницей и флагомъ. Каждый день, бывало, новую затѣю придумывалъ: то изъ лопуха супъ варилъ, то лошадямъ хвосты стригъ на картузы дворовымъ людямъ, то ленъ собирался крапивой замѣнить, свиней кормить грибами... Вычиталъ онъ однажды въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ статейку Харьковскаго помѣщика Хряка-Хруцёрскаго о пользѣ нравственности въ крестьянскомъ быту, и на другой-же день отдалъ приказъ всѣмъ крестьянамъ немедленно выучить статью Харьковскаго помѣщика наизусть. Крестьяне выучили статью; баринъ спросилъ ихъ: понимаютъ-ли они, что тамъ написано? Прикащики отвѣчалъ, что какъ, молъ, не понять! Около

того-же времени повелѣлъ онъ всѣхъ подданныхъ своихъ, для порядка и хозяйственного разсчета, перенумеровать, и каждому на воротникѣ нашить его номеръ. При встрѣчѣ съ бариномъ всякъ, бывало, такъ ужъ и кричить: такой-то номеръ идетъ; а баринъ отвѣчаетъ ласково: ступай себѣ съ Богомъ.

Однако, не смотря на порядокъ и хозяйственный разсчетъ, Еремѣй Лукичъ понемногу пришелъ въ весьма затруднительное положеніе: началъ сперва закладывать свои деревеньки, а тамъ и къ продажѣ приступилъ; послѣднее прадѣдовское гнѣздо, село съ недостроенною церковью, продала уже казна, къ счастью, не при жизни Еремѣя Лукича, — онъ бы не вынесъ этого удара, — а двѣ недѣли послѣ его кончины. Онъ успѣлъ умереть у себя въ домѣ, на своей постели, окруженный своими людьми и подъ надзоромъ своего лекаря; но бѣдному Пантелею досталось одно Безсоново.

Пантелей узналъ о болѣзни отца уже на службѣ, въ самомъ разгарѣ вышеупомянутой „непріятности“. Ему только-что пошелъ девятнадцатый годъ. Съ самаго дѣтства не покидалъ онъ родительскаго дома, и подъ руководствомъ своей матери, добрѣйшей, но совершенно тупо-

умной женщины, Василисы Васильевны, выросъ баловнемъ и барчукомъ. Она одна занималась его воспитаніемъ; Еремѣю Лукичу, погруженному въ свои хозяйственныя соображенія, было не до того. Правда, онъ однажды собственноручно наказалъ своего сына за то, что онъ букву рцы выговаривалъ арцы, но въ тотъ день Еремѣй Лукичъ скорбѣлъ глубоко и тайно: лучшая его собака убилась объ дерево. Впрочемъ, хлопоты Василисы Васильевны на счетъ воспитанія Пантюши ограничивались однимъ мучительнымъ усиліемъ: въ потѣ лица наняла она ему въ гувернеры отставнаго солдата изъ эльзасцевъ, нѣкоего Биркопфа и до самой смерти трепетала какъ листъ передъ нимъ: ну, думала она, коли откажется — пропала я! куда я дѣнусь? гдѣ другаго учителя найду? Ужь и этого насилу, насилу у сосѣдки сманила! И Биркопфъ, какъ человѣкъ смѣтливый, тотчасъ воспользовался исключительностью своего положенія: пилъ мертвую и спалъ съ утра до вечера. По окончаніи „курса наукъ“, Пантелей поступилъ на службу. Василисы Васильевны уже не было на свѣтѣ. Она скончалась за полгода до этого важнаго событія, отъ испуга: ей во снѣ привидѣлся

бѣлый человѣкъ верхомъ на медвѣдѣ. Еремѣй Лукичъ вскорѣ послѣдовалъ за своей половиной.

Пантелей, при первомъ извѣстии о нездоровьи, прискакалъ сломя-голову, однако не засталъ уже родителя въ живыхъ. Но каково было удивленіе почтительнаго сына, когда онъ совершенно неожиданно изъ богатаго наслѣдника превратился въ бѣдняка! Немногіе въ состояніи вынести такой крутой переломъ. Пантелей одичалъ, ожесточился. Изъ человѣка честнаго, щедраго и добраго, хотя взбалмошнаго и горячаго, онъ превратился въ гордеца и забіяку, пересталъ знаться съ сосѣдями, — богатыхъ онъ стыдился, бѣдныхъ гнушался, — и неслыханно-дерзко обращался со всѣми, даже съ установленными властями: я, молъ, столбовой дворянинъ. Разъ чуть-чуть не застрѣлил станового, вошедшаго къ нему въ комнату съ картузомъ на головѣ. Разумѣется, власти, съ своей стороны, ему тоже не спускали и при случаѣ давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка онъ былъ страшная, и со втораго слова предлагалъ рѣзаться на ножахъ. Отъ малѣйшаго возраженія глаза Чертопханова разбѣгались, голосъ прерывался... „А, ва-ва-ва-ва-ва,“ лепеталъ онъ, „пропадай моя голова!...“ и хотъ на стѣну.

Да и сверхъ того, человекъ онъ былъ чистый, не замѣшанный ни въ чемъ. Никто къ нему, разумѣется, не ѣздилъ... И при всемъ томъ душа въ немъ была добрая, даже великая, по своему: несправедливости, притѣсненія онъ вчу-жѣ не выносилъ; за мужичковъ своихъ стоялъ горой. „Какъ?“ говорилъ онъ, неистово стуча по собственной головѣ: — „моихъ трогать, моихъ? Да не будь я Чертопхановъ...“

Тихонъ Ивановичъ Недопюскинъ не могъ, подобно Пантелею Еремѣичу, гордиться своимъ происхожденіемъ. Родитель его вышелъ изъ однодворцевъ, и только сорокалѣтней службой добился дворянства. Г. Недопюскинъ - отецъ принадлежалъ къ числу людей, которыхъ несчастіе преслѣдуетъ съ ожесточеніемъ, похожимъ на личную ненависть. Въ теченіи цѣлыхъ шестидесяти лѣтъ, съ самаго рожденія до самой кончины, бѣднякъ боролся со всѣми нуждами, недугами и бѣдствіями, свойственными маленькимъ людямъ; бился какъ рыба объ ледъ, не доѣдалъ, не досыпалъ, кланялся, хлопоталъ, унывалъ и томился, дрожалъ надъ каждой копѣйкой, дѣйствительно „невинно“ пострадалъ по службѣ и умеръ наконецъ не то на чердакѣ, не то въ погребѣ, не успѣвъ заработать ни себѣ,

ни дѣтямъ куска насущнаго хлѣба. Судьба замотала его, словно зайца на угонкахъ. Человѣкъ онъ былъ добрый и честный, а брать взятки — отъ гривенника до двухъ цѣлковыхъ включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахотная; были и дѣти — въ счастію они всѣ скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванію: „купецкая щеголиха,“ вышедшей, послѣ многихъ печальныхъ и смѣшныхъ приключеній, за отставнаго стряпчаго. Г. Недопюскинъ-отецъ успѣлъ было еще при жизни помѣстить Тихона заштатнымъ чиновникомъ въ канцелярію; но, тотчасъ послѣ смерти родителя, Тихонъ вышелъ въ отставку. Вѣчныя тревоги, мучительная борьба съ холодомъ и голодомъ, тоскливое уныніе матери, хлопотливое отчаяніе отца, грубыя притѣсненія хозяевъ и лавочника, все это ежедневное, непрерывное горе развило въ Тихонѣ робость неизъяснимую: при одномъ видѣ начальника онъ трепеталъ и замиралъ, какъ пойманная птичка. Онъ бросилъ службу. Равнодушная, а можетъ быть и насмѣшливая природа влагаетъ въ людей разныя способности и наклонности, нисколько не соображаясь съ ихъ положеніемъ въ обществѣ и средствами; съ свойственною ей заботливостію и

любовію вылѣпила она изъ Тихона, сына бѣднаго чиновника, существо чувствительное, лѣнливое, мягкое, воспріимчивое — существо, исключительно обращенное къ наслажденію, одаренное чрезвычайно-тонкимъ обоняніемъ и вкусомъ... Вылѣпила, тщательно отдѣлала и — предоставила своему произведенію выростать на кислой капустѣ и тухлой рыбѣ. И вотъ оно выросло, это произведеніе, начало, какъ говорится, „жить.“ Пошла потѣха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина-отца, принялась и за сына: видно разлакомилась. Но съ Тихономъ она поступила иначе: она не мучила его — она имъ забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаянія, не заставляла испытать постыдныхъ мукъ голода, но мыкала имъ по всей Россіи, изъ Великаго-Устюга въ Царево-Кокшайскъ, изъ одной унизительной и смѣшной должности въ другую: то жаловала его въ „мажордомы“ къ сварливой и желчной барынѣ-благодѣтельницаѣ, то помѣщала въ нахлѣбники къ богатому скрягѣ-купцу, то опредѣляла въ начальники домашней канцеляріи лупоглазаго барина, стриженаго на англійскій манеръ, то производила въ полу-дворецкіе, полу-шуты къ псовому охотнику... Словомъ, судьба заставила бѣднаго Тихона выпить по

каплѣ и до капли весь горькій и ядовитый напитокъ подчиненнаго существованія. Послужилъ онъ на своемъ вѣку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скукѣ празднаго барства... Сколько разъ, наединѣ, въ своей комнатѣ, отпущенный наконецъ „съ Богомъ“ натѣшившейся въ сласть ватагою гостей, клялся онъ, весь пылая стыдомъ, съ холодными слезами отчаянія на глазахъ, на другой-же день убѣжать тайкомъ, попытать своего счастія въ городѣ, сыскать себѣ хоть писарское мѣстечко или ужъ за одинъ разъ умереть съ голоду на улицѣ. Да, во-первыхъ, силы Богъ не далъ; во-вторыхъ, робость разбирала, а въ третьихъ, наконецъ, какъ себѣ мѣсто выхлопотать, кого просить? „Не дадутъ,“ шепталь, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели, „не дадутъ!“ И на другой день снова принимался тянуть ляжку. Тѣмъ мучительнѣе было его положеніе, что таже заботливая природа не потрудилась надѣлать его хоть малой долей тѣхъ способностей и дарованій, безъ которыхъ ремесло забавника почти невозможно. Онъ, напримѣръ, не умѣлъ ни плясать до упаду въ медвѣжьей шубѣ навыворотъ, ни балагурить и любезничать въ непосредственномъ сосѣдствѣ расходившихся арапниковъ; выста-

вленный нагишомъ на двадцати-градусный морозъ, онъ иногда простужался, желудокъ его не варилъ ни вина, смѣшаннаго съ чернилами и прочей дрянью, ни крошенныхъ мухоморовъ и сыроѣшекъ съ уксусомъ. Господь вѣдаетъ, чтобы случилось съ Тихономъ, если-бы послѣдній изъ его благодѣтелей, разбогатѣвшій откупщикъ, не вздумалъ въ веселый часъ приписать въ своемъ завѣщаніи: а Зѣзъ (Тихону тожъ) Недопюскину предоставляю въ вѣчное и потомственное владѣніе благопріобрѣтенную мною деревню Безселендѣвку со всѣми угодьями. Нѣсколько дней спустя, благодѣтеля, за стерляжей ухой, прихлопнулъ параличъ. Поднялся гвалтъ, судъ нагрянулъ, опечаталъ имущество, какъ слѣдуетъ. Стѣхались родные; раскрыли завѣщаніе, прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскинъ. Большая часть собранья знала, какую должность Тихонъ Иванычъ занималъ при благодѣтелѣ: оглушительныя восклицанія, насмѣшливыя поздравленія посыпались ему на встрѣчу. „Помѣщикъ! вотъ онъ, новый помѣщикъ!“ кричали прочіе наслѣдники. — „Вотъ ужъ того,“ подхватилъ одинъ, извѣстный шутникъ и острякъ, „вотъ ужъ точно можно сказать... вотъ ужъ дѣйствительно... того... что называется... то-

го... наслѣдникъ." И всѣ такъ и приснули. Недопюскинъ долго не хотѣлъ вѣрить своему счастью. Ему показали завѣщаніе, — онъ покраснѣлъ, зажмурился, началъ отмахиваться руками и зарыдалъ въ три-ручья. Хохоть собранья превратился въ густой и слитный ревъ. Деревня Безселендѣвка состояла всего изъ двадцати двухъ душъ крестьянъ; никто о ней не сожалѣлъ сильно, такъ почему-же, при случаѣ, не потѣшиться? Одинъ только наслѣдникъ изъ Петербурга, важный мужчина съ греческимъ носомъ и благороднымъ выраженіемъ лица, Ростиславъ Адамычъ Штоппель, не вытерпѣлъ, пододвинулся бокомъ къ Недопюскину и надменно глянулъ на него черезъ плечо. „Вы, сколько я могу замѣтить, милостивый государь,“ заговорилъ онъ презрительно-небрежно, „состояли у почтеннаго Ѳедора Ѳедорыча въ должности потѣшнаго, такъ сказать, прислужника?“ Господинъ изъ Петербурга выражался языкомъ нестерпимо чистымъ, бойкимъ и правильнымъ. Разстроенный, взволнованный Недопюскинъ не разслышалъ словъ незнакомаго ему господина, но прочіе тотчасъ всѣ замолкли: острякъ снисходительно улыбнулся. Г. Штоппель потеръ себѣ руки и повторилъ свой вопросъ. Недо-

плюскинъ съ изумленіемъ поднялъ глаза и раскрылъ ротъ. Ростиславъ Адамычъ язвительно прищурился.

— Поздравляю васъ, милостивый государь, поздравляю, продолжалъ онъ: — правда не всякій, можно сказать, согласился-бы такимъ образомъ зарррработывать себѣ насущный хлѣбъ; но *de gustibus non est disputandum*, то-есть, у всякаго свой вкусъ... Не правда-ли? .

Кто-то въ заднихъ рядахъ быстро, но прилично взвизгнулъ отъ удивленія и восторга.

— Скажите, подхватилъ г. Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собранія: — какому таланту въ особенности вы обязаны своимъ счастіемъ? Нѣтъ, не стыдитесь, скажите; мы всѣ здѣсь, такъ сказать, свои, *en famille*. Не правда-ли, господа, мы здѣсь *en famille*?

Наслѣдникъ, къ которому Ростиславъ Адамычъ случайно обратился съ этимъ вопросомъ, къ сожалѣнію, не зналъ по французски, и потому ограничился однимъ одобрительнымъ и легкимъ кряхтѣніемъ. За то другой наслѣдникъ, молодой человѣкъ, съ желтоватыми пятнами на лбу, поспѣшно подхватилъ: „вуй, вуй, разумѣется.“

— Можетъ быть, снова заговорилъ г. Штоппель.
Записки охотника. II.

пель: — вы умѣете ходить на рукахъ, поднявши ноги, такъ сказать, кверху?

Недопускинъ съ тоской поглядѣлъ кругомъ — всѣ лица злобно усмѣхались, всѣ глаза покрылись влагой удовольствія.

— Или, можетъ быть, вы умѣете пѣть какъ пѣтухъ?

Взрывъ хохота раздался кругомъ и стихъ тотчасъ, заглушенный ожиданіемъ.

— Или, можетъ быть, вы на носу...

— Перестаньте! перебилъ вдругъ Ростислава Адамчычъ рѣзкій и громкій голосъ: — какъ вамъ не стыдно мучить бѣднаго человѣка!

Всѣ оглянулись. Въ дверяхъ стоялъ Чертопхановъ. Въ качествѣ четвероюроднаго племянника покойнаго откупщика, онъ тоже получилъ пригласительное письмо на родственныи съѣздъ. Во все время чтенія, онъ, какъ всегда, держался въ гордомъ отдаленіи отъ прочихъ.

— Перестаньте, повторилъ онъ, гордо закинувъ голову.

— Г. Штопнель быстро обернулся и, увидавъ человѣка бѣдно одѣтаго, неказистаго, вполголоса спросилъ у сосѣда (осторожность никогда не мѣшаетъ):

— Кто это?

— Чертопхановъ, не важная птица, отвѣчалъ ему тотъ на ухо.

Ростиславъ Адамычъ принялъ надменный видъ.

— А вы что за командиръ? проговорилъ онъ въ носъ и прищурилъ глаза. — Вы что за птица, позвольте спросить?

Чертопхановъ вспыхнулъ, какъ порохъ отъ искры. Бѣшенство захватило ему дыханье.

— Дз-дз-дз-дз, зашипѣлъ онъ словно удавленный, и вдругъ загремѣлъ: кто я? кто я? Я Пантелей Чертопхановъ, столбовой дворянинъ, мой прапращуръ царю скужилъ, а ты кто?

Ростиславъ Адамычъ поблѣднѣлъ и шагнулъ назадъ. Онъ не ожидалъ такого отпора.

— Я птица, я, я птица... О, о, о!...

Чертопхановъ ринулся впередъ; Штоппель отскочилъ въ большемъ волненіи, гости бросились на-встрѣчу раздраженному помѣщику.

Стрѣляться, стрѣляться, сейчасъ стрѣляться черезъ платокъ! кричалъ разсвирѣпѣвшій Пантелей: — или проси извиненія у меня, да и у него...

— Просите, просите извиненія, бормотали вокругъ Штоппеля встревоженные наслѣдники:

— онъ, вѣдь, такой сумасшедшій, — готовъ зарѣзать.

— Извините, извините, я не зналъ, залепеталъ Штоппель: — я не зналъ...

— И у него проси! возопилъ неугомонный Пантелей.

— Извините и вы, прибавилъ Ростиславъ Адамычъ, обращаясь къ Недопюскину, который самъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

Чертопхановъ успокоился, подошелъ къ Тихону Иванычу, взялъ его за руку, дерзко глянулъ кругомъ и, не встрѣчая ни одного взора, торжественно, среди глубокаго молчанія вышелъ изъ комнаты вмѣстѣ съ новымъ владѣльцемъ благопріобрѣтенной деревни Безселендѣвки.

Съ того самаго дня они уже болѣе не разставались. (Деревня Безселендѣвка отстояла всего на восемь верстъ отъ Безсонова). Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла въ подобострастное благоговѣніе. Слабый, мягкій и не совсѣмъ чистый Тихонъ склонялся во прахъ передъ безбоязненнымъ и безкорыстнымъ Пантелеемъ. „Легко-ли дѣло!“ думалъ онъ иногда про себя, „съ губернаторомъ говорить, прямо въ глаза ему смотреть... вотъ те Христось, — такъ и смотреть!“

Онъ удивлялся ему до недоумѣнія, до изне-
моженія душевныхъ силъ, почиталъ его человѣ-
комъ необыкновеннымъ, умнымъ, ученымъ. И
то сказать, какъ ни было туго воспитаніе Чер-
топханова, все-же, въ сравненіи съ воспитаніемъ
Тихона, оно могло показаться блестящимъ. Чер-
топхановъ, правда, по русски читалъ мало, по
французски понималъ плохо, до того плохо, что
однажды на вопросъ гувернера изъ швейцар-
цевъ: „*Vous parlez français, monsieur?*“ отвѣ-
чалъ: жэ не разумѣю, и, подумавъ немного,
прибавилъ: па; — но все-таки онъ помнилъ,
что былъ на свѣтѣ Волтеръ, преострый сочини-
тель, что Фридрихъ Великій, прусскій король,
на военномъ поприщѣ тоже отличался. Изъ
русскихъ писателей уважалъ онъ Державина, а
любилъ Марлинскаго и лучшаго кобеля прозвалъ
Аммалать-Бекомъ...

Нѣсколько дней спустя послѣ первой моей
встрѣчи съ обоими пріятелями, отправился я въ
село Безсоново къ Пантелю Еремѣичу. Издали
видѣлся небольшой его домикъ; онъ торчалъ
на голомъ мѣстѣ, въ полуверстѣ отъ деревни,
какъ говорится, „на-юру,“ словно ястребъ на
пашнѣ. Вся усадьба Чертопханова состояла
изъ четырехъ ветхихъ срубовъ разной величины,

а именно: изъ флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый срубъ сидѣлъ отдѣльно, самъ по себѣ: ни забора кругомъ, ни воротъ не замѣчалось. Кучеръ мой остановился въ недоумѣннн у полу-сгнившаго и засоренаго колодца. Возлѣ сарая нѣсколько худыхъ и взъерошенныхъ борзыхъ щенковъ терзали дохлую лошадь, вѣроятно, Орбассана; одинъ изъ нихъ поднималъ было окровавленную морду, полаялъ торопливо и снова принялся глотать обнаженные ребра. Подлѣ лошади стоялъ малый лѣтъ семнадцати, съ пухлымъ и желтымъ лицомъ, одѣтый козачкомъ и босоногій: онъ съ важностью посматривалъ на собакъ, порученныхъ его надзору, и изрѣдка постегивалъ арапникомъ самыхъ алчныхъ.

— Дома баринъ? спросилъ я.

— А Господь его знаетъ! отвѣчалъ малый. Постучитесь.

Я соскочилъ съ дрожекъ и подошелъ къ крыльцу флигеля.

Жилище господина Чертопханова являло видъ весьма печальный: бревна почернѣли и высунулись впередъ „брюхомъ“, труба обвалилась, углы подопрѣли и покачнулись, небольшія тусклосизыя окошечки невыразимо кисло поглядывали изъ-подъ косматой, нахлобученной крыши; у

иныхъ старухъ-потаскушекъ бываютъ такіе глаза. Я постучался; никто не откликнулся. Однако мнѣ за дверью слышались рѣзко произносимыя слова:

— Азъ, буки, вѣди; да ну-же, дуракъ, говорилъ сильный голосъ: — азъ, буки, вѣди, глаголь... да нѣтъ! глаголь, добро, есть! есть!... Ну-же, дуракъ!

Я постучался въ другой разъ.

Тотъ-же голосъ закричалъ: — Войди, — кто тамъ...

Я вошелъ въ пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидалъ самаго Чертопханова. Въ засаленномъ бухарскомъ халатѣ, широкихъ шароварахъ и красной ермолкѣ, сидѣлъ онъ на стулѣ, одной рукой стискивалъ онъ молодому пуделю морду, а въ другой держалъ кусокъ хлѣба надъ самымъ его носомъ.

— А! проговорилъ онъ съ достоинствомъ и не трогаясь съ мѣста: — очень радъ вашему посѣщенью. Милости прошу садиться. А я вотъ съ Вензоромъ вожусь... Тихонъ Ивановичъ, прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ: — пожалуйста сюда. Гость пріѣхалъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, отвѣчалъ изъ сосѣдней

комнаты Тихонъ Ивановичъ. — Маша, подай галстукъ.

Чертопхановъ снова обратился къ Вензору и положилъ ему кусокъ хлѣба на носъ. Я посмотрѣлъ кругомъ. Въ комнатѣ, кромѣ раздвижного, покоробленного стола на тринадцати ножкахъ неровной длины, да четырехъ проданныхъ соломенныхъ стульевъ, не было никакой мебели; давнымъ-давно выбѣленные стѣны, съ синими пятнами въ видѣ звѣздъ, во многихъ мѣстахъ облупились; между окнами висѣло разбитое и тусклое зеркальцо въ огромной рамѣ подъ красное дерево. По угламъ стояли чубуки да ружья; съ потолка спускались толстыя и черныя нити паутины.

— Азъ, буки, вѣди, глаголь, добро, медленно произносилъ Чертопхановъ и вдругъ неистово воскликнулъ: — есть! есть! есть... Экое глупое животное!... есть!

Но злополучный пудель только вздрагивалъ и не рѣшался разинуть ротъ; онъ продолжалъ сидѣть поджавши болѣзненно хвостъ, и, скрививъ морду, уныло моргалъ и шурился, словно говорилъ про себя: известно, воля ваша!

— Да ѣшь, на, пиль! повторилъ неугомонный помѣщикъ.

— Вы его запугали, замѣтилъ я.

— Ну, такъ прочь его!

Онъ пихнулъ его ногой. Бѣднякъ поднялся тихо, сронилъ хлѣбъ долой съ носа и пошелъ, словно на цыпочкахъ, въ переднюю, глубоко оскорбленный. И дѣйствительно: чужой чело-вѣкъ въ первый разъ пріѣхалъ, а съ нимъ вотъ какъ поступаютъ.

Дверь изъ другой комнаты осторожно скрипнула, и г. Недопюскинъ вошелъ, пріятно раскланиваясь и улыбаясь.

Я всталъ и поклонился.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, залепеталъ онъ.

Мы усѣлись. Чертопхановъ вышелъ въ сосѣдную комнату.

— Давно вы пожаловали въ наши палестины? заговорилъ Недопюскинъ мягкимъ голосомъ, осторожно кашлянувъ въ руку и, для приличья, подержавъ пальцы передъ губами.

— Другой мѣсяць пошелъ.

— Вотъ какъ-съ.

Мы помолчали.

— Пріятная нонеча стоитъ погода, продолжалъ Недопюскинъ и съ благодарностію посмотрѣлъ на меня, какъ будто-бы погода отъ меня

зависѣла: — хлѣба, можно сказать, удивительные.

— Я наклонилъ голову въ знакъ согласія. Мы помолчали.

— Пантелей Еремѣичъ вчера двухъ русаковъ изволили затравить, не безъ усилія заговорилъ Недопюскинъ, явно желавшій оживить разговоръ: — да-съ, пребольшихъ-съ русаковъ-съ.

— Хорошія у г. Чертопханова собаки?

— Преудивительныя-съ! съ удовольствіемъ возразилъ Недопюскинъ: — можно сказать первыя по губерніи. (Онъ подвинулся ко мнѣ). Да что-съ! Пантелей Еремѣичъ такой человѣкъ, что только пожелаетъ, вотъ что только вздумаетъ — глядишь, ужъ и готово, все ужъ такъ и кипитъ-съ. Пантелей Еремѣичъ, скажу вамъ...

Чертопхановъ вошелъ въ комнату. Недопюскинъ усмѣхнулся, умолеъ и показалъ мнѣ на него глазами, какъ-бы желая сказать: вотъ вы сами убѣдитесь. Мы пустились толковать объ охотѣ.

— Хотите, я вамъ покажу свою свору? спросилъ меня Чертопхановъ и, не дождавшись отвѣта, позвалъ Карпа.

Вошелъ дюжій парень въ нанковомъ кафтанѣ зеленого цвѣта съ голубымъ воротникомъ и ливрейными пуговицами.

— Прикажи Өомкѣ, отрывисто проговорилъ Чертопхановъ: — привести Аммалата и Сайгу, да въ порядке, понимаешь?

Карпъ улыбнулся во весь ротъ, издавъ неопредѣленный звукъ и вышелъ. Явился Өомка, причесанный, зятанутый, въ сапогахъ и съ собаками. Я, ради приличія, полюбовался глупыми животными (борзья всѣ чрезвычайно глупы). Чертопхановъ поплевалъ Аммалату въ самыя ноздри, что, впрочемъ, повидимому, не доставило этому псу ни малѣйшаго удовольствія. Недопюскинъ также сзади поласкалъ Аммалата. Мы опять принялись болтать: Чертопхановъ понемногу смягчился совершенно, пересталъ пѣтушиться и фыркать; выраженье лица его измѣнилось. Онъ глянулъ на меня и на Недопюскина...

— Э! воскликнулъ онъ вдругъ: — что ей тамъ сидѣть одной? Маша! а, Маша! поди-ка сюда.

Кто-то зашевелился въ сосѣдней комнатѣ, но отвѣта не было.

— Ма-а-ша, ласково повторилъ Чертопхановъ! — поди сюда. Ничего, не бойся.

Дверь тихонько растворилась, и я увидалъ женщину лѣтъ двадцати, высокую и стройную, съ цыганскимъ смуглымъ лицомъ, изжелта-кари-ми глазами и черною какъ смоль косою; большіе бѣлые зубы такъ и сверкали изъ подъ полныхъ и красныхъ губъ. На ней было бѣлое платье; голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ея тонкія, породистыя руки. Она шагнула раза два съ застѣнчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.

— Вотъ рекомендую, промолвилъ Пантелей Еремѣичъ: — жена не жена, а почитай что жена.

Маша слегка вспыхнула и съ замѣшательствомъ улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мнѣ нравилась. Тоненькій орлиный носъ, съ открытыми полупрозрачными ноздрями, смѣлый очеркъ высокихъ бровей, блѣдныя, чѣт-чуть впалыя щеки, всѣ черты ея лица выражали своенравную страсть и беззаботную удалъ. Изъ-подъ закрученной косы внизъ по широкой шеѣ шли двѣ грядки блестящихъ волосиковъ — признакъ крови и силы.

Она подошла къ окну и сѣла. Я не хотѣлъ

увеличить ея смущенія и заговорилъ съ Чертопхановымъ. Маша легонько повернула голову и начала изъ-подлобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взоръ ея такъ и мелькалъ, словно змѣиное жало. Недопюскинъ подсѣлъ къ ней и шепнулъ ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила носъ и приподнимала верхнюю губу, что придавало ея лицу не то кошачье, не то львиное выраженіе...

— О, да ты „не тронь меня,“ подумалъ я, въ свою очередь украдкой посматривая на ея гибкій станъ, впалую грудь и угловатые, проворные движенія.

— А что, Маша, спросилъ Чертопхановъ: — надобно-бы гостя чѣмъ-нибудь и поподчивать, а?

— У насъ есть варенье, отвѣчала она.

— Ну, подай сюда варенье, да ужъ и водку кстати. Да послушай, Маша, закричалъ онъ ей вслѣдъ: — принеси тоже гитару.

— Для чего гитару? я пѣть не стану.

— Отчего?

— Не хочется.

— Э, пустяки, захочется, коли...

— Что? спросила Маша, быстро наморщивъ брови.

— Коли попросятъ, договорилъ Чертопхановъ не безъ смущенія.

— А!

Она вышла, скоро вернулась съ вареньемъ и водкой и опять сѣла у окна. На лбу ея еще виднѣлась морщинка; обѣ брови поднимались и опускались, какъ усики у осы... Замѣтили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумалъ я, быть грозѣ. Разговоръ не клеился. Недопюскинъ притихъ совершенно и напряженно улыбался; Чертопхановъ пыхтѣлъ, краснѣлъ и выпучивалъ глаза; я уже собирался уѣхать... Маша вдругъ приподнялась, разомъ отворила окно, высунула голову и съ сердцемъ закричала проходившей бабѣ: „Аксинья!“ Баба вздрогнула, хотѣла-было повернуться, да поскользнулась и тяжело шлепнулась на землю. Маша опрокинулась назадъ и звонко захохотала; Чертопхановъ тоже засмѣялся, Недопюскинъ запищалъ отъ восторга. Мы всѣ встрепенулись. Гроза разразилась одной молніей... воздухъ очистился.

Полчаса спустя, насъ-бы никто не узналъ мы болтали и шалили, какъ дѣти. Маша рѣвилась пуще всѣхъ, — Чертопхановъ такъ

пожиралъ ее глазами. Лицо у ней поблѣднѣло, ноздри расширились, взоръ запылалъ и потемнѣлъ въ одно и тоже время. Дикарка разыгралась. Недопюскинъ ковылялъ за ней на своихъ толстыхъ и короткихъ ножкахъ, какъ селезень за уткой. Даже Вензоръ выползъ изъ-подъ прилавка въ передней, постоялъ на порогѣ, поглядѣлъ на насъ и вдругъ принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула въ другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль съ плечъ долой, проворно сѣла, подняла голову и запѣла цыганскую пѣсню. Ея голосъ звенѣлъ и дрожалъ какъ надтреснутый стеклянный колокольчикъ, вспыхивалъ и замиралъ... Любо и жутко становилось на сердцѣ. — „Ай жги, говори!...“ Чертопхановъ пустился въ плясъ. Недопюскинъ затопалъ и засѣменилъ ногами. Машу всю поводило, какъ бересту на огнѣ: тонкіе пальцы рѣзко бѣгали по гитарѣ, смуглое горло медленно приподнималось подъ двойнымъ янтарнымъ ожерельемъ. То вдругъ она умолкала, опускалась въ изнеможеніи, словно неохотно щипала струны, и Чертопхановъ останавливался, только плечикомъ подергивалъ да на мѣстѣ переминался, а Недопюскинъ покачивалъ головой, какъ фарфоровый китаецъ; — то снова заливалась

она какъ безумная, выпрямливала станъ и выставляла грудь, и Чертопхановъ опять присѣдалъ до земли, подскакивалъ подъ самый потолокъ, вертѣлся юлой, вскрикивалъ: „живо!...“

— Живо, живо, живо, живо, скороговоркой подхватывалъ Недопюскинъ.

Поздно вечеромъ уѣхалъ я изъ Безсонова... Исторію самой Маши я когда нибудь въ другой разъ расскажу снисходительнымъ читателямъ.

О СОЛОВЬЯХЪ.

Посылаю вамъ, любезный и почтеннѣйшій С. Т., какъ любителю и знатоку всякаго рода охотъ, слѣдующій рассказъ о соловьяхъ, объ ихъ пѣньи, содержаньи, способѣ ловить ихъ, и пр., списанный мною со словъ одного стараго и опытнаго охотника изъ дворовыхъ людей. Я постарался сохранить всѣ его выраженія и самый складъ рѣчи.

Лучшими соловьями всегда считались Курскіе; но въ послѣднее время они похужѣли; и теперь лучшими считаются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на границѣ; тамъ, въ пятнадцати верстахъ за Бердичевымъ, есть лѣсъ, прозываемый Трояцкимъ; отличные тамъ водятся соловьи. Время ихъ ловить въ началѣ Мая. Держатся они больше въ черемушникѣ и мел-

комъ лѣсѣ, и въ болотахъ, гдѣ лѣсъ растеть; болотные соловьи — самые дорогіе. Прилетаютъ они дня за три до Егорьева дня; но сначала поютъ тихо, а къ Маю въ силу войдутъ, распоятся. Выслушивать ихъ надо по зарямъ и ночью, но лучше по зарямъ; иногда приходится всю ночь въ болотѣ просидѣть. Я съ товарищемъ разъ чуть не замерзъ въ болотѣ: ночью сдѣлался морозъ, и къ утру въ блинъ льду на водѣ намерзло; а на мнѣ былъ кафтанишка лѣтній, плохинькій; только тѣмъ и спасся, что между двухъ кочекъ свернулся, кафтанъ снялъ, голову закуталъ и дыхалъ себѣ на пузо подъ кафтаномъ; цѣлый день потомъ зубами стучалъ. Ловить соловья дѣло не мудреное: нужно сперва хорошенько выслушать, гдѣ онъ держится; а тамъ точёкъ на землѣ расчистить поладнѣе возлѣ куста, разставить тайникъ и самёу пришпорить, за обѣ ножки привязать, а самому спрятаться да присвистывать дудочкой, такая дудочка дѣлается, въ родѣ пищика. А тайничекъ небольшой изъ сѣтки дѣлается — съ двумя друзьями; одну дружку крѣпко къ землѣ приспособить надо, а другую только притянуть — и бичевку къ ней привязать: соловей сверху какъ слетитъ къ самёу — тутъ и дернуть за бичевку, тайни

чекъ и закинется. Иной соловей очень жаденъ, такъ сейчасъ сверху пулей и бросится, какъ только завидитъ самку, а другой остороженъ: сперва пониже спустится, да разглядываетъ — его ли самка. Осторожныхъ лучше сѣтью ловить. Сѣть плетется сажень въ пять; осыпешь ею кустъ или сухой дромъ, а осыпать надо слабо; какъ только спустится соловей — встанешь и погонишь его въ сѣть, онъ все низомъ летитъ, ну, и повиснетъ въ петелькахъ. Сѣтью ловить можно и безъ самки, одною дудочкой. Какъ поймашь соловья, тотчасъ свяжи ему кончики крылышекъ, чтобы не бился, и сажай его скорѣе въ куролеску — такой ящикъ дѣлается низенькій, сверху и снизу холстомъ обтянуть. Кормить пойманныхъ соловьевъ надо муравлиными яйцами — понемножку и почаще; они скоро привыкаютъ и принимаются клевать. Не мѣшаетъ живыхъ муравьевъ въ куролеску напустить: иной болотной соловей не знаетъ муравлиныхъ яицъ — не видалъ никогда — ну, а какъ муравьи станутъ таскать яйца — въ задоръ войдетъ — станетъ ихъ хватать.

Соловьи у насъ здѣсь*) дрянные: поютъ

*) Во Мценскомъ, Чернскомъ и Бѣлевскомъ уѣздахъ.

дурно, понять ничего нельзя, всё колёна мѣшajúть, трещать, спѣшajúть; а то вотъ еще у нихъ самая гадкая есть штука: сдѣлаетъ эдакъ туу и вдругъ: ви! — эдакъ визгнетъ, словно въ воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станеть. Хорошій соловей долженъ пѣть разборчиво и не мѣшajúть колёна, — а колёна вотъ какія бьвають :

Первое: *Пульканіе* — эдакъ: пуль, пуль, пуль, пуль...

Второе: *Клыканіе* — клы, клы, клы, какъ желна.

Третье: *Дробь* — выходитъ, примѣрно, какъ по землѣ разомъ дробь просыпать.

Четвертое: *Раскатъ* — тррррррр...

Пятое: *Пленканіе* — почти понять можно: пленъ, пленъ, пленъ...

Шестое: *Лышева дудка* — эдакъ протяжно: го-го-го-го-го, а тамъ коротко: ту!

Седьмое: *Кукушкинъ перелетъ*. Самое рѣдкое колёно; я только два раза въ жизни его слыхивалъ — и оба раза въ Тимскомъ уѣздѣ. Кукушка, когда полетитъ, такимъ манеромъ кричитъ. Сильный такой, звонкій свистъ.

Восьмое: *Гусачекъ*. Га-га-га-га... У Мало-

архангельскихъ соловьевъ хорошо это колѣно выходитъ.

Девятое: *Юльная стукотня*. Какъ юла, — есть птица на жаворонка похожая, — или какъ вотъ органчики бываютъ, — эдакой круглый свистъ: фюююююю...

— Десятое: *Починъ* — эдакъ: тии-вить, нѣжно, малиновкой. Это по настоящему не колѣно, а соловьи обыкновенно такъ начинаютъ. У хорошаго, нотнаго соловья оно еще вотъ какъ бываетъ: начнетъ: тии-вить — а тамъ: тукъ! — Это оттолчкой называется. Потомъ опять — тии-вить... тукъ! тукъ! Два раза оттолчка — и въ полъ-удара, эдакъ лучше; въ третій разъ тии-вить — да какъ разсыплеть, вдругъ, сукинъ сынъ, дробью или раскатомъ — едва на ногахъ устоишь — обожжетъ! Эдакой соловей называется съ ударомъ или съ оттолчкой. У хорошаго соловья каждое колѣно длинно выходитъ, отчетливо, сильно; чѣмъ отчетливѣй, тѣмъ длиннѣй. Дурной спѣшитъ: сдѣлалъ колѣно, отрубилъ, скорѣе другое и — смѣшался. Дуракъ дуракомъ и остался. А хорошій — нѣтъ! Разсудительно поётъ, правильно. Примется какое-нибудь колѣно чесать, — не сойдетъ съ него до истомы, проберетъ хоть кого. Иной даже съ оборотомъ

— такъ длинень; пустить, напимѣрь, колѣно, дробь, что ли — сперва будто книзу, а потомъ опять въ гору, словно кругомъ себя окружить, какъ каретное колесо перекатитъ — надо такъ сказать. Одного я такого слыхалъ у Мценскаго купца Ш...ва — вотъ былъ соловей! Въ Петербургѣ за 1200 рублей ассигнаціей проданъ.

По охотническимъ замѣчаньямъ, хорошаго соловья отъ дурнаго съ виду отличить трудно. Многіе даже самку отъ самца не узнаютъ. Иная самка еще казистѣе самца. Молодаго отъ стараго отличить можно. У молодого, когда растопыришь ему крылья, есть на перушкахъ пятнышки, и весь онъ темнѣй; а старый — сѣрѣе. Выбирать надо соловья, у котораго глаза большіе, носъ толстый и чтобы былъ плечистъ и высокъ на ногахъ. Тотъ-то соловей, что за 1200 рублей пошелъ, былъ росту средняго. Его Ш...въ подъ Курскомъ у мальчика купилъ за двугривенный.

Соловей, коли въ бережѣ, до пяти зимъ перезимовать можетъ. Кормить его надо зимою прусаками или сушеными муравлиными яицами; только яица надо брать не изъ краснаго лѣса, а изъ чернолѣся, а то отъ смолы запоръ сдѣлается. Вѣшать надо соловьевъ не надъ окнами,

а въ серединѣ комнаты подѣ потолокомъ, и въ клѣтѣхъ чтобъ было нѣбко мягкое, суконное или полотняное.

Болѣзнь на нихъ бываетъ: вдругъ примутся чихать. Скверная это болѣзнь. Какой и переживетъ — на другую зиму навѣрное околѣетъ. Пробовалъ я табакомъ нюхательнымъ по корму посыпать — хорошо выходило.

Пѣть начинаютъ они съ Рождества — и ближе, сперва потихоньку; съ великаго поста, съ Марта мѣсяца, настоящимъ голосомъ, а къ Петрову дню перестаютъ. Начинаютъ они обыкновенно съ пленканія... такъ жалобно, нѣжно: пленъ... пленъ... Не громко — а по всей комнатѣ слышно. Такъ звенить пріятно, какъ стеклышки, душу всю поворачиваетъ. Какъ долго не слышу — всякой разъ тронетъ, по животику такъ и пробѣжитъ, волосики на головѣ трогаются. Сейчасъ слезы — и вотъ онѣ. Выдешь, поплачешь, постоишь.

Молодыхъ соловьевъ хорошо доставать въ Петровки. Надо подмѣтить, куда старые кормъ носятъ. Иной разъ три, четыре часа, полъ-дня просижу, а ужъ замѣчу мѣсто. Гнѣздо они вьютъ на землѣ-изъ сухой травы и листочковъ. Штукъ пять въ гнѣздѣ бываетъ, а иногда и

меньше. Молодыхъ возмешь да посадишь въ западню — сейчасъ и старые попадутся. Старыхъ надо поймать, чтобы молодыхъ кормили. Посадишь всю семейку въ куролеску, да муравлинныхъ яицъ насыплешь и живыхъ муравьевъ напустишь. Старые сейчасъ примутся молодыхъ кормить. Клѣтку потомъ завѣсить надо, а какъ молодые скануть клевать сами, старыхъ принять. Молодые, которыхъ въ Петровки изъ гнѣзда вынешь, живучѣе и пѣть скорѣе принимаются. Брать надо молодыхъ отъ длиннаго, голосистаго соловья. Въ клѣткѣ они не выводятся. На волѣ соловей перестаетъ пѣть, какъ только дѣтей вывелъ, а о Петровки онъ линяетъ. Сдѣлаетъ на лету колѣнцо — и кончено. Все только свиститъ. А поетъ онъ всегда сидя; на лету, когда за самкой нырнетъ, курлычетъ.

Молодыхъ соловьевъ хорошо къ старымъ подвѣшивать, чтобы учились. Повѣсить ихъ надо рядомъ. И тутъ надо примѣчать: если молодой, пока старый поетъ, молчитъ и сидитъ, не шелохнется, слушаетъ — изъ того выйдетъ прокъ — въ двѣ недѣли, пожалуй, готовъ будетъ; а какой не молчитъ, самъ туда же въ слѣдъ за старикомъ бурлитъ — тотъ развѣ на будущій годъ запоетъ, какъ быть слѣдуетъ, да

и то сомнительно. Иные охотники секретно въ шляпахъ приносятъ молодыхъ соловьевъ въ трактиръ гдѣ есть хорошій соловей; сами пьютъ чай или пиво, а молодые тѣмъ временемъ учатся. Отъ того лучше завѣшивать молодыхъ, когда ихъ къ старому приносятъ.

Первые охотники до соловьевъ — купцы: тысячи рублей не жалѣютъ. Мнѣ Бѣлевскіе купцы давали двѣсти рублей и товарища — и лошадь была ихняя. Посылали меня къ Бердичеву. Я долженъ былъ двѣ пары представить отличныхъ соловьевъ, а остальные — хоть пятьдесятъ паръ — въ мою пользу.

Былъ у меня товарищъ, охотникъ смертный до соловьевъ, часто мы съ нимъ ѣздили. Подслѣповать онъ былъ — много ему это мѣшало. Разъ, подъ Лебедяню, выслушалъ онъ удивительнаго соловья. Приходить ко мнѣ, рассказываетъ — такъ отъ жадности весь трясется. Сталъ его ловить — а сидѣлъ онъ на высокой осинѣ. Вотъ однако спустился, погналъ его товарищъ въ сѣтъ; тѣнулся соловей въ сѣтъ — и повисъ. Сталъ его товарищъ брать — знать руки у него дрожали — соловей вдругъ какъ шмыгнетъ у него между ногъ — свиснулъ, запѣлъ и улетѣлъ. Товарищъ такъ и завопилъ.

Онъ потомъ божился, увѣрялъ меня, что онъ явственно чувствовалъ, какъ кто-то соловья у него изъ рукъ силой выдернулъ. Что-жь! Всяко бываетъ. Принялся онъ опять манить его — нѣтъ! не тутъ-то было: оробѣлъ, знать, смолкъ. Цѣлыхъ десять дней товарищъ потомъ за нимъ все ходилъ. Что же вы думаете? Соловей хоть бы чукнулъ — такъ и пропалъ. А товарищъ чуть не рехнулся; насилу его домой притащилъ. Возьметъ, шапку ѓземъ грянетъ, да какъ начнетъ себя кулакомъ по лбу бить... А то вдругъ остановится и закричитъ: „раскапывайте землю — въ землю уйти хочу, туда мнѣ дорога, слѣпому, неумѣлому, безрукому“... Вотъ какъ оно бываетъ чувствительно.

Случается, что другъ у друга наровятъ хорошихъ соловьевъ отбить, пораньше зайти на мѣсто. На всё нужно умѣнье — да и безъ счастья тоже нельзя. Случается также, что отводятъ, колдовствомъ то-есть; а противъ этого — молитва. Разъ я таки страху набрался. Сижу я ночью подъ лѣсомъ, выслушиваю соловьевъ, а ночь такая темная, претемная... И вдругъ мнѣ показалось, что будто ужъ это не по соловьиному что-то гремитъ, словно прямо на меня идетъ... Жутко мнѣ стало, такъ что и

сказать нельзя... вскочилъ, да и давай Богъ ноги. Мужики — тѣ не мѣшаютъ; тѣмъ все равно; еще смѣются, пожалуй. Мужикъ грубъ; ему что соловей, что зябликъ — все едино. Не ихъ разума дѣло. Ихъ дѣло — пахать, да на печи лежать съ бабой. А я вамъ теперь все рассказалъ.

1853 г.

ПОѢЗДКА ВЪ ПОЛѢСЬЕ.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

Видъ огромнаго, весь небосклонъ обнимающаго, бора, видъ „Полѣсья“ напоминаетъ видъ моря. И впечатлѣнія имъ возбуждаются тѣже; таже первобытная, нетронутая сила разстилается широко и державно передъ лицомъ зрителя. Изъ нѣдра вѣковыхъ лѣсовъ, съ безсмертнаго лона водъ поднимается тотъ же голосъ: „Мнѣ нѣтъ до тебя дѣла,“ говоритъ природа человеку, „я царствую — а ты хлопочи о томъ, какъ бы не умереть.“ Но лѣсъ однообразнѣе и печальнѣе моря, особенно сосновый лѣсъ, постоянно одинаковый и почти безшумный. Море грозитъ и ласкаетъ, оно играетъ всѣми красками, говоритъ всѣми голосами: оно отражаетъ небо, отъ котораго тоже вѣетъ вѣчностью, но

вѣчностью, какъ будто намъ не чуждой... Неизмѣнный, мрачный боръ угрюмо молчить или воетъ глрхо — и при видѣ его еще глубже и неотразимѣе проникаетъ въ сердцѣ людское сознание нашей ничтожности. Трудно человѣку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взглядъ вѣчной Изиды; не однѣ дерзостныя надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснутъ въ немъ, охваченныя ледянымъ дыханіемъ стихій; нѣтъ — вся душа его никнетъ и замираетъ; онъ чувствуетъ, что послѣдній изъ его братій можетъ исчезнуть съ лица земли — и ни одна игла не дрогнетъ на этихъ вѣтвяхъ; онъ чувствуетъ свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и съ торопливымъ, тайнымъ испугомъ обращается онъ къ мелкимъ заботамъ и трудамъ жизни; ему легче въ этомъ мірѣ, имъ самимъ созданномъ, здѣсь онъ дома, здѣсь онъ смѣетъ еще вѣрить въ свое значеніе и въ свою силу.

Вотъ какія мысли приходили мнѣ на умъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда, стоя на крыльцѣ постоялаго двора, построеннаго на берегу болотистой рѣчки Ресеты, увидалъ я

впервые Полѣсье. Длинными сплошными уступами разбѣгались передо мною синѣющія громады хвойнаго лѣса; кой-гдѣ лишь пестрѣли зелеными пятнами небольшія березовыя рощи; весь кругозоръ былъ охваченъ боромъ; нигдѣ не бѣлѣла церковь, не свѣтлѣли поля — все деревья да деревья, все зубчатыя верхушки — и тонкій, тусклый туманъ, вѣчный туманъ Полѣсья висѣлъ вдали надъ ними. Не лѣнью, этой неподвижностью жизни, нѣтъ — отсутствиемъ жизни, чѣмъ-то мертвеннымъ, хотя и величавымъ, вѣяло мнѣ со всѣхъ краевъ небосклона; помню, большія бѣлыя тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркій лѣтній день лежалъ недвижно на безмолвной землѣ. Красноватая вода рѣчки скользила безъ плеска между густыми тростниками; на днѣ ея смутно виднѣлись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали въ болотной тинѣ, то рѣзко бѣлѣли разсыпчатымъ и мелкимъ пескомъ. Мимо самаго дворика шла уѣздная, торная дорога.

На этой дорогѣ, прямо противъ крыльца, стояла телѣга, нагруженная коробами и ящиками. Владѣлецъ ея, худощавый мѣщанинъ въ ястребинымъ носомъ и мышинными глазка, сгорбленный и хромою, впрягалъ въ нее св

тоже хромую, лошаденку; это былъ прянишникъ, который пробирался на Карачевскую ярмарку. Вдругъ показалось на дорогѣ нѣсколько людей; за ними потянулись другіе, наконецъ повалила цѣлая гурьба; у всѣхъ были палки въ рукахъ и катомки за плечами. По ихъ походкѣ, усталой и развалистой, по загорѣлымъ лицамъ видно было, что они шли издавеча; это Юхновцы, Копачи, возвращались съ заработковъ. Старикъ лѣтъ семидесяти, весь бѣлый, казалось, предводительствовалъ ими; онъ изрѣдка оборачивался и спокойнымъ голосомъ понукалъ отстающихъ. „Но, но, но, ребятушки,“ говорилъ онъ, „но-о.“ Всѣ они шли молча, въ какой-то важной тишинѣ. Одинъ лишь только, низкаго роста и на видъ сердитый, въ тулупѣ на распашку, въ бараньей шапкѣ, надвинутой на самые глаза, поровнявшись съ прянишникомъ, вдругъ спросилъ его:

— По чемъ пряникъ, шутъ?

— Каковъ будетъ пряникъ, любезный человекъ, возразилъ тонкимъ голоскомъ озадаченный торговецъ. Есть и въ копейку — а то и грошъ дать надо. А есть ли грошъ въ монетѣ-то?

— Да отъ него, чай, въ брюхѣ просолодить,

возразилъ тулупъ и отошелъ отъ телѣги. Поспѣшите ребяташки, поспѣшите! слышался голосъ старика: — до ночлега далеко.

— Необразованный народъ, проговорилъ, изкоса взглянувъ на меня, пряхинникъ, какъ только вся толпа провалила мимо: — развѣ это кушанье про нихъ?

И на-скоро снарядивши свою лошадку, спустился онъ къ рѣчкѣ, на которой виднѣлся маленькій бревенчатый паромъ. Мужикъ, въ бѣломъ войлочномъ „шлыкѣ“ (обыкновенной Полѣшской шапкѣ), вышелъ изъ низкой землянки ему на встрѣчу и переправилъ его на противуположный берегъ. Телѣжка поползла по изрытой и выбитой дорогѣ, изрѣдка взвизгивая однимъ колесомъ.

Я покормилъ лошадей — и тоже переправился. Протащившись версты съ двѣ болотистымъ лугомъ, взобрался я наконецъ по узкой гати въ просѣку лѣса. Тарантасъ неровно запрыгалъ по круглымъ бревешкамъ; я вылѣзъ и пошелъ пѣшкомъ. Лошади выступали дружнымъ шагомъ, фыркая и отмахиваясь головч отъ комаровъ и мошекъ. Полѣсье приня насъ въ свои нѣдра. Съ окраины ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и

дубы; потомъ они стали рѣже попадаться, сплошной стѣной надвинулся густой ельникъ; далѣе покраснѣли голые стволы сосенника, а тамъ опять потянулся смѣшанный лѣсъ, заросшій снизу кустами орѣшника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освѣщали верхушки деревьевъ и, разсыпаясь по вѣтвямъ, лишь кое-гдѣ достигали до земли поблѣднѣвшими полосами и пятнами. Птицъ почти не было слышно — онѣ не любятъ большихъ лѣсовъ; только по временамъ раздавался заунывный, троекратный возгласъ удода, да сердитый крикъ орѣховки или сойки; молчаливый, всегда одинокій сиворонокъ перелеталъ черезъ просѣку, сверкая золотистою лазурью своихъ красивыхъ перьевъ. Иногда деревья рѣдѣли, разступались, впереди свѣтлѣло, тарантасъ въѣзжалъ на разчищенную, песчаную поляну; жидкая рожь росла на ней градами, безшумно качая свои блѣдные колосики; въ сторонѣ темнѣла ветхая часовенка съ покривившимся крестомъ надъ колодцемъ, невидимый ееекъ мирно болталъ переливчатыми и гулкими ками, какъ будто втекая въ пустую бутылку; тамъ вдругъ дорогу перегарживала недавно рушившаяся береза, и лѣсъ стоялъ кругомъ

Записки охотника. II.

до того старый, высокій и дремучій, что даже воздухъ казался спертымъ. Мѣстами просѣка была вся залита водой; по обѣимъ сторонамъ разстилалось лѣсное болото, все зеленое и темное, все покрытое тростниками и мелкимъ ольшникомъ; утки взлѣтывали попарно — и странно было видѣть этихъ водяныхъ птицъ, быстро мелькающихъ между соснами. — „Га, га, га, га,“ неожиданно поднимался протяжный крикъ; то пастухъ гналъ стадо черезъ мелко-лѣсье; бурая корова съ острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и оставалась, какъ вкопаная, на краю просѣки, уставивъ свои большіе темные глаза на бѣжавшую передо мной собаку; вѣтерокъ приносилъ тонкій и крѣпкій запахъ жженого дерева; бѣлый дымокъ расплзался вдали круглыми струями по блѣдно-синему лѣсному воздуху: знать мужичокъ промышлялъ углю на стеклянный заводъ или на фабрику. Чѣмъ дальше мы двигались, тѣмъ глуше и тише становилось вокругъ. Въ бору всегда тихо; только идетъ тамъ высоко надъ головою какой-то долгій ропотъ и станный гулъ по верхушкамъ... Ёдешь, ёдешь, не перестаетъ эта вѣчная лѣсная молвь, и начинается сердце ныть понемногу, и хочется ч

вѣку видти поскорѣй на просторъ, на свѣтъ, хочется ему вздохнуть полной грудью — и дать его эта пахучая сырость и гниль...

Версть пятнадцать ѣхали мы шагомъ, изрѣдка рысцей. Мнѣ хотѣлось засвѣтло попасть въ село Святое, лежащее въ самой серединѣ лѣса. Раза два встрѣтились мнѣ мужички съ надраннымъ лыкомъ или съ длинными бревнами на телѣгахъ.

— Далеко ли до Святаго? спросилъ я одного изъ нихъ.

— Нѣтъ, не далеко.

— А сколько?

— Да версты три будетъ.

Прошло часа полтора. Мы все ѣхали да ѣхали. Вотъ опять заскрипѣла нагруженная телѣга. Мужикъ шелъ съ боку.

— Сколько, братъ, осталось до Святаго!

— Чего?

— Сколько до Святаго?

— Восемь верстъ.

Солнце уже садилось, когда я, наконецъ, выбрался изъ лѣса и увидѣлъ передъ собою небольшое село. Дворовъ двадцать лѣпилось вокругъ старой, деревянной, одноглавой церкви зеленымъ куполомъ и крошечными окнами,

ярко рдѣвшими на вечерней зарѣ. Это было Святое. Я въѣхалъ въ околицу. Возвращавшееся стадо нагнало мой тарантасъ и съ мычаньемъ, хрюканьемъ и блеяніемъ пробѣжало мимо. Молодые дѣвки, хлопотливыя бабы встрѣчали своихъ животныхъ; бѣлоголовые мальчишки гнались съ веселыми криками за непокорными поросятами; пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, алѣла.

Я остановился у старосты, хитраго и умнаго „Полѣхи,“ изъ тѣхъ Полѣхъ, про которыхъ говорятъ, что они на два аршина подъ землю видятъ. На другой день рано отправился я въ телѣжкѣ, запряженной парой толстопузыхъ крестьянскихъ лошадей съ старостинимъ сыномъ и другимъ крестьяниномъ, по имени Егоромъ, на охоту за глухарями и рябчиками. Лѣсъ синѣлъ сплошнымъ кольцомъ по всему краю неба — десятинь двѣсти не больше считалось распаханнаго поля вокругъ Святаго; но до хорошихъ мѣстъ приходилось ѣхать верстъ семь. Старостина сына звали Кондратомъ. Это былъ малый молодой, русый и краснощекій, съ добрымъ и смирнымъ выраженіемъ лица, услужливый болтливый. Онъ правилъ лошадей. Егоръ

дѣлъ со мною рядомъ. Мнѣ хочется сказать о немъ слова два.

Онъ считался лучшимъ охотникомъ во всемъ уѣздѣ. Всѣ мѣста, верстъ на пятьдесятъ кругомъ, онъ исходилъ вдоль и поперёгъ. Онъ рѣдко выстрѣливалъ по птицѣ, за скудостью пороха и дроби; но съ него уже того было довольно, что онъ рябчика подманилъ, подмѣтилъ точёкъ дупелиный. Егоръ слылъ за человѣка правдиваго и за „молчальника.“ Онъ не любилъ говорить и никогда не преувеличивалъ числа найденной имъ дичи — черта рѣдкая въ охотникѣ. Роста онъ былъ средняго, сухощавъ, лицо имѣлъ вытянутое и блѣдное, большіе честные глаза. Всѣ черты его, особенно губы, правильныя и постоянно неподвижныя, дышали спокойствіемъ невозмутимымъ. Онъ улыбался слегка и какъ-то внутрь, когда произносилъ слова — очень мила была эта тихая улыбка. Онъ не пилъ вина и работалъ прилежно, но ему не везло: жена его все хворала, дѣти умирали; онъ „забѣднѣлъ“ и никакъ не могъ справиться.

то сказать: страсть къ охотѣ не мужицкое зло и кто „съ ружьемъ балуетъ“ — хозяинъ лохой. Отъ постоянного ли пребыванія въ лесу, лицомъ къ лицу съ печальной и строгой

природой того нелюдимаго края, въ слѣдствіе ли особеннаго склада и строя души, но только во всѣхъ движеніяхъ Егора замѣчалась какая-то скромная важность, именно важность, а не задумчивость — важность статнаго оленя. Онъ на своемъ вѣку убилъ семь медвѣдей, подкарауливъ ихъ на „овсахъ.“ Въ послѣдняго онъ только на четвертую ночь рѣшился выстрѣлить, медвѣдь все не становился къ нему бокомъ, а пуля у него была одна. Егоръ убилъ его на канунѣ моего приѣзда. Когда Кондратъ привелъ меня къ нему, я засталъ его на за-дворьѣ; присѣвши на корточки передъ громаднымъ звѣремъ, онъ вырѣзывалъ изъ него сало короткимъ и тупымъ ножомъ.

— Какого же ты молодца повалилъ! замѣтилъ я. Егоръ поднялъ голову и посмотрѣлъ сперва на меня, а потомъ на пришедшую со мной собаку.

— Коли охотиться приѣхали, въ Мошномъ глухари есть — три выводка, да рябцевъ пять, промолвилъ онъ и снова принялся за свою работу.

Съ этимъ-то Егоромъ да съ Кондратомъ и поѣхалъ на другой день на охоту. Живо

рекатили мы поляну, окружавшую Святое, а, въѣхавши въ лѣсъ, опять потащились шагомъ.

— Вонъ витютень сидитъ, заговорилъ вдругъ, оборотившись ко мнѣ, Кондратъ: — хорошо бы сшибить!

Егоръ посмотрѣлъ въ сторону, куда Кондратъ указывалъ и ничего не сказалъ. До витютня шаговъ было сто слишкомъ, а его и на сорокъ шаговъ не убьешь: такова у него крѣпость въ перьяхъ.

Еще нѣсколько замѣчаній сдѣлалъ словоохотливый Кондратъ; но лѣсная тишь не даромъ охватила и его: онъ умолкъ. Лишь изрѣдка перекидываясь словами да поглядывая впередъ, да прислушиваясь къ пыхтѣнью и храпу лошадей, добрались мы, наконецъ, до „Мошнаго.“ Этимъ именемъ назывался крупный сосновый лѣсъ, изрѣдка проросшій ельникомъ. Мы слѣзли; Кондратъ вдвинулъ телѣгу въ кустъ, чтобы комары лошадей не кусали. Егоръ осмотрѣлъ курыкъ ружья и перекрестился: онъ ничего безъ креста не начиналъ.

Лѣсъ, въ который мы вступили, былъ чрезвычайно старъ. Не знаю, бродили ли по немъ атары, но русскіе воры или литовскіе люди гутнаго времени уже навѣрно могли скрываться

въ его захолустяхъ. Въ почтительномъ разстояннѣ другъ отъ друга поднимались могучія сосны громадными, слегка искривленными столбами блѣдно-желтаго цвѣта; между ними стояли, вытянувшись въ струнку, другія, помоложе. Зеленоватый мохъ, весь усѣянный мертвыми иглами, покрывалъ землю; голубика росла сплошными кустами; крѣпкій запахъ ея ягодъ, подобный запаху вухухоли, стѣснялъ дыханіе. Солнце не могло пробиться сквозь высокій наметъ сосновыхъ вѣтвей; но въ лѣсу было все-таки душно и не темно; какъ крупныя капли пота, выступала и тихо ползла внизъ тяжелая, прозрачная смола по грубой корѣ деревьевъ. Неподвижный воздухъ безъ тѣни и безъ свѣта жегъ лицо. Все молчало; даже шаговъ нашихъ не было слышно; мы шли по мху какъ по ковру; особенно Егоръ двигался безшумно, словно тѣнь; подъ его ногами даже хворостинка не трещала. Онъ шелъ не торопясь и изрѣдка посвистывая въ пищикъ; рябчикъ скоро отозвался и въ моихъ глазахъ нырнулъ въ густую елку; но напрасно указывалъ мнѣ его Егоръ — какъ я ни напрягалъ свое зрѣніе, а рассмотрѣлъ его никакъ не могъ; пришлось Егору по нем выстрѣлить. Мы нашли также два вывода

глухарей; осторожныя птицы поднимались далеко съ тяжелымъ и рѣзкимъ стукомъ; намъ однако удалось убить трехъ молодыхъ. У одного *майдана**) Егоръ вдругъ остановился и подовалъ меня.

— Медвѣдь воды хотѣлъ достать, промолвилъ онъ, указывая на широкую, свѣжую царапину на самой срединѣ ямы, затянутой мелкимъ мохомъ.

— Это слѣдъ его лапы? спросилъ я.

— Его; да вода-то пересохла. На той соснѣ тоже его слѣдъ: за медомъ лазилъ. Какъ ножомъ прорубилъ, когтями-то.

Мы продолжали забираться въ самую глушь лѣса. Егоръ только изрѣдка посматривалъ вверхъ и шелъ впередъ спокойно и самоуверенно. Я увидалъ круглый, высокій валъ, обнесенный полу-засыпаннымъ рвомъ.

— Что это, майданъ тоже? спросилъ я.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Егоръ: — здѣсь воровской городокъ стоялъ.

— Давно?

— Давно; дѣдамъ нашимъ за память. Тутъ глады зарыты. Да зарокъ положенъ крѣпкій: челоуѣчью кровь.

*) „Майданъ“ называется мѣсто, гдѣ гнали деготь.

Мы прошли еще версты съ двѣ; мнѣ захотѣлось пить.

— Посидите маленько, сказалъ Егоръ: — я схожу за водой, тутъ колодезь недалеко.

Онъ ушелъ; я остался одинъ.

Я присѣлъ на срубленный пенъ, оперся локтями на колѣна и, послѣ долгаго безмолвія, медленно поднялъ голову и оглянулся. О, какъ все кругомъ было тихо и сурово-печально — нѣтъ, даже не печально, а нѣмо, холодно и грозно въ то же время! Сердце во мнѣ сжалось. Въ это мгновенье, на этомъ мѣстѣ я почувалъ вѣяніе смерти, я ощутилъ, я почти осязалъ ея непрестанную близость. Хоть бы одинъ звукъ задрожалъ, хоть бы мгновенный шорохъ поднялся въ неподвижномъ зѣвѣ обступившаго меня бора! Я снова, почти со страхомъ, опустилъ голову; точно я заглянулъ куда-то, куда не слѣдуетъ заглядывать человѣку... Я закрылъ глаза рукою — и вдругъ, какъ бы повинувся таинственному повелѣнію, я началъ припоминать всю мою жизнь...

Вотъ мелькнуло предо мной мое дѣтское шумливое и тихое, задорное и доброе, съ теплыми радостями и быстрыми печальми; томъ возникла молодость, смутная, стран-

самолюбивая, со всѣми ея ошибками и начинаніями, съ беспорядочнымъ трудомъ и взволнованнымъ бездѣйствіемъ... Пришли на память и они, товарищи первыхъ стремленій, потомъ, какъ молнія въ ночи, сверкнуло нѣсколько свѣтлыхъ воспоминаній... потомъ начали наростать и надвигаться тѣни, темнѣе и темнѣе стало кругомъ, глуше и тише побѣждали однообразные годы — и камнемъ на сердце опустылась грусть. Я сидѣлъ неподвижно и глядѣлъ съ изумленіемъ и усиліемъ, точно всю жизнь свою я передъ собою видѣлъ, точно свитокъ развивался у меня передъ глазами. О, что я сдѣлалъ! невольно шептали горькимъ шопотомъ мои губы. О, жизнь, жизнь, куда, какъ ушла ты такъ безслѣдно? Какъ выскользнула ты изъ крѣпко-стиснутыхъ рукъ? Ты ли меня обманула, я ли не умѣлъ воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? — эта малость, эта бѣдная горсть пыльного пепла — вотъ все, что осталось отъ тебя? Это холодное, неподвижное, ненужное нѣчто — это я, тотъ прежній я? Какъ? Душа жаждала стѣя такого полного, она съ такимъ презрѣмъ отвергла все мелкое, все недостаточное, а ждала: вотъ-вотъ нахлынетъ счастье потокомъ, и ни одной капли не смочило алкавшихъ

губъ? О, золотыя мои струны, вы, такъ чутко, такъ сладостно дрожавшія когда-то, я такъ и не услышалъ вашего пѣнья... вы и звучали только — когда рвались. Или, можетъ-быть, счастье, прямое / счастье всей жизни проходило близко, мимо, улыбалось лучезарной улыбкой — да я не умѣлъ признать его божественнаго лица? Или оно точно посѣщало меня и сидѣло у моего изголовья, да позабылось мною, какъ сонъ? Какъ сонъ, повторялъ я уныло. Неуловимые образы бродили по душѣ, возбуждая въ ней не то жалость, не то недоумѣнье... А вы, думалъ я, милыя, знакомыя, погибшія лица, вы, обступившія меня въ этомъ мертвомъ уединеніи, отчего вы такъ глубоко и грустно безмолвны? Изъ какой бездны возникли вы? Какъ мнѣ понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною, привѣтствуете ли вы меня? О, неужели нѣтъ надежды, нѣтъ возврата? Зачѣмъ полились вы изъ глазъ, скупыя, позднія капли? О, сердце, къ чему, зачѣмъ еще жалѣть, старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся къ смиренью послѣдней разлуки, къ горькимъ словамъ „прости“ и „навсегда.“ Не оглядывайся назадъ, не вспоминай, не стремись туда, гдѣ свѣтъ, гдѣ смѣется молодость, гдѣ надежда вѣчнае

цвѣтами весны, гдѣ голубка-радость бьетъ лазурными крылами, гдѣ любовь, какъ роса на зарѣ, сіяетъ слезами восторга, не смотри туда, гдѣ блаженство и вѣра и сила — тамъ не наше мѣсто!

— Вотъ вамъ вода, раздался за мною звучный голосъ Егора: — пейте съ Богомъ.

Я невольно вздрогнулъ: живая эта рѣчь поразила меня, радостно потрясла все мое существованіе. Точно я падалъ въ неизвѣданную, темную глубь, гдѣ уже все стихало кругомъ и слышался только тихій и непрестанный стонъ какой-то вѣчной скорби; я замиралъ, но противиться не могъ, и вдругъ дружескій зовъ долетѣлъ до меня, чья-то могучая рука однимъ взмахомъ вынесла меня на свѣтъ Божій. Я оглянулся и съ несказанной отрадой увидалъ честное и спокойное лицо моего провожатаго. Онъ стоялъ передо мной легко и стройно, съ обычной своей улыбкой протягивая мнѣ мокрую бутылочку, всю наполненную свѣтлой влагой... Я всталъ.

— Пойдемъ, води меня, сказалъ я съ увлеченіемъ.

Мы отправились и бродили долго, до вечера. Въ только жара „свалила,“ въ лѣсу стало

такъ быстро холодать и темнѣть, что оставаться въ немъ уже не хотѣлось. Ступайте вонъ, безпокойные, живые, казалось шепталъ онъ намъ угрюмо изъ-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрата. Мы кричали, кликали его, онъ не отзывался. Вдругъ, среди чрезвычайной тишины въ воздухѣ, слышимъ мы, ясно раздается его: „тиру, тпру,“ въ близкомъ отъ насъ оврагѣ... Онъ не слышалъ нашихъ криковъ отъ вѣтра, который внезапно разыгрался и такъ же внезапно упалъ совершенно. Только на отдѣльно-стоявшихъ деревьяхъ виднѣлись слѣды его порывовъ: многіе листья были поставлены имъ на изнанку, и такъ и остались придавая пестроту неподвижной листвѣ. Мы взобрались въ телѣгу и покатали домой. Я сидѣлъ покачиваясь и тихо вдыхая сырой, немного рѣзкій воздухъ, и всѣ мои недавнія мечтанья и сожалѣнья потонули въ одномъ ощущеніи дремоты и усталости, въ одномъ желаніи поскорѣе вернуться подъ крышу теплаго дома, напиться чаю съ густыми сливками, зарыться въ мягкое и рыхлое сѣно, и заснуть, заснуть, заснуть...

ДЕНЬ ВТОРОЙ.

На слѣдующее утро мы опять втроемъ отправились на „Гарь.“ Лѣтъ десять тому назадъ, нѣсколько тысячъ десятинъ выгорѣло въ Полѣсьи и до-сихъ-поръ не заросло; кой-гдѣ пробиваются молодыя елки и сосенки, а то все мохъ да перележалая зола. На этой „Гари,“ до которой отъ Святаго считается верстъ двѣнадцать, растутъ всякія ягоды въ великомъ множествѣ и водятся тетерева, большіе охотники до земляники и брусники.

Мы ѣхали, молча, какъ вдругъ Кондрать поднялъ голову.

— Э! воскликнулъ онъ, да это никакъ Ефремъ стоитъ. Здорово, Александрычъ, прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ и приподнявъ шапку.

Небольшаго роста мужикъ въ черномъ, короткомъ армякѣ, подпоясанномъ веревкой, вышелъ изъ-за дерева и приблизился къ телѣгѣ.

— Аль отпустили? спросилъ Кондрать.

— А то не бось нѣтъ! возразилъ мужичекъ — оскалилъ зубы. Нашего брата держать не ахочится.

— И Петръ Филипычъ? ничего?

— Филиповъ-то? Знамо дѣло, ничего.

— Вишь ты! А я, Александрычъ, думаль, ну, братъ, думаль я, теперь ложись гусь на сковороду!

— Отъ Петра Филипова-то? Вона! Видали мы такихъ. Суется въ волки, а хвостъ собачій. На охоту, чтоль, ѣдешь, баринъ? спросилъ вдругъ мужичокъ, быстро вскинувъ на меня свои прищуренные глазки, и тотчасъ опустилъ ихъ снова.

— На охоту.

— А куда, примѣрно?

— На Гарь, сказалъ Кондрать.

— Ёдете на Гарь, не наѣхать бы на пожаръ.

— А что?

— Видалъ я глухарей много, продолжалъ мужичокъ, все какъ бы посмѣиваясь и не отвѣчая Кондрату, да вамъ туда не попастьъ: прямокомъ верстъ двадцать будетъ. Вотъ и Егоръ — что говорить! въ бору, какъ у себя на дворе, а и тотъ не продерется. Здорово, Егоръ, Божія душа въ полтора гроша гаркнулъ онъ вдругъ.

— Здорова, Ефремъ, возразилъ Егоръ.

Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на эт Ефрема. Такого страннаго лица я давно видывалъ. Носъ имѣлъ онъ длинный и остр

крупныя губы и жидкую бородку. Его голубые глазки такъ и бѣгали, какъ живчики. Стоялъ онъ развязно, легонько подпершись руками въ бока и не ломая шапки.

— На побывку домой, что ли? спросилъ его Кондрать.

— Экъ-ста, на побывку! Теперь, братъ, погода не та: разгулялось. Широко, братъ, стало, во-какъ. Хоть до зимы на печи лежи, никака собака не чуенеть. Мнѣ въ городѣ говорилъ этотъ-та производитель: брось, молъ, насъ, Лександрычъ, выѣзжай изъ уѣзда вонъ, пачпортъ дадимъ первый сортъ... да жаль мнѣ васъ, Святовскихъ-то: такого вамъ вора другого не нажить.

Кондрать засмѣялся.

— Шутникъ ты, дядюшка, право шутникъ, проговорилъ онъ и тряхнулъ возжами. Лошади тронулись.

— Тпру, промолвилъ Ефремъ. Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка. Полно озарничать, Александрычъ, замѣтилъ онъ въ полъ-голоса. Вишь, съ бариномъ ѣдемъ. Мерчаешь, гляди.

— Эхъ, ты, морской селезень! Съ чего ему рчать-то? Баринъ онъ добрый. Вотъ посмо-

три, онъ мнѣ на водку дастъ. Эхъ, баринъ, дай проходимцу на косушеу! Ужь раздавлю жъ я ее, подхватилъ онъ, поднявъ плечо къ уху и скрипнувъ зубами.

Я невольно улынулся, далъ ему гривенникъ и велѣлъ Кондрату ѣхать.

— Много довольны, ваше благородіе, крикнулъ по-солдатски намъ вслѣдъ Ефремъ. А ты, Кондратъ, на предки знай у кого учиться: оробѣлъ — пропалъ, смѣлъ — съѣлъ. Какъ вернешься, у меня побывай, слышь; у меня три дня попойка стоять будетъ, сшибемъ горла два; жена у меня баба хлѣцкая, дворъ на полозу... Гей, сорока-бѣлобока, гуляй пока хвостъ цѣлъ!

И засвиставъ рѣзкимъ свистомъ, Ефремъ юркнулъ въ кусты.

— Что за человѣкъ? спросилъ я Кондрата, который, сидя на облучкѣ, всё потряхивалъ головой, какъ бы рассуждая самъ съ собою.

— Тотъ-то? возразилъ Кондратъ и потупился. Тотъ-то? повторилъ онъ.

— Да. Онъ вашъ?

— Нашъ, Святовскій. Это такой человѣкъ... Такого на сто верстъ другаго не сыщешь. Вѣ и плуть такой — и Боже ты мой! На чуждое добро у него глазъ такъ и коробится. Отъ него

и въ землю не зароешься, а что деньги, напри-
мѣръ, изъ подъ самага хребта у тебя вытащить,
ты и не замѣтишь.

— Какой онъ смѣлый!

— Смѣлый? Да онъ никого не боится. Да
вы посмотрите на него: по финазоміи бестіянъ,
съ носу виденъ. (Кондрать часто ѣзживалъ съ
господами и въ губернскомъ городѣ бывалъ, а
потому любилъ при случаѣ показать себя.) Ему
и сдѣлать-то ничего нельзя. Сколько разъ его
и въ городъ возили, и въ острогъ сажали, толь-
ко убытки одни. Его стануть вязать, а онъ
говорить: „Чтожь, молъ, вы ту ногу не путаете?
Путайте и ту, да покрѣпче, я, пока, посплю.
А домой я раньше вашихъ провожатыхъ пос-
пѣю.“ Глядишь: точно, опять вернулся, опять
тутъ, ахъ, ты Боже ты мой! Ужь на что мы всѣ
здѣшніе, лѣсъ знаемъ, приобыкли съ-измала, а
съ нимъ поровняться не мочно. Пршлымъ лѣ-
томъ, ночью, на прямки изъ Алтухина въ Свя-
тое пришелъ, а тутъ никто и не хаживалъ от-
родясь, верстъ сорокъ будетъ. Вотъ и мѣдъ
красть, на это онъ первый человѣкъ, и пчела
его не жалить. Всѣ пасѣки раззорилъ.

— Я думаю, онъ и бортамъ спуска не даетъ.

— Ну, нѣтъ, что напраслину на него взво-

дить? Такого грѣха за нимъ не замѣчали. Борть у насъ святое дѣло. Пасѣка огорождна; тутъ караулъ; коли утащилъ — твое счастье; а бортовая пчела дѣло Божіе, не береженое; одинъ медвѣтъ её трогаетъ.

— За то онъ и медвѣдъ, замѣтилъ Егоръ.

— Онъ женатъ?

— Какъ-же. И сынъ есть. Да и воръ же будетъ сынъ-то. Въ отца вышелъ весь. Ужъ онъ и теперь учитъ. Намеднись горшокъ съ старыми пятаками притащилъ, укралъ гдѣ-нибудь, значитъ, пошелъ да и зарылъ его на полянкѣ въ лѣсу, а самъ вернулся домой да и послалъ сына на полянку. Пока, говоритъ, горшка не отыщешь, ѣсть тебѣ не дамъ и на дворъ не пушу. Сынъ-то день цѣлый просидѣлъ въ лѣсу и ночевалъ въ лѣсу, а нашелъ-таки горшокъ. Да, мудреный этотъ Ефремъ. Пока дома — любезный человѣкъ, всѣхъ подчуеъ: пей, ѣшь, сколько хочешь, пляска тутъ у него поднимется, балагурство всякое; а что коли на сходеѣ, такая у насъ сходка на селѣ бываетъ, ужъ лучше его никто не разсудить; подойдетъ сзади, послушаетъ, скажетъ слово, и прочъ; ужъ и слово-то вѣское. А какъ вотъ уйдетъ въ лѣсъ, ну, тутъ бѣда! Жди раззоренія. А и т

сказать: онъ своихъ не трогаетъ, развѣ самому тѣсно придется. Коли встрѣтитъ кого Святковского — „Обходи, братъ, мимо“ кричитъ издали: „на меня лѣсной духъ нашель: убью!“ — Бѣда!

— Чего же вы смотрите? Цѣлая вотчина съ однимъ человѣкомъ справиться не можетъ?

— Да ужъ пожалуй, что такъ.

— Колдунъ онъ, что ли?

— Кто его знаетъ! Вотъ намердись онъ къ сосѣднему дьячку забрался ночью, а дьячокъ-то караулилъ самъ. Ну, поймалъ его да въ потемкахъ и приколотилъ. Какъ кончилъ, Ефремъ-то и говоритъ ему: а знаешь ты, кого билъ? Дьячекъ, какъ узналъ его по голосу, такъ и обомлѣлъ. Ну, братъ, говоритъ Ефремъ, это тебѣ даромъ не пройдетъ. Дьячекъ ему въ ноги: возьми, молъ, что хочешь. Нѣтъ, говоритъ, я съ тебя въ свое время возьму да и чѣмъ захочу. Чтожъ вы думаете? Вѣдь съ самого того дня дьячекъ-то, словно отпаренный, какъ тѣнь бродить. Сердце, говоритъ, во мнѣ изныло; слово больно крѣпкое, знать, залѣпилъ мнѣ разбойникъ. Вотъ что съ нимъ случилось, съ дьячкомъ-то.

— Дьячекъ этотъ, должно быть, глупъ, замѣтилъ я.

— Глупъ? А вотъ это какъ вы разсудите. Вышелъ разъ приказъ изловить этаго Ефрема. Становой такой у насъ завелся вострый. Вотъ и пошло человѣкъ десять въ лѣсъ ловить Ефрема. Смотрять, а онъ имъ на встрѣчу идетъ... Одинъ-то изъ нихъ и закричи: вонъ онъ, вонъ онъ, держите его, вяжите! А Ефремъ вошелъ въ лѣсъ да вырѣзалъ себѣ древо, эдакъ, перста въ два, да какъ выскочить опять на дорогу, безобразный такой. страшный, какъ скомандуетъ: на колѣнки! всѣ такъ и попадали. „А кто, говоритъ, тутъ кричалъ: держите, вяжите? Ты, Серёга?“ Тотъ-то какъ вскочить да бѣжать... А Ефремъ за нимъ, да древомъ-то его по пяткамъ... Съ версту его гладилъ. И потомъ все еще жалѣлъ: „Эхъ, молъ досадно, заговѣться ему не помѣшалъ.“ Дѣло-то было передъ самыми Филипповками. Ну, а становаго въ скоромъ времени смѣстили, — тѣмъ все и покончилось.

— Зачѣмъ же они всѣ ему покорились?

— Зачѣмъ! то-то и есть...

— Онъ васъ всѣхъ запугалъ, да и дѣлаетъ теперь съ вами, что хочетъ.

— Запугалъ... Да онъ кого хочешь запугаетъ. И ужъ гораздо же онъ на выдумки

Боже ты мой! — Я разъ въ лѣсу на него наткнулся, дождь такой шелъ здоровый, я, было, въ сторону... А онъ поглядѣлъ на меня, да, эдакъ, меня ручкою и подозвалъ. Подойди, молъ, Кондратъ, не бойся. Поучись у меня какъ въ лѣсу жить, на дождю сухимъ быть. Я подошелъ, а онъ подъ елкой сидитъ и огонёкъ развелъ изъ сырыхъ вѣтокъ: дымъ-то набрался въ елку и не даетъ дождю капать. Подивился я тутъ ему. А то вотъ онъ разъ что выдумалъ (и Кондратъ засмѣялся), вотъ ужъ потѣшилъ. Овесъ у насъ молотили на току, да не кончили; послѣднй ворохъ сгрести не успѣли; ну и посадили на ночь двухъ караульщиковъ: а ребята-то были не изъ бойкихъ. Вотъ, сидятъ они да гуторятъ, а Ефремъ возьми до рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себѣ рубаху и надѣнь. Вотъ подерался онъ въ эдакомъ-то видѣ къ овину, да и ну изъ-за угла показываться помаленьку, роги-то свои выставять. Одинъ-то малый говоритъ другому: видишь? — Вижу, говоритъ другой, да какъ ахнутъ вдругъ, только плетни затрещали. А Ефремъ набралъ овса въ мѣшокъ да и стащилъ къ себѣ домой. Самъ потомъ все рассказалъ. Ужъ стыдилъ же онъ, стыдилъ ребятъ-то... Право!

Кондрать засмѣялся опять. И Егоръ улыбнулся. „Такъ только плетни затрещали,“ промолвилъ онъ.

— Только ихъ и видно было, подхватилъ Кондрать.

Мы опять всё притихли. Вдругъ Кондрать всполохнулся и выпрямился.

— Э, батюшки, восхлихнулъ онъ, да это никакъ пожаръ!

— Гдѣ? гдѣ? спросили мы.

— Вонъ, смотрите, впереди, куда мы ѣдемъ... Пожаръ и есть. Ефремъ-то, Ефремъ вѣдь напроорочилъ. Ужь не его ли это работа, окаанная онъ душа...

Я взглянулъ по направленію, куда указывалъ Кондрать. Дѣйствительно, верстахъ въ двухъ или трехъ впереди насъ, толстый столбъ сизаго дыма медленно поднимался отъ земли, за зеленой полоской низкаго ельника, постепенно выгибаясь и расплываясь шапкой; отъ него вправо и влево виднѣлись другіе, поменьше и поблѣй.

Мужикъ весь красный, въ поту, въ одной рубашкѣ, съ растрепанными волосами надъ пуганнымъ лицомъ, наскочилъ прямо на насъ съ трудомъ остановилъ свою поспѣшно взвѣданную лошаденку.

— Братцы спросилъ онъ задыхающимся голосомъ, полѣсовщиковъ не видали?

— Нѣтъ, не видали. Что это, лѣсъ горить?

— Лѣсъ. Народъ согнать надо, а то, коли къ Тросному кинется...

— Мужикъ задергалъ локтями, заколотилъ пятками по бокамъ лошади... Она поскакала.

Кондрать также погналъ свою пару. Мы ѣхали прямо на дымъ, который разстился все шире и шире; мѣстами онъ внезапно чернѣлъ и высоко взвивался. Чѣмъ ближе мы подвигались, тѣмъ неяснѣе становились его очертанія; скоро весь воздухъ потускнѣлъ, сильно запахло горѣлымъ, и вотъ между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнцѣ, мелькнули первые, блѣдно-красные языки пламени.

— Ну, слава Богу, замѣтилъ Кондрать, кажется, пожаръ-то позѣмный.

— Какой?

— Позѣмный, такой, что по землѣ бѣжить. Вотъ съ подземнымъ мудрено ладить. Что тутъ сдѣлаешь, когда земля на цѣлый аршинъ горить? Одно спасеніе: копай канавы — да это развѣ легко? А позѣмный — ничего. Только траву сбрѣть да сухой листъ сожечь. Еще

лучше лѣсу отъ него бываетъ. Ухъ, батюшки, гляди однако, какъ шибануло!

Мы подѣхали почти къ самой чертѣ пожара. Я слѣзъ и пошелъ ему на встрѣчу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бѣжалъ по рѣдкому сосновому лѣсу *противъ* вѣтра; онъ подвигался неровной чертой или, говоря точнѣе, сплошной зубчатой стѣнкой загнутыхъ назадъ языковъ. Дымъ относилъ вѣтромъ. Кондрать сказалъ правду: это, дѣйствительно, былъ поземный пожаръ, который только брилъ траву и, не разыгрываясь, шелъ дальше, оставляя за собою черный и дымящійся, но даже не тлѣющій слѣдъ. Правда, иногда, тамъ, гдѣ огню попадалась яма, наполненная дромомъ и сухими сучьями, онъ вдругъ и съ какимъ-то особеннымъ, довольно зловѣщимъ ревомъ, воздымался длинными, волнующимися косицами, но скоро опадалъ и бѣжалъ впередъ по-прежнему, слегка потрескивая и шипя. Я даже не разъ замѣтилъ, какъ кругомъ охваченный дубовый кустъ съ сухими, висячими листьями, оставался нетронутымъ, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не могъ понять, отъ чего сухіе листья не загорались. Кондрать объяснялъ мнѣ, что это происходило отъ того, что пожаръ

поземный, „значить, не сердитый.“ Да вѣдь огонь тотъ же, возражалъ я. Поземный пожаръ, повторялъ Кондрать. Однако, хоть и поземный, а пожаръ все-таки производилъ свое дѣйствіе: зайцы, какъ-то безпорядочно бѣгали взадъ и впередъ, безо всякой нужды возвращаясь въ сосѣдство огня; птицы попадали въ дымъ и кружились лошади оглядывались и фыреали, самый лѣсъ какъ бы гудѣлъ, — да и человѣку становилось неловко отъ внезапно бьющаго ему въ лицо жара...

— Чего смотрѣть! сказалъ вдругъ Егоръ за моей спиной. Поѣдемте.

— Да гдѣ проѣхать? спросилъ Кондрать.

— Возьми влѣво, по сухоболотью, проѣдемъ.

Мы взяли влѣво и проѣхали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадямъ и телѣгамъ.

Цѣлый день протаскались мы по Гари. Передъ вечеромъ (заря еще не закраснѣлась на небѣ, но тѣни отъ деревьевъ уже легли неподвижныя и длинныя, и чувствовался въ травѣ холодокъ, который предшествуетъ росѣ) я прилегъ на дорогу вблизи телѣги, въ которую Кондрать, не спѣша, впрягалъ наѣвшихъ лошадей, и вспомнилъ свои вчерашнія, невеселыя мечтанья.

Кругомъ все было такъ же тихо, какъ и на канунѣ, но не было давящаго и тѣснящаго душу бора; на высохшемъ мохѣ, на лиловомъ бурьянѣ, на мягкой пыли дороги, на тонкихъ стволахъ и чистыхъ листочкахъ молодыхъ березъ, лежалъ ясный и кроткій свѣтъ уже беззнойнаго, невысокаго солнца. Все отдыхало, погруженное въ успокоительную прохладу; ничего еще не заснуло, но уже все готовилось къ цѣлебнымъ усыпленьямъ вечера и ночи. Все, казалось, говорило человѣку: „отдохни, братъ нашъ; дыши легко и не горюй: и ты передъ близкимъ сномъ.“ Я поднималъ голову и увидалъ на самомъ концѣ тонкой вѣтви одну изъ тѣхъ большихъ мухъ съ изумрудной головкой, длиннымъ тѣломъ и четырьмя прозрачными крыльями, которыхъ кокетливые Французы величаютъ: „дѣвицами“, а нашъ безхитростный народъ прозвалъ „коромыслами.“ Долго, болѣе часа не отводилъ я отъ нея глазъ. Насквозь пропеченная солнцемъ, она не шевелилась, только изрѣдка поворачивая головку со стороны на сторону и трепеща приподнятыми крылышками... вотъ и все. Глядя на нее, мнѣ вдругъ показалось, что я понялъ жизнь природы, понялъ ея несомнѣнный и явный, хотя для многихъ еще таинственный смыслъ. Тихое и ме-

дленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и силъ, равновѣсіе здоровья въ каждомъ отдѣльномъ существѣ — вотъ самая ея основа, ея неизмѣнный законъ, вотъ на чемъ она стоитъ и держится. Все, что выходитъ изъ-подъ этого уровня, кверху ли, книзу ли, все равно — выбрасывается ею вонъ, какъ негодное. Многія насѣкомыя умираютъ, какъ только узнаютъ нарушающія равновѣсіе радости любви; больной звѣрь забивается въ чашу и угасаетъ тамъ одинъ: онъ какъ бы чувствуетъ, что уже не имѣетъ права ни видѣть всѣмъ общаго солнца, ни дышать вольнымъ воздухомъ, онъ не имѣетъ права жить; — а человѣкъ, которому отъ своей ли вины, отъ вины ли другихъ, пришлось худо на свѣтѣ — долженъ по крайней мѣрѣ умѣть молчать.

— Ну чтожъ ты, Егоръ! воскликнулъ вдругъ Кондратій, который уже успѣлъ помѣститься на облучкѣ телѣги и поигрывалъ и перебиралъ возжами: — иди садись. Чего задумался? Аль о коровѣ все?

— О коровѣ? О какой коровѣ? Повторилъ я и взглянулъ на Егора: спокойный и важный какъ всегда, онъ, дѣйствительно, казалось, за-

думался и глядѣлъ куда-то вдаль, въ поля, уже начинавшія темнѣть.

— А вы не знаете? подхватилъ Кондратій: — у него сегодня ночью послѣдняя корова околѣла. Не везетъ ему — что ты будешь дѣлать?...

Егоръ сѣлъ, молча, на облучекъ и мы поѣхали. „Этотъ умѣетъ не жаловаться,“ подумалъ я.

1857.

ЛѢСЪ И СТЕПЬ.

„... И понемногу начало назадъ
Его тянуть... въ деревню, въ темный садъ,
Гдѣ липы такъ огромны, такъ тѣнисты,
И ландыши такъ дѣвственно душисты,
Гдѣ круглыя ракиты надъ водой
Съ плотины наклонились чередой,
Гдѣ тучный дубъ растетъ надъ тучной нивой,
Гдѣ пахнетъ конопелью да крапивой...
Туда, туда, въ раздольныя поля,
Гдѣ бархатомъ чернѣется земля,
Гдѣ рожь, куда ни кинете вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами,
И падаетъ тяжелый, желтый лучъ
Изъ-за прозрачныхъ, бѣлыхъ, круглыхъ тучъ,
Тамъ хорошо

(Изъ поэмы, преданной сожженію).

Читателю, можетъ быть, уже наскучили мои записки; спѣшу успокоить его обѣщаніемъ ограничиться напечатанными отрывками; но, разставаясь съ нимъ, не могу не сказать нѣскольکو словъ объ охотѣ.

Охота съ ружьемъ и собакой прекрасна сама по себѣ, für sich, какъ говорили въ старину; но положимъ, вы не родились охотникомъ: вы все-таки любите природу; вы, слѣдовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете-ли вы, на-примѣръ, какое наслаждение выѣхать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сѣромъ небѣ кой-гдѣ мигаютъ звѣзды; влажный вѣтерокъ изрѣдка набѣгаетъ легкой волной; слышится сдержанный, неясный шопотъ ночи; деревья слабо шумятъ, облитыя тѣнью. Вотъ кладутъ коверъ на телѣгу, ставятъ въ ноги ящикъ съ самоваромъ. Пристяжны ѣжатся, фыркаютъ и щеголевато переступаютъ ногами; пара только-что проснувшихся бѣлыхъ гусей молча и медленно перебирается черезъ дорогу. За плетнемъ, въ саду, мирно похрапываетъ сторожъ? каждый звукъ словно стоитъ въ застывшемъ воздухѣ, стоитъ и не проходить. Вотъ вы сѣли; лошади разомъ тронулись, громко застучала телѣга... Вы ѣдете — ѣдете мимо церкви, съ горы на право, черезъ плотину... Прудъ едва начинаетъ дымиться. Вамъ холодно немножко, вы закрываете лицо воротникомъ шинели; вамъ дремлется. Лошади звучно пле-

паютъ ногами по лужамъ; кучеръ посвистываетъ. Но вотъ, вы отѣхали версты четыре... край неба алѣетъ; въ березахъ просыпаются, неловко перелетываютъ галки; воробьи чирикаютъ около темныхъ скврдъ. Свѣтлѣетъ воздухъ, виднѣй дорога, яснѣетъ небо, бѣлѣютъ тучки, зеленѣютъ поля. Въ избахъ краснымъ огнемъ горятъ лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тѣмъ заря разгарается; вотъ уже золотыя полосы протянулись по небу, въ оврагахъ клубятся пары; жаворонки звонко поютъ, передразсвѣтный вѣтеръ подулъ, — и тихо всплываетъ багровое солнце. Свѣтъ такъ и хлынетъ потокомъ; сердце въ васъ встрепенется, какъ птица. Свѣжо, весело, любо! Далеко видно кругомъ. Вонъ за рощей деревня; вонъ подальше другая съ бѣлой церковью, вонъ березовый лѣсокъ на горѣ; за нимъ болото, куда вы ѣдете... Живѣ, кóни, живѣ! Крупной рысью впередъ!... Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будетъ славная. Стало потянулось изъ деревни къ вамъ а-встрѣчу. Вы взобрались на гору... Какой идъ! рѣка вьется верстъ на десять, тускло пнѣя сквозь туманъ; за ней водянисто-зеленые уга; за лугами пологіе холмы; вдали чибисы

съ крикомъ вьются надъ болотомъ; сквозь влажный блескъ, разлитый въ воздухъ, ясно выступаетъ даль... не то, что лѣтомъ. Какъ вольно дышетъ грудь, какъ быстро движутся члены, какъ крѣпнеть весь человѣкъ, охваченный свѣжимъ дыханьемъ весны!...

А лѣтнее, іюльское утро! Кто, кромѣ охотника, испыталъ, какъ отрадно бродить на зарѣ по кустамъ! Зеленой чертой ложится слѣдъ вашихъ ногъ по росистой, побѣлѣвшей травѣ. Вы раздвинете, мокрый кустъ, — васъ такъ и обдастъ накопившимся, теплымъ запахомъ ночи; воздухъ весь напоенъ свѣжей горечью полыни, медомъ гречихи и „кашки“; вдали стѣнной стоитъ дубовый лѣсъ и блеститъ и алѣетъ на солнцѣ; еще свѣжо, но уже чувствуется близость жара. Голова томно кружится отъ избытка благоуханій. Кустарнику нѣтъ конца... Кой-гдѣ развѣ вдали желтѣетъ поспѣвающая рожь, узкими полосками краснѣетъ поспѣвающая рожь, узкими полосками краснѣетъ гречиха. Вотъ заскрипѣла телѣга; шагомъ пробирается мужиѣ, ставитъ заранѣ лошадь въ тѣнь... Вы поздоровались съ нимъ, отошли — звучнѣ лязгъ косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнетъ трава. Вотъ уж

жарко стало. Проходитъ часъ, другой... Небо темнѣетъ по краямъ; колючимъ зноемъ пышитъ неподвижный воздухъ. — „Гдѣ-бы, братъ, тутъ напиться?“ спрашиваете вы у косаря. — „А вонъ въ оврагѣ колодезь.“ Сѣвось густые кусты орѣшника, перепутанные цѣпкой травой, спускаетесь вы на дно оврага; точно: подъ самымъ обрывомъ таится источникъ; дубовый кустъ жадно, раскинуль надъ водою свои лапчатые сучья; большіе серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытаго мелкимъ, бархатнымъ мохомъ. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вамъ лѣнь пошевелиться. Вы въ тѣни, вы дышите пахучей сыростью; вамъ хорошо, а противъ васъ кусты раскаляются и словно желтѣютъ на солнцѣ. Но что это? Вѣтеръ внезапно налетѣлъ и промчался; воздухъ дрогнулъ кругомъ: ужь не громъ-ли? Вы выходите изъ оврага... что за свинцовая полоса на небосклонѣ? Зной ли густѣетъ? туча-ли надвигается?... Но вотъ слабо сверкнула молнія... Э, да это гроза! Кругомъ еще ярко свѣтитъ солнце: охотиться еще можно. Но туча растетъ: передній ея край вытягивается рукавомъ, наклоняется сводомъ. Трава, кусты, все вдругъ потемнѣло... Скорѣй! вонъ, кажется,

види́тся сѣнной сарай... скорѣе!... Вы добѣжали, вошли... Каковъ дождикъ? каковы молніи? Кой-гдѣ сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сѣно... Но вотъ солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, какъ весело сверкаетъ все кругомъ, какъ воздухъ свѣжъ и жидокъ, какъ пахнетъ земляникой и грибами!...

Но вотъ наступаетъ вечеръ. Заря запылала пожаромъ и обхватила полъ-неба. Солнце садится. Воздухъ вблизи какъ-то особенно прозраченъ, словно стеклянный; вдали ложится мягкій паръ, теплый на-видъ; вмѣстѣ съ росой падаетъ алый блескъ на поляны, еще недавно облитыя потоками жидкаго золота; отъ деревьевъ, отъ кустовъ, отъ высокихъ стоговъ сѣна побѣжали длинныя тѣни... Солнце сѣло; звѣзда зажглась и дрожитъ въ огнистомъ морѣ заката... Вотъ оно блѣднѣетъ, синѣетъ небо; отдѣльныя тѣни исчезаютъ, воздухъ наливается мглою. Пора домой, въ деревню, въ избу, гдѣ вы почуваете. Закинувъ ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А межѣ тѣмъ наступаетъ ночь; за двадцать шаговъ у не видно: собаки едва бѣлѣютъ во мракѣ. Во надъ черными кустами край неба смутно ясен

еть... Что это? — пожаръ?... Нѣтъ, это восходитъ луна. А вонъ внизу, на-право, уже мелькають огоньки деревни... Вотъ наконецъ и ваша изба. Сквозь окошко видите вы столъ, покрытый бѣлой скатертью, горящую свѣчу, ужинъ...

А то велишь заложить бѣговья дрожки и поѣдешь въ лѣсъ на рябчиковъ. Весело пробираться по узкой дорожкѣ, между двумя стѣнами высокой ржи. Колосья тихо бьютъ васъ по лицу, васильки цѣпляются за ноги, перепела кричатъ кругомъ, лошадь бѣжитъ лѣнливой рысью. Вотъ и лѣсъ. Тѣнь и тишина. Статныя осины высоко лепечутъ надъ вами; длинныя, висячія вѣтки березъ едва шевелятся; могучій дубъ стоитъ, какъ боецъ, подлѣ красивой липы. Вы ѣдете по зеленой, испещренной тѣнами дорожкѣ; большія желтыя мухи неподвижно висятъ въ золотистомъ воздухѣ и вдругъ отлетаютъ; мошки вьются столбомъ, свѣтлѣя въ тѣни, темнѣя на солнцѣ; птицы мирно поютъ. Золотой голосокъ малиновки звучитъ невинной, болтливой радостью: онъ идетъ къ запаху ланчишей. Далѣе, далѣе, глубже въ лѣсъ... Лѣсъ охнетъ... Незыяснимая тишина западаетъ на душу, да и кругомъ такъ дремотно и тихо. О вотъ вѣтеръ набѣжалъ, и зашумѣли верхуш-

ки, словно падающія волны. Сквозь прошлогоднюю бурюю листву кой-гдѣ растутъ высокія травы; грибы стоятъ отдѣльно подъ своими шляпками. Бѣлякъ вдругъ выскочить, собака съ звонкимъ лаемъ помчится вслѣдъ...

И какъ этотъ-же самый лѣсъ хорошъ поздней осенью, когда прилетаютъ валдшнепы! Они не держатся въ самой глуши: ихъ надобно искать вдоль опушки. Вѣтра нѣтъ, и нѣтъ ни солнца, ни свѣта, ни тѣни, ни движенія, ни шума; въ мягкомъ воздухѣ разлитъ осенній запахъ, подобный запаху вина; тонкій туманъ стоитъ вдали надъ желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьевъ мирно бѣлѣетъ неподвижное небо; кой-гдѣ на липахъ висятъ послѣдніе золотые листья. Сырая земля упруга подъ ногами; высокія, сухія былинки не шевелятся; длинныя нити блестятъ на поблѣднѣвшей травѣ. Спокойно дышитъ грудь, а на душу находить странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тѣмъ любимые образы, любимыя лица, мертвыя и живыя, приходятъ на память, давнымъ-давно заснувшія впечатлѣнія неожиданно просыпаются; воображеніе рѣветъ и носится, какъ птица, и все такъ ясно движется и стоитъ передъ глазами. Сер,

то вдругъ задрожитъ и забьется, страстно бросится впередъ, то безвозвратно потонетъ въ воспоминаніяхъ. Вся жизнь развертывается легко и быстро, какъ свитокъ; всѣмъ своимъ прошедшимъ, всѣми чувствами, силами, всей своей душою владѣть человѣкъ. И ничего кругомъ ему не мѣшаетъ — ни солнца нѣтъ, ни вѣтра, ни шуму...

А осенній, ясный, немножко холодный, утромъ морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на блѣдно-голубомъ небѣ, когда низкое солнце ужъ не грѣетъ, но блеститъ ярче лѣтнаго, небольшая осиновая роща вся сверкаетъ насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще бѣлѣетъ на днѣ долинъ, а свѣжій вѣтеръ тихонько шевелитъ и гонитъ упавшіе, покоробленные листья, когда по рѣкѣ радостно мчатся синія волны, тихо вздымая разбѣянныхъ гусей и утокъ, вдали мельница стучитъ, полузакрытая вербами, и, пестрѣя въ свѣломъ воздухѣ, голуби быстро кружатся надъ ней...

Хороши также лѣтніе туманные дни, хотя охотники ихъ и не любятъ. Въ такіе дни нельзя стрѣлять: птица, выпорхнувъ у васъ изъ подъ огу, тотчасъ-же исчезаетъ въ бѣловатой мглѣ эподвижнаго тумана. Но какъ тихо, какъ

невъразимо тихо все кругомъ! Все проснулось, и все молчить. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нѣжится. Сквозь тонкій паръ, ровно разлитый въ воздухъ, чернѣется передъ вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкій лѣсъ; вы подходите — лѣсъ превращается въ высокую грядку поляни на межѣ. Надъ вами, кругомъ васъ — всюду туманъ... Но вотъ вѣтеръ слегка шевельнется — клочокъ блѣдно-голубаго неба смутно выступитъ сквозь рѣдѣющій словно задымившійся паръ, золотистожолтый лучъ ворвется вдругъ, заструится длиннымъ потокомъ, ударитъ по полямъ, упрется въ рощу, и вотъ — опять все заволокло. Долго продолжается эта борьба; но какъ несказанно великолѣпенъ и ясенъ становится день, когда свѣтъ наконецъ восторжествуетъ, и послѣднія волны согрѣтаго тумана, то скатываются и расталяются скотертами, то взвиваются и исчезаютъ въ голубой нѣжносіяющей вышинѣ...

Но вотъ, вы собрались въ отъѣзжее поле, въ степь. Верстъ десять пробирались вы по проселочнымъ дорогамъ — вотъ, наконецъ, большая. Мимо безконечныхъ обозовъ, мимо постоянныхъ двориговъ съ шипящимъ само-
ромъ подъ навѣсомъ, раскрытыми настежь

ротами и колодеземъ, отъ одного села до другаго, черезъ необозримыя поля, вдоль зеленыхъ коноплянниковъ, долго, долго ѣдете вы. Сороки перелетаютъ съ ракиты на ракиту; бабы, съ длинными граблями въ рукахъ, бредутъ въ поле; прохожій человѣкъ въ поношенномъ нанковомъ кафтанѣ, съ котомкой за плечами, плетется усталымъ шагомъ; грузная помѣщичья карета, запряженная шестерикомъ рослыхъ и разбитыхъ лошадей, плыветъ вамъ на-встрѣчу. Изъ окна торчитъ уголь подушки, а на запяткахъ, на кулъкѣ, придерживаясь за веревочку, сидитъ бокомъ лакей въ шенели, забрызганный до самыхъ бровей. Вотъ уѣздный городокъ съ деревянными, кривыми домишками, безконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строеніями, стариннымъ мостомъ надъ глубокимъ оврагомъ... Далѣе, далѣе... Пошли степныя мѣста. Глянешь съ горы — какой видъ! Круглые, низкіе холмы, распаханные и засѣянные до верху, разбѣгаются широкими волнами; заросшіе кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшія рощи; отъ деревни до деревни бѣгутъ узкія дорожки; церкви бѣлѣютъ; между лозниками сверкаетъ рѣчка, въ четырехъ мѣстахъ перехва-

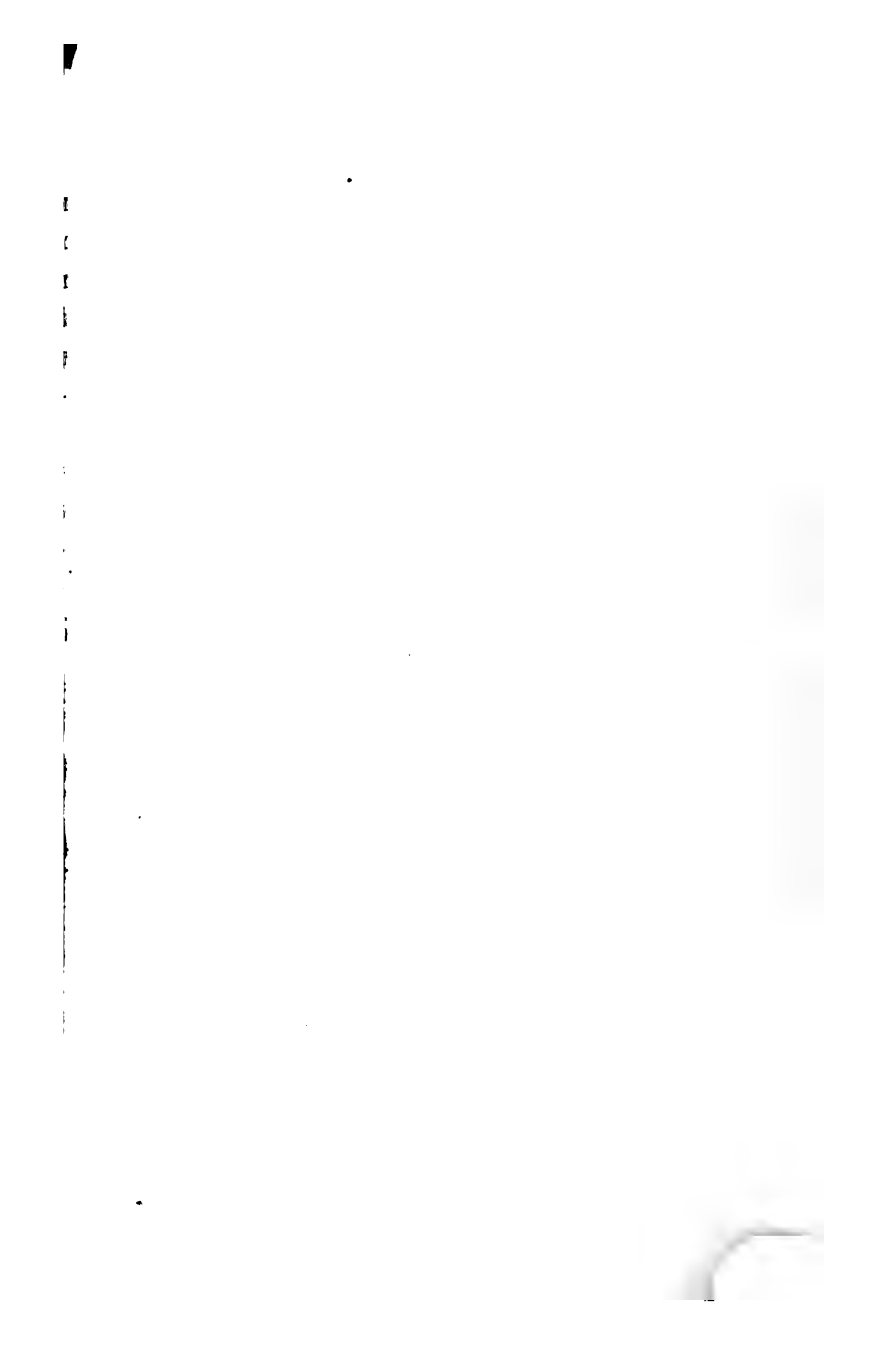
ченная плотинами; далеко въ полѣ гуськомъ торчать драхвы; старенькій господскій домъ съ своими службами, фруктовымъ садомъ и гумномъ пріютился къ небольшому пруду. Но далѣе, далѣе ѣдете вы. Холмы все мелче и мелче, деревья почти не видать. Вотъ она, наконецъ — безграничная, необозримая степь!

А въ зимній день ходить по высокимъ сугробамъ за зайцами, дышать морознымъ, острымъ воздухомъ, невольно щуриться отъ ослѣпительнаго мелкаго сверканья мягкаго снѣга, любоваться зеленымъ цвѣтомъ небо надъ красноватымъ лѣсомъ!... А первые весенніе дни, когда кругомъ все блеститъ и обрушается, сквозь тяжелый паръ талаго снѣга уже пахнетъ согрѣтой землей, на проталинкахъ, подъ косымъ лучемъ солнца, доверчиво поютъ жаворонки, и, съ веселымъ шумомъ и ревомъ, изъ оврага въ оврагъ влубятся потоки...

Однако, пора кончить. Кстати заговорилъ я о веснѣ: весной легко разставаться, весной и счастливыхъ тянетъ вдаль... Прощайте, читатель, желаю вамъ постоянного благополучія...

КОНЕЦЪ.

Типографія Г. Петца въ Наумбургѣ.



1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880



THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY
ON OR BEFORE THE LAST DATE
STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF
OVERDUE NOTICES DOES NOT
EXEMPT THE BORROWER FROM
OVERDUE FEES.

GRACE

WIDENER

SEP 06 2000

BOOK DUE

~~WIDENER~~

WIDENER

SEP 06 2002

OCT 23 2002
BOOK DUE

BOOK DUE

CANCELLED

~~WIDENER~~

JAN 23 0 2007

CANCELLED

